

ГРАНИ

GRANI

87-88

1973

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Januar-April 1973

НОВАЯ КНИГА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«ПОСЕВ»

В. Максимов

КАРАНТИН

Новый роман В. Максимова проникнут высокой общечеловеческой идеей самопознания и самосовершенствования человека. Этой идеей спаяны две параллельно развивающиеся сюжетные линии — героя и героини романа, которые пройдя через «карантин» жизни, приходят к пониманию истинной любви, к познанию сути человеческого бытия, познанию пути к Богу.

Высокая символика произведения перемежается с конкретностью обыденной жизни современной России, изображенной автором с большой силой художественного таланта.

Большой формат. Твердый переплет с золотым тиснением.
Обложка работы художника Н. И. Николенко.

В книге 364 стр.

Цена 23,50 н. м. В США и Канаде — 8.50 дол.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXVIII

№ 87-88

1973 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- ВЛАДИМИР МАКСИМОВ — Прощание из ниоткуда. Роман. Часть первая 3
- ИГНАТИЙ КАРАМОВ — Кирпичное. «Полуоткрыли...». Соседи. Гора. «Подушки. Порошки без толка...». Ночью. Утро. Стихи 117
- ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ — Путем взаимной переписки. Повесть 122
- ЮРИЙ ИОФЕ — Из книг «Итак, итог» и «Вне России»: Правый берег Днестра. Фонари. Канал имени И. В. Сталина. Столичные туристы. «Я сижу за чекушкой...». «Надо мною в чёрно-синем небе...». Стихи 192

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

- ШАЛОМ ИОСМАН — Рейс 265 197

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- А. КРАСНОВ — Закат обновленчества. Окончание 235

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ВЛ. Н. ПАВЛОВ — Историческое взгляды Максимилиана Волошина 275
- Д. РУДНЕВ — В щупальцах будущего 288

ПУБЛИЦИСТИКА. ФИЛОСОФИЯ

- «Традиционалисты» 300
- РОМАН РЕДЛИХ — Философами рождаются. (О «Практической метафизике» А. Московита) 316
- А. МОСКОВИТ — Практическая метафизика. (Главы из книги) 333

БИБЛИОГРАФИЯ

Д. Руднев. «Чевенгур». — О. Можайская. «Под каменным небом». — С. Подгорная. «Воспоминания» Н. Я. Мандельштам по-французски. — С. Кирсанов. Советская внешняя политика. — Игумен Геннадий (Эйкалович). О рабстве и свободе человека. — А. Русак. Со знанием и любовью о Святой горе	371
Список книг, поступивших в редакцию	394
Содержание № № 79—86 журнала «Грани»	396
Обращение издательства «Посев»	399

Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора, не обязательно выражают мнение редакции.

Не принятые к публикации рукописи редакцией не возвращаются.

© 1973 Copyright by Possev-Verlag,
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «Посев»

Прощание из ниоткуда

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Израиль, Израиль! Желтая, выпитая солнцем земля, которая еще хранит легкие прикосновения Его продолговатых ступней, и смутная цепь изъеденных жгучими ветрами гор, каждая из которых могла оказаться Его Голгофой! В какой раз с тех пор, рассекая время и пространство, ты возникаешь среди заснеженных российских пределов, словно мираж, бред, сквозной сон капризной истории, вечно таящейся в самом сокровенном углу нашей памяти. И млело в тайной прелести слабое сердце новгородского пастыря Луки Жидяты. И тянулись страждущие души по несчетным славянским весям туда, в город Искупления и Храма. И стлался им вслед дымный плач Колымы и Бабьего Яра. И не оттого ли: «Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя»?

...Влад лежал на полуразобранном диване, бессмысленно глядя в снежную ночь перед собой, и заполнявшая его вязкая пустота сообщала ему чувство обманчивого покоя. За обнаженным окном, в едва раздвинутой уличными фонарями темени медленно валил снег. В сиротливо опустевшей комнате еще витал царивший здесь

совсем недавно жилой дух, но печать плена уже отложилась на всем, к чему прикасался взгляд. Сбоку, сквозь щель чуть приоткрытой двери тьма раскалывалась бритвенной полоской света. Там, в бывшей столовой родня Влада, пять самых близких ему существ, в чуткой полудреме коротали ночь перед отлетом в Вену, откуда путь их был в Иерусалим. Он видел их сейчас, всех пятерых, сгусток напряженного безмолвия в утлой обители света, и каждого в отдельности, вызревающий кокон ожидания, готовый взорваться открытием и надеждой.

«Вот так, свет ты мой, Мария Михайловна, — две голодухи, начисто прополовшие родство вокруг, четыре войны с безымянными звездами над усыпальницами женихов, куча так и не зачатых от них детей: все твои шесть десятков годков, щедро оплаченных полдюжиной почетных бляшек, отштампованных из цветзаменителей на Монетном Дворе, — куда, за какие Кудыкины горы уносит тебя сегодня твоя шестьдесят первая зима? Что ждет тебя там, в Синайских песках, престарелую девочку из деревни Сычевка, что затерялась где-то между Москвой и Тулой?

...Не ходи, не кури так много и так ожесточенно, Екатерина, дочь Алексеева! Это ведь не просто — выламываться из этого снежного кружева на Красной Пресне, из тридцатилетней паутины связей и дружб, потерь и приобретений, встреч, разлук, ссор, любвей, разговоров, из заколдованного круга знакомых порогов и полузабытых могил. Нет, нет, это не дым истерзанной сигареты, Катюха, а сизый пепел дряхлеющего двора на Сокольнической окраине и горький пух ее тополей першат сейчас тебе горло.

...Как мало, как плохо я знал тебя, Юра, сына польских изгнанников и внука американского еврея, еще главенствующего над кланом, растекшимся по всем пяти континентам! Из всех неисповедимых путей Господа, наверное, самый неисповедимый привел тебя в полувы-

мершую семью московских мастеровых из бывших крестьян, к девочке, почти подростку, с которой ты зачал родословную новой фамилии, гремучего симбиоза славянских и библейских кровей.

...Если бы знать, что станется с ними, этими двумя боковыми веточками самсоновского корня там, в тридевятом царстве земли обетованной, многоязычной юдоли надежд и упований! Старшая, она уже готова, она уже покорила неизбежному, ею уже властно движет извечный женский инстинкт навстречу тайне и новизне. Но, с ума сойти, как мне представить за пределом моего прикосновения и взгляда тебя, Лёша, Алексей, Алексей Юрьевич, по-детски размытый абрис фамильного облика и дареная синева постоянно взыскующих глаз?»

Снег косо струился в блеклом свете уличных фонарей, темь и тишина сгустились над Владом почти до осязания, и, плотно отгороженный ими от всего окружающего, он почувствовал, как его уверенно заполняет сладостная жуть одиночества. Ему вдруг показалось, что, погребенный заживо в этой метельной темени и в этой оглушительной тишине, он лежит вот так, сложив руки на груди и подогнув колени, уже множество лет и времен с безмолвным криком в неутолимом горе: кто он, зачем, откуда?

2

Да, да, откуда и зачем ты появился здесь, на этой земле, мой мальчик? Что изваяло тебя? Ветер? Сгусток клубящейся пыли в случайном луче среди тьмы? Или усталое эхо далеких пращуров, продравшись сквозь время, воплотилось в тебе, чтобы вместе с тобою окончательно уйти в небытие? Кругом была бездна, и в этой бездне, на крохотном шарике, смеси воды и глины, железа и крови, памяти и забвения, в одном из множества городов прилепилась окраина с веселым названием Сокольники, где однажды ты внезапно ощутил свое при-

сутствие, объемность действительности вокруг себя и кучее имя Влад, и слоеную фамилию Самсонов...

— Влад!

— Вла-а-д!

— Вла-а-а-ди-и-и-к!

— Самсо-о-о-о-н-о-в!

Это был его знак, его роковое тавро, его непогашаемый вексель на предъявителя, с которым он пройдет через всю жизнь в поисках своего загадочного Господина, Хозяина. Кредитора. Сколько раз потом, меня ходячие биографии, доведется носить ему ярлыки чужих позывных, но оно — это первое имя, словно лезвие травы сквозь асфальт, будет прорастать в нем снова и снова, неотвратно возвращая его в прежнее состояние, в изначальную ипостась. Лишь где-то на самом исходе лет его озарит сокровенный смысл этой неотвратимости, ее цель, ее предопределение. Как оказалось потом, Кредитор не дремал и ничего не забывал, просто до поры, до времени Он ждал своего часа, чтобы в конце концов получить долг, что называется — сполна и по твердому курсу. Подспудно Влад, конечно, чувствовал, что должен будет расплатиться за что-то, за какую-то давнюю и еще неведомую ему вину, но слишком поздно осознал, за что именно...

3

Мир возник в его сознании резко и неожиданно: залитый майским солнцем двор в причудливом смешении тени и света, смеющееся лицо дворника дяди Саши над кучей битого кирпича и стремительно порхающий от ворот до парадного с ленточным метром в руках домоуправ Иткин, как две капли воды похожий на Карла Маркса, что поможет ему сначала снискать популярность во всех вышестоящих хозяйственных организациях, а затем закончить свои дни во внутренней тюрьме, «без права переписки».

Во всяком случае, именно с этого дня Влад вёл потом отсчет своего осмысленного существования. В этот день Соломон Иткин принял историческое в своем роде решение проложить от калитки до подъезда кирпичную дорожку, какая продержится потом чуть ли не сорок лет и по которой постепенно вынесут ногами вперед всё первое поколение ответственных квартиросъемщиков, включая сюда и супругу самого двойника создателя теории научного коммунизма — Сарру Иткину, так и не дождавшуюся своего мужа из вынужденной командировки.

Дядя Саша стоял над кучей бракованного кирпича и посмеивался, домоуправ порхал по двору с ленточным метром в руках, намечая контуры будущей магистрали, а Влад, со строительным молотком у плеча, зорко следил за ними обоими в ожидании решающей команды.

— Ладно, — наконец сказал Иткин и сунул рулетку в карман номенклатурной толстовки, — вот так хорошо. Приступай, Александр Петрович. А ты, Самсонов, — золотая рыбка награды плеснулась в глубине его коричневых хрусталин, — будь при нем, как ворошиловский стрелок, я на тебя надеюсь.

Распушив седеющую бороду лопатистым парусом, он птицей выпорхнул за ворота, а дядя Саша, всё так же посмеиваясь в прокуренные усы, снисходительно кивнул Владу:

— Подавай!

И положил первый кирпич...

О, эта кирпичная дорожка от парадного подъезда до калитки! Влад нет-нет да сходит туда, в тот двор и теперь. Она еще скрипит, еще держится эта дорожка, хотя, конечно, это уже не тот большак для легионов Цезаря, каким она предстала им в день ее завершения. Полностью от нее уцелели лишь редкие острова. Об остальном же сейчас можно судить только по кое-где выступающим из затвердевшего грунта остриям и осколкам. Но думать надо, что выдержала она во все эти

поры! Сколько пьяных лбом высекали из нее искры, сколько коварных сапог, каблуков, босых пяток крошило ее поверхность, какая уйма барахла прогромыхла по ее ребрам! Как говорится, не хочешь — согнешься. Она еще жива, еще держится эта дорожка, похоронив и встретив столько людей, что их хватило бы, чтобы заселить далеко не один такой дом. Всё новые и новые жильцы дотаптывают ее остатки, но, чем чёрт не шутит, может так случиться, что в результате всей твоей суетни на земле от тебя останется одно-единственное дело — память: вот эта самая кирпичная дорожка от подъезда дома, где ты родился, до его ворот...

Дорожка, начатая от парадного, удлинялась медленно, но верно. Каждый день, едва сготовив уроки, Влад выходил на помощь дворнику. Тот с молчаливой одобрительностью кивал ему и принимал из его рук очередную половинку или трехчетверку кирпича. К вечеру строительство дозором облетал Иткин, гремучим глазом окидывал сделанное и, по обыкновению удовлетворенно хмыкнув, тут же растворялся в холодеющем пространстве.

Дядя Саша только насмешливо подмигивал ему вслед:

— Смурной...

Но не только домоуправа волновало их сооружение, весь двор напряженно следил за его ростом и качеством. Каждый спешил высказать к начатой работе свое отношение. Сосед Влада, плотник Иван Кудинов, возвращаясь с работы, как обычно вполпьяна, останавливался над ними и всякий раз повторял одно и то же:

— Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил... Работнички, твою мать...

Снабженец Вайнтрауб с четвертого этажа ежевечерне деловито подсчитывал затраченный материал:

— Нет, Шилов, дело так не пойдет. Государственный кирпич разбазариваешь. У тебя на погонный метр уходит на шесть кирпичей больше положенной нормы.

Смотри, с участковым придется твой сарай проверять. Левый дефицит запасаешь...

Работник органов Никифоров поднимал вопрос на принципиальную высоту:

— Вот так и дорога к социализму: кирпич к кирпичу — дворец Ильичу. Только в оба глядеть нужно, Шилов, враг — он не дремлет... Чего у тебя здесь Самсонов ошивается?

А старуха Дурова из флигеля, всегда подводившая итог дворовым толкам, безнадежно вздыхала, сотрясаясь всей своей монументальной статью:

— Всё прах, тлен... Кому всё это нужно?

Чем ближе к концу двигалось дело, тем рельефнее и объемней становился мир вокруг Влада. Жизнь заполняла его смыслом и содержанием. Он впервые ощутил свои жилы, мускулы, легкую упругость своего маленького тела, вкус собственного пота и крови израненных пальцев на крепнущих губах, сладкую истому отдыха после работы. Из него, словно ядро из зеленого ореха, вылучился человек, личность, мужчина, уже готовый к тому, чтобы плодоносить.

Позже, когда судьба грубо протащит его сквозь колючие заросли действительности и еле живым выбросит на берег, он не раз вспомнит эту кирпичную дорожку и возблагодарит Провидение за то, что начинать жизнь ему довелось именно с нее.

4

Сидя на подоконнике, залитом майским полднем, Влад вновь и вновь перечитывал крохотную информацию в самом углу четвертой полосы «Правды» под рубрикой «Происшествия»: «Вчера днем над Москвой разразился ливень с грозой. На 2-ой Новотихвинской улице оборвало провода электролинии. На концы разорванного провода наступила лошадь; током ее убило на месте. На улице Мишина сорванные провода упали на деревья. Десятилетний Костя Бутылкин при попытке

взобраться на дерево был поражен током. Такой же несчастный случай произошел на Митьковской улице с шестилетним Яшей Самсоновым. Кареты «Скорой помощи» оказали пострадавшим детям медицинскую помощь на месте».

Он штудировал текст и так и эдак, с конца, с середины и опять с самого начала, произносил вслух на все лады, заучивал наизусть, упиваясь пьянящим волшебством типографских строк. Лошадь и незадачливый Костя Бутылкин интересовали его постольку, поскольку предвещали появление в заметке самого главного: сообщения о нем — Владе Самсонове, хотя и названном почему-то Яшей. Легкая досада по этому поводу с лихвой возмещалась полным совпадением адреса и места происшествия. Печатные буквы, словно нотные знаки, музыкой отзывались в сердце Влада. Он готов был петь от переполнявшего его восхищения собой, плясать в предчувствии заманчивых перемен в своей жизни. Прости ему, Господи, его наивность: надежды юношей питают!

Газета текла, струилась, полыхала в руках Влада, а с ее страниц черными птицами вспархивали грозные восклицательные заголовки: «Смерть предателям Родины!», «Выродков к ответу!», «Смести с лица земли подлых наймитов фашизма!» Имена доктора-садиста Плетнева, недавних маршалов — бравых победителей царских полчищ и армид Антанты, а также бдительного наркома, мгновенно разгадавшего их коварные замыслы, красовались на самых видных местах. Сознание собственной известности подогревало воображение Влада. Ему живо представлялось, как изувер в белом халате пытается стахановцев-орденоносцев по заданию подпольного маршальского центра, кровно заинтересованного в ослаблении обороноспособности страны на трудовом фронте. Орудие пыток рисовалось ему, главным образом, в виде огромного шприца для уколов. И уголек священного гнева яростно разгорался в его не-

истовом сердчишке. «Смерть! — сжимая кулаки, самозабвенно повторял он. — К ответу! Смести с лица!» Его личное присутствие среди мешанины печатных заклинаний проникало Влада чувством причастности ко всему этому. «Враг, нам вредить не сметь!» Кресало рифмы коснулось его души, высекая в ней священный огонь божественного вдохновения. «Получишь за это смерть!» Он даже несколько обомлел, осознав случившееся. «Это же стихи!» Восторг подхватил и понес Влада дальше. «Как в книжке!» Теперь его было уже не остановить: в нем победно расправлял крылья солнечный графоман, способный обеспечить работой весь ротационный парк родного государства. «Пусть будет известно всему свету, — споро испражняло его, — врагов притянем к ответу. Предателей метким огнем с лица мы земли сметем. Обрушит свинцовый дождь на них наш любимый вождь». Перед ним необъятно распахнулось поле чужой брани, и хмельной дух высокооплачиваемого мародерства вдарил ему в его чуткие ноздри. Заманчивые перспективы кружили ему голову, открывая впереди дали, одну другой соблазнительнее. И тароватая на обещания Синяя Птица нежно ворковала над ним: кто смел, тот и съел, не родись красивым, а родись счастливым, нас утро встречает прохладой.

Мать, выслушав захлебывающегося от самовосхищения сына, задумчиво поджала бескровные губы и коротко хмыкнула:

— Смотри пожалуйста, уже сочиняет, вот тебе нá! Насочиняет всякой всячины, а я опять передачи носи. — Но тут же смягчилась, легонько потрепала его за волосы. — Ишь ты, сочинитель, давай-давай, может, что и получится из тебя путное, всё лишняя копейка в доме... Иди, гуляй...

С ее стороны это было как бы милостью, знаком одобрения, авансом в счет будущего. Она никогда не оставляла надежд на чудо, отводя ему в своих химерических прожектах соответствующее место. Ее рыхлое

безвольное тело, надо думать, только и держалось этими химерами, этим неумным честолюбием и жаждой жизненного реванша. Она ждала своего звездного часа с верой и самозабвенностью картёжника, который поставил на карту собственную жизнь. Сколько раз действительность опрокидывала ее хитроумные расчеты, играя с ней шуточки одну злее другой, но, едва оправившись от очередного разочарования, она вновь обретала прежнюю уверенность в скорой и уже неминуемой перемене к лучшему. Можно было только удивляться, откуда в этой сонной и ни к чему не приспособленной женщине такая почти мистическая целеустремленность. После ее гибели Влад был убежден, что и там, на Казанском вокзале, проваливаясь между электричкой и платформой, она всё еще полагала случившееся с нею досадным, но временным недоразумением перед большой удачей. Но, видно, кто не надеется, тот не живет...

Первой во дворе Владу встретилась старуха Дурова. С нею его связывало чувство взаимной признательности. Он водил молчаливую дружбу с ее единственным сыном, театральным статистом Лёлей, меланхоличным шизофреником, пользующимся в доме репутацией зачумленного; а она, в свою очередь, героически защищала Влада от священной ярости владельцев разбитых им стекол. Еще помня лучшие времена, но не жалея о них, старуха жила в крошечной комнате деревянного флигеля, целыми днями занятая изнурительными комбинациями с семейным бюджетом, состоявшим из далеко не регулярной зарплаты сына и своей мизерной пенсии. Ее изобретательность в этой области не знала границ, и только финансовые чудеса, которые творила она, бегая с ветхой кошёлкой по всем магазинам округи, помогали ей сводить концы с концами. Дворовая рвань, не прощая ей прошлого, за глаза окрестила ее «барыней», но задевать открыто не осмеливалась: потомственная дворянка мастерски ругалась матом, а при случае могла и

огреть по шее. В силу этого рабский инстинкт предохранял смельчаков от классового соблазна...

Стихи явно произвели на нее впечатление.

— Прости меня, мой милый, но это, по-моему, дерьмо, — сказала она, скорбно вздохнув. — Когда только ты успел нахвататься этой тарабарщины. — Ее глаза цвета пыли смотрели куда-то поверх его головы. — Господи, они ухитрились задурить головы даже детям!

— Что, у меня хуже, чем в газете? — Авторская уязвленность уже давала себя знать. — Точь-в-точь как там.

— Вот именно, мой милый, вот именно, — брезгливо отстранила она его. — Тем хуже для тебя.

Старуха канула в сумрак флигельных сеней, оставляя Влада наедине с его недоумением и обидой. Не раз впоследствии доведется ему выслушивать от подвернувшихся ценителей приговоры и куда более строгие, но никогда при этом он уже не почувствует себя таким убитым и обескураженным.

Но Влад всё-таки не успокоился. Слишком велико было его изумление перед открывшимся в нем даром. Уязвленное самолюбие услужливо подсказывало ему причины первого провала. «Завидно барыне, — натужно позлорадствовал он вслед старухе, — что у нас тоже выходит!» Бездарность утешается наличием врагов.

И понимание не заставило себя ждать.

— Голова Владька, далеко пойдешь! — развел руками дядя Саша, не дав ему даже закончить. — Весь в отца. Лёшка, тот тоже в большие люди шел, жалко, посередь пути укоротили... Это ты молодец, нынче за такую сознательность ордена дают. Вон слышал про Мамлакат, от горшка два вершка, а с самим вождем за ручку здоровкается. Ты какому-нибудь партейцу покажи, хоть вон Никифoryчу, глядишь, протолкнет.

— Лучше Иткину. — Перспектива читать стихи своему главному во дворе недоброжелателю угнетала Влада. — Его везде знают.

И вмиг лицо дворника словно вымерзло изнутри, стало сонным и невыразительным:

— Нету больше Иткина, — потянулся он прочь. — Был да весь вышел, будто не рожали.

— Где же он? — Влад спрашивал машинально, уже догадываясь о происшедшем: мужская половина двора редела на его глазах. — Я его вчера из окна видел.

— Вчера! — сокрушенно тряхнул головой тот. — Вчера у попа жена была, была да с цыганом уплыла. Сам вон говоришь: враг, нам вредить не смей. То-то!

Сказал и скрылся за воротами. Сегодня каждый из них уходил от него с необъяснимой поспешностью, словно их чем-то, но неизвестно, чем именно, тяготило общение с ним. Догадка еще только брезжила, только намечалась в нем и лишь через много лет озарила его поздним раскаяньем. Но прежде ему выпадало самому пройти сквозь ад, в котором канули шедшие первыми, и на своей шкуре испытать всю меру возмездия за соблазнительную легковёрность. Долог, ох как долог будет его путь обратно, в этот затененный старыми тополями двор! Дезик, Дезик¹, печальный арлекин в чумном пиру русского апокалипсиса, когда-нибудь ты небрежно отольешь его неутолимую ностальгию всего в четырех — но каких — строках: «Я б вас повел с собой в свой старый дом (шарманчики, петрушка — что за чудо!), но как припомню долгий путь оттуда: не надо, нет, мы лучше не пойдём...»

Господи, если бы я еще сохранил способность плакать!

5

«Пистолет» смотрел на Влада в упор, как бы внимательно изучая его или к нему присматриваясь. Влад не испытывал страха, скорее наоборот, ему было даже

¹ Давид Самойлов. — В. М.

немножко весело: он никак не мог взять в толк, почему директора школы окрестили именно этой кличкой? Директор был прям, тощ, броваст, с острым, выдвинутым вперед подбородком: образцовый восклицательный знак в перевернутом виде.

— Значит, ты и есть Владик Самсонов? — Он встал к нему в профиль и тут же ссутулился, отчего сразу сделался похож на огромный рыболовный крючок, поставленный на попа. — Что молчишь?

— Я...

— Так. — Директор быстро взглянул на него, словно удостовераясь, здесь он еще или нет, и снова отвернулся, вперяясь в стену перед собой.

— Я... Не знаю...

— Зато я знаю. — Он всё так же глядел в стену. — Много себе позволяешь, Самсонов. — Казалось, что директор разговаривает с кем-то там, за стеной. — Я бы на твоём месте старался держаться поскромнее. Да, да, Самсонов, вот именно. — Он круто развернулся и, выйдя из-за стола, пошел прямо на Влада. — Надеюсь, ты меня понимаешь?

О да, Влад, разумеется, понимал. Он слишком рано и слишком многое выучился понимать. Еще задолго до того, как Влад перешагнул школьный порог, бдительное общество позаботилось о том, чтобы он не забывался и знал свое место. Присказка о яблоке, которое недалеко падает от яблони, даже снилась ему по ночам: отец в виде развесистой антоновки и он — Влад — у отцовских ног, наподобие крохотного дичка. Небольшой, но горький опыт научил его осторожно лавировать между предательскими рифами молчаливого сочувствия и открытой враждебностью. Болезненно, острым чутьем затравленной зверюшки он улавливал, что единственное его спасение в том, чтобы делать вид, будто ничего не происходит: всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо как никогда! Поэтому и сейчас в нем мгновенно

сработала обычная в таких случаях уклончивая осторожность:

— Да... Да... Не знаю.

— А мне докладывали, что ты способный. — «Пистолет» придвинулся к нему почти вплотную, брови его грозно спикировали на Влада. — Схватываешь всё на лету. У тебя, говорят, прекрасная память, не правда ли?

— Я не знаю...

— Заладил одно и то же: «не знаю», «не знаю»! — Тощая длань директора покровительственно опустилась ему на плечо. — Должен знать, обязан, понятно?

— Понятно...

— Ты любишь Павлика Морозова?

— Да... Люблю...

— Вот с кого тебе надо брать пример. — В голосе его засквозила хищная задушевность. — Верность делу Ленина-Сталина — прежде всего. Враг хитёр и коварен, он лезет во все щели, нам всем надо быть начеку, понимаешь?

— Понимаю...

— Я знал, что ты умный мальчик. — Голос его зазвенел подкупающей доверительностью. Владу даже показалось, что тот слегка всхлипнул. — Ты должен быть особенно бдительным, понимаешь?

— Да...

— Молодец! — Речь директора завибрировала от умиления и восторга. — Если что почувствуешь или услышишь, не стесняйся, расскажи своей классной руководительнице. В крайнем случае — прямо ко мне, мы тебя в беде не оставим. Ты с нами, ты — наш! Понял?

— Конечно...

Еще бы! Проникаясь ответственностью момента, они оба невольно вытянулись по стойке смирно. Влад опьянило чувство приобщения к тайная тайных, святая святых, к чему-то огромному и непостижимому в своей запредельной значительности, к такому, о чем можно говорить только шёпотом или молчать гордо и отрешён-

но. Отныне он не существовал сам по себе, как отдельно взятый Влад Самсонов, его «я» слилось с восхитительным и облегчающим «мы». Сейчас он уже не был маленьким и беззащитным существом, которому приходится в одиночку отбиваться от притязаний окружающего мира, за его спиной вдруг встала сила, способная смять, раздавить любого, кто посмеет на него замахнуться. Впредь ему уже не нужно будет мучительно раздваиваться между угрожающими «да» или «нет». Каждое его «да» и каждое его «нет» определены теперь заранее потребностью и пользой Общего Дела и Единой Цели, которым он причастился. Подхватившая Влада восхитительная легкость кружила ему голову, никогда еще он не чувствовал себя таким уверенным и свободным. Заманчивые дали замаячили перед ним с открывшейся ему высоты. Пусть попробует теперь какой-нибудь там Никифоров или Вайнтрауб с четвертого этажа сунуться к нему со своими поучениями! Об остальной же дворовой мелочи он и думать сейчас не мог без снисходительного презрения. Трепещите, тираны!

В довольно тесноватом директорском кабинете сделалось светлее и просторнее. Заляпанный чернилами конторский стол с усадым портретом над ним приобрели необъяснимую торжественность. Даже запыленный фикус в углу, если чуть прижмуриться, стал смахивать на развесистую пальму с иллюстрации к известному стихотворению Лермонтова: злость подхлестывает воображение.

— Что ж, Самсонов, я верю в тебя. — Директор явно сопереживал с ним его состояние. — Скоро тебе в пионеры.

— Да. — Если бы в эту минуту тот потребовал от него выпрыгнуть в окно с пятого этажа, он ринулся бы вниз не задумываясь. Спазмы самоотречения сжимали ему горло. — Я готов.

— Но до этого ты должен показать себя, Самсонов.

Это твой долг, твой первый, так сказать, вступительный взнос.

— Я постараюсь...

Конечно, постарается! Нет отныне на земле таких крепостей, которые были бы ему не по плечу. Наш паровоз, вперед лети! Пробил его час. Теперь он покажет себя!

Случай представился уже на следующий день. На большой переменке сосед Влада по парте Мишка Рабинов, оглядевшись по сторонам и убедившись, что класс пуст, склонился к его уху:

— Что такое эсэсэсэр, знаешь?

— А что? — ожидая подвоха, насторожился Влад.

— Эх ты, колхоз!

— Сам ты...

— Я тебе как другу, а ты...

— Ладно, говори.

— Селедка Стоит Сто Рублей, понял! — Эс эс эс эр...

Лови свое счастье, Самсонов, оно само плывет к тебе в руки! У Влада победно застучало в висках: судьба выбрасывала ему карту удачи, шанс, который может не повториться. Мишка и раньше вызывал в нем некоторое раздражение своей заносчивостью и успехами в самодеятельности: считался лучшим запевалой в школе. К тому же у всех, как у людей, портреты врагов народа в учебнике истории были старательно замазаны чернилами или по крайней мере красовались с выколотыми глазами, а у него нет. Он говорил, правда, что не хочет портить учебник, а на самом деле — кто его знает...

— Сам придумал? — осторожно подтолкнул его Влад. — Слабó самому!

— Ребята во дворе говорили, а что?

— Ничего... Так...

От него не ускользнула, Миша, сумеречная зарница страха в твоих глазах, но она только воодушевила его:

значит, он не ошибся, значит, пришла пора проявить свою верность Общему Делу и Единой Цели. Где ты, Миша, теперь, ему неизвестно, но тебе следует знать своего первого стукача.

После уроков Влад долго дежурил у школы, ожидая выхода классной руководительницы Ираиды Владимировны, и когда, наконец, она, сияя персиковой молодостью, появилась на пороге, он устремился к ней, как новообращенный к боготворимой жрице. Сначала учительница не поняла Маленького Энтузиаста Большого Дела, его сбивчивый рассказ с трудом пробивался сквозь звонкий гул торжествующей в ней молодости, но едва смысл сообщения дошел до нее, она растерянно заморгала ресницами и густо покраснела:

— Но ведь он твой товарищ, Владик!

— А если он так сказал?

— Вот ты ему и ответь.

— Как же ему? — Влад прямо-таки задохнулся от негодования: кто же сам раскрывает карты врагу? — Ему нельзя.

— Почему нельзя? — Слезы уже трясли ее, и она, еле сдерживаясь, судорожно кусала пухлые губы. — Кто тебя научил этому?

— Николай Михайлович говорит...

— Ах, Николай Михайлович! — Учительница не спускала с Влада негодующих глаз. Едва ли когда-нибудь в жизни ему придется хоть однажды испытать столько жалости и презрения сразу. — Так вот в чем дело!..

Брезгливость вдруг как бы сократила ее в размерах, сделала еще моложе и беззащитней. Мгновение — другое она, словно собираясь с мыслями, молча потопталась около него, потом гневно сжала кулачки и решительно подалась обратно, к зданию школы.

Испуганно глядя ей вслед, он искренне недоумевал, что же ее так взволновало? Но вскоре, увязавшись однажды за матерью в магазин, он увидит там свою быв-

шую учительницу, сидящей у кассового аппарата. Именно тогда что-то беззвучно оборвется в нем, и он поспешит выскользнуть вон, чтобы не попадаться ей на глаза. Сынку, сынку, зачем ты предал меня!

Кто-то, кажется, Селин, мимоходом обронит однажды: «Предать — это всё равно, что открыть окно в тюрьме». Открыть — да. Но куда? В соседнюю камеру или в застенок собственной совести? В том-то и вопрос.

6

Под безоблачным небом трубил горн. Горн трубил звонко и призывно, и чистый звук его, объяв окрест, мелким серебром осыпался в рассветной дали. Лагерь мгновенно откликнулся на этот трубный зов перестуком дверей и окон, шлепаньем множества ног, гулом пробудившегося ребячьего роя. Наступал новый день первого в жизни Влада пионерского лета. За две недели, проведенные здесь, он незаметно для себя втянулся в размеренный ритм коллективного быта. Ему нравилось вскакивать по сигналу подъема, бежать наперегонки с другими к умывальнику и тянуться затем в струнку на лагерной линейке. Нравилось всюду ходить строем, гордо ощущая себя спорым винтиком хорошо отлаженного механизма, нравилось торжественное таинство костров, где в нем ликующе просыпалось светлое сознание круговой поруки, нравились военные игры, в которых он впервые познал хмельной вкус общей победы. Маленький барабанщик уже готов был вылупиться из него для самопожертвования.

Лагерная жизнь Влада омрачалась лишь неприязнью к нему отрядной пионервожатой. Та, казалось, не взлюбила его с первого взгляда. Ей не пришлось в нем всё: и то, как он ходит, и то, как смотрит, и то, как ест и во что одет. Взгляд ее круглых, похожих на запыленные линзы, глаз настигал Влада всюду, куда бы он ни пытался от нее скрыться:

— Подойди ко мне, Самсонов. — При этом она не-

изменно брала его за пуговицу рубашки. — Кровать снова заправлена кое-как, внешний вид оставляет желать много лучшего, чем упорно снижаешь отрядные показатели. — Губы ее многозначительно поджимались. — Интересно, с какой целью?

Ее любимым занятием было проведение литературных викторин, стихотворные тексты которых составлялись ею самой. Участие в них считалось строго обязательным: мстительность пионервожатой соответствовала ее беспредельному авторскому самолюбию. Все свободное время в отряде ребята ломали голову над интеллектуальными загадками своей предводительницы. Вдохновенная фантазия ее достигала временами высот прямо-таки головокружительных.

— У кого ума палата? — В поэтическом самозабвении она не знала границ. — Кто писал всегда для МХАТа?.. Набравший наибольшее количество баллов получает премию — тульский пряник за двенадцать копеек!

Этот пряник был ее главной придумкой. Она гордилась ею, словно научным открытием. Никакого пряника в природе просто не существовало, и каждый из них знал об этом, тем более, что соревнования повторялись чуть ли не ежедневно, а обещанная награда так и не дошла до победителя, но сила надежды всякий раз оказывалась упрямее логики, и маленькие интеллектуалы снова и снова бросались в битву за двенадцатикопеечное счастье: а вдруг сегодня им повезет!

Заваривалось жаркое сражение между сторонниками Чехова и Горького, завершавшееся в конце концов торжествующим арбитражем великовозрастной затейницы:

— Чехов, дети, Антон Павлович Чехов! — Ее несло. — Пойдем дальше... Кто, пороки покарав, и писатель был, и граф?.. Ну, дети, напрягитесь, здесь есть об чем призадуматься... Кто для правящего класса написал стихи про Власа?.. Ну, смелее!.. Кто громил сатрапов

смело, но кого среда заела?... Думайте, ребята. Здесь тоже есть об чем призадуматься, но и есть об чем посмеяться... Кто назло надменным барам был поэтом и гусаром?..

Тяжкое испытание это продолжалось часами, и, не выдержав пытки, он сбегал на реку, но она находила его там:

— Избегаешь здорового пионерского коллектива, Самсонов? — В голосе ее чувствовался неподдельный пафос. — Культивируешь в себе чуждый нам индивидуализм? В лес смотришь? От нас не скроешься, Самсонов, у нас пролетарское зрение...

В чем состоит оно, это самое пролетарское зрение, и как им пользоваться, пионервожатая не поясняла, но по металлическим интонациям в ее речи можно было без труда догадаться, что всякому, кто оказывается в его фокусе, не сдобровать. Многоликая действительность загоняла Влада в угол.

В довершение ко всему Влад влюбился, а влюбившись, как водится, потерял сон и покой. Сколько раз еще он будет терять их потом и обретать вновь, до следующей встречи! Скоропалительная влюбленность сделает его бичом и проклятьем, источником великого множества бед и разочарований, причиной порядочного числа болезненных комплексов. Но в третьей части пути, в преддверии заката, когда страсти в его душе слегка поулягутся и прошлое возникнет в памяти свободным от преходящих суев, он с просветленной благодарностью вспомнит о каждой из них и всю вину по отдельности возьмет на себя. Он любил вас, жрицы, будьте бдительны!

Первый пыл Влада остался неразделенным. Предмет его — нечто, как ему помнится теперь, легкое и быстроглазое в голубой испанке на черноволосой коротко стриженной голове — отнесся к его молчаливому обожанию с великолепным пренебрежением. Он старался вовсю: стал ходить в самые разнообразные кружки, пы-

тался проявить себя в самодеятельности, с позором провалившись однажды на общелагерном концерте в качестве плясуна-солиста, и даже, не умея плавать, в один прекрасный день бросился на ее глазах с невысокой вышки, но был вовремя выловлен старшеклассниками и доставлен на берег. Юная красавица осталась равнодушной и к этому акту самопожертвования. Смейся, паяц!

Но судьба готовила ему новый, еще более жестокий удар. Это случилось во время очередной военной игры. В стане «красных» Владу была отведена роль разведчика-наблюдателя за передвижением войск противника. Лёжа в ореховом кустарнике, он уже видел себя героем дня, которому суждено стать основным виновником будущей победы и которого вечером будут чествовать перед строем. Пускай она увидит тогда, кого посмела отвергнуть! Разумеется, она готова будет на коленях просить у него прощения, но он гордо пройдет мимо и даже не посмотрит в ее сторону. Умри, неверная!

Влад даже зажмурился в предвкушении столь радужной перспективы, а когда очнулся, не поверил своим глазам: на полянку перед ним вышла и направилась прямо к нему его богиня, его шамаханская царица, его повелительница в голубой испанке с «синей» повязкой на белоснежном рукаве. Она двигалась уверенно и быстро, словно и не сомневалась, что он уже сидит в кустах и ждет, готовый для нее на всё. Он не мог обмануть обольстительницу в ее ожиданиях. Он вышел ей навстречу, моментально забыв о предстоящем ему триумфе, и покорно склонил перед нею голову.

— Сдавайся, — сказала она. — Ты мой пленный.

— Нет, — вяло промямлил он. — Не сдамся.

— Тогда я убью тебя, — сказала она и потянулась к его повязке. — Понял?

— Ладно, — еще ниже склонился он. — Я понимаю.

— Иди. — Сорвав с него воинский знак, презрительно подтолкнула она его. — Ты убит.

Сказала и скрылась, исчезла, растаяла, как сон, как утренний туман...

Прощай, его первая и единственная, и не поминай покойного лихом! Еще не читая Гоголя, он уже предал ради женщины и не пожалел об этом. Да простит его верный рыцарь войны, непреклонный Тарас Бульба!

Оглохший и раздавленный брел он по лесу, безучастно вглядываясь в чащу перед собой, и жизнь его виделась ему в эти минуты никому не нужной и оттого бессмысленной. Опомнился он уже на берегу речки, где, чуть поодаль от лагеря, у него имелось потайное убежище: прибрежный сток недостроенного клозета. Он приходил сюда в трудные часы жизни и здесь, в сухой и заросшей снаружи можжевельником выемке отдавался горестным размышлениям над несовершенством бытия, глядя в небо через прорубленное вверху очко. Где оскорбленному есть чувству уголок?

И вновь он посетил тот уголок земли, и печальным демоном, духом изгнания взвился над бренностью и суетой действительности. Сладостные химеры уже приготовились вознести его в заоблачные высоты воображения, когда он услышал над собою звук выпускаемого кем-то воздуха. Звук был резкий и властный и свидетельствовал о решительных намерениях своего обладателя. Протрубили трубаچی тревогу.

Влад живо встрепенулся и тут же похолодел от ужаса: сверху над отверстием очка нависал огромный прыщеватый зад, а между широко раздвинутых колен маячило лупоглазое лицо пионервожатой. Испуг его был настолько велик, что в непроизвольном желании хоть как-то оправдать свое дезертирство с поля боя он поднял руку, застывая в пионерском салюте. Всегда готов!

Огромный зад над ним реял в высоком небе, словно белое знамя капитуляции.

7

Когда он впервые увидел тебя, дед Савелий, ему и в голову не пришло, что встреча с тобой станет для него той частью детства, о которой обычно сохраняют самые дорогие воспоминания. И вся его жизнь затем — лишь дорога к тебе с повинной, возвращение блудного внука под твой кров, путешествие Сокольниковского Савла в свой Узловский Дамаск. Он не дойдет, дед Савелий, он не дойдет, и это будет его расплатой...

Перед Владом сидел бритый наголо мослатый старик и внимательно, без тени улыбки, оглядывал его усталыми, цвета сухой чешуи, глазами навывкате. Заочно он знал деда, тот служил темой бесконечных в доме пересудов. Ему было доподлинно известно, что дед его — потомственный путеец, что в Гражданскую короткое время занимал на транспорте большой пост и что последние два года провел в домзаке за служебную халатность. Воображение Влада из множества побочных сведений и собственных догадок сконструировало образ этакого жестоколицего комиссара в кожаной тулупе и в хромовых сапогах, нечто среднее между Максимом популярной трилогии и Фурмановым с общеизвестных портретов. Но за столом, тяжело ссутулившись, сидел обычный, ничем особо не примечательный старик, и порывевший от времени и долгой носки путевский китель смотрелся на нем, как на крестовине пугала. Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил.

— Вот он, сокровище мое. — Возвращаясь с кухни, мать грубовато взъерошила Владу волосы. — Явился — не запылится.

Мать явно заискивала перед гостем. Тот, как догадывался Вадим, время от времени помогал ей деньгами,

хотя и считался среди родни скуповатым. Поэтому сейчас она старалась вовсю, угождала старику как могла, предупреждая всякое его слово и желание. Ах, мама, мама, Федосья Савельевна, ты неисправима!

— Как учишься? — Дед, наконец, разомкнул бескровные губы. — Неудов много?

— Почти отличник, — поспешила мать Влада на выручку. — Бедокурит только.

— В отца. — Дед слегка оживился, привлекая внука к себе. — Лёшка тоже драчун.

С его стороны это было сказано неосторожно. Напоминание об отце, ее муже, всякий раз выводило мать из равновесия. Она искренне считала, что тот, получив срок, обманул, предал ее, навсегда закрыл для нее доступ в предназначенные ей судьбой высшие сферы. Все ее задавленные повседневностью комплексы, словно стая растревоженных духов, сразу вырвались наружу:

— Вот, вот! — запричитала, зашлась она. — Тот во всё нос совал, и этот туда же. Одному носила-носила, скоро другому нести. Оставил меня с двумя, а самого ищи-свищи. — В своем негодовании мать не знала границ. Можно было подумать, что муж ее не отбывает срок в бухте Нагаево, а скрывается где-то на фешенебельных пляжах Ривьеры. — Сам посуди...

— Ну будет, будет, — со снисходительной суровостью укоротил ее дед, — ребенок здесь.

Влад и сам не заметил, как тихо прикорнул на плече у деда, и это его первое со стариком доверительное соседство окончательно сблизило их. Свободной рукой дед бережно гладил внука по голове, ворчливо поддразнивая:

— Поедешь с дедом в Узловую?

— Ага, — сквозь дрему расцветал Влад, — поеду.

— А коли не возьму?

— Возьмешь...

— Ишь ты, какой бойкой, слова сказать нельзя.

— Скоро поедем?

- Скоро...
- Когда?..
- Доучишься и поедem.
- Ага...
- Ну спи, спи...

Как были упоительно легки эти дни, оставшиеся до летних каникул! Едва дождавшись звонка с уроков, Влад сломя голову устремлялся домой, с лихорадочной скоростью приканчивал обед и, наспех расправившись с домашним заданием, требовательно подступал к деду:

- Пойдем?

Дед безропотно откладывал газету в сторону, облачался в свой неизменный китель, и они отправлялись в Сокольники. Вроде и не было в этих их прогулках ничего особенно яркого или памятного, но как часто, как испепеляюще отчетливо будут сниться ему они в жестокой колыбели его грядущей жизни! Майский лес гостеприимно расступался перед ними, открывая впереди синюю даль Подмоскoвья. Шагая рядом с дедом, Влад доверчивой щекой принимал к его рукаву:

- А в Узловой лес есть?
- Найдем...
- А речка?
- Будет.
- А ехать долго?
- Утром сядем, вечером там.
- А Нинку возьмем?
- А ты как считаешь?
- Хорошо бы...
- Значит, возьмем.
- Ага...

Твои черты почти стерлись в его сознании, Нинка, Нина, Нина Алексеевна, но память всё же сохранила для него кое-что от тебя: взгляд, поворот головы, легкую тень улыбки. Из них-то он и воссоздаст и затвердит в себе твой облик, твою давно бесплотную сущность. Уму непостижимо, каким ветром занесло тебя в

их семью, за что, за какие заслуги сподобил Господь это сборище самолюбий и взаимной зависти твоим явлением? Русоголовым ангелом царила ты среди коммунального воя, и одно твое присутствие умирало, удерживало окружающий мир от окончательного сумасшествия. Когда он это осознает, будет уже поздно, могильный холм над тобой сойдет на нет, сметенный с лица земли ветром и забвением. Племя, не помнящее родства, отрекается от своих могил. Не суди его строго, Нина свет Алексеевна, оно не ведает, что творит!..

В день отъезда в доме властвовала приподнятая суматоха. Мать, против обыкновения ласковая и оживленная, обряжая сына, беззлобно поучала его:

— Слушайся там дедушку, помогай ему по дому, он у нас больной совсем, его жалеть надо. Ты здесь привык на голове ходить, всё тебе нипочем — ни мать, ни тетку не признаешь, начнешь и там куролесить, что́ тогда дедушка о тебе подумает?

Тетка, целиком занятая Нинкой, тихонько посмеивалась, хлопоча вокруг своей любимицы:

— Вот мы Ниночку соберем, соберем, вот мы ее обошьем, обошьем... Тут не жмёт?

— Нет.

— А тут?

— Чуть-чуть.

— А так?

— Так — нет.

И тоже смеялась тихо и благодарно...

Дед лишь побряхтывал, неодобрительно следя за всеобщей колготней: старик не терпел суеты и осуждал ее...

Когда сопровождаемые напутствиями они вышли из ворот, Влад обернулся и, впервые увидев свой дом как бы со стороны, подивился его сиротской убогости: две придвинутые друг к другу коробки, одна каменная —

повыше, другая — деревянная, в чахлом обрамлении корявых тополей. Но что-то в нем, в его скудном обличье сквозило такое, от чего еще неоперившаяся душа Влада сладко замерла, взмывая к самому горлу. Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна.

Это был первый путь Влада от родного порога, знать бы ему тогда, сколько их у него впереди!

8

Узловая! Небольшой пристанционный городок с вокзалом, элеватором и пекарней возле самой линии. Пыльные акации, свисающие из-за глухих заборов. Тихий пруд, подернутый по краям зеленой ряской. Немощенные улицы с ленточкой повилики вдоль сухих кюветов. Куриные базары вокруг колодцев. Сонные кошки на завалинках. Коробки казенных зданий в тусклых заплатах вчерашних лозунгов. Идеальная заставка для русских провинциальных романов тех лет. Трогательная копия великого множества отечественных захолустьев. Едва заметное пятнышко на чутком лице памяти.

Но отчего же так болезненно сладко, так обморочно щемит у Влада сердце при одном только звуке, простом упоминании об этом заштатном, обойденном молвою городишке? Какая сила заставляет его вздрагивать и, вибрируя, волноваться всякий раз, когда ему где-нибудь случайно доводится услышать слово «Узловая»? Что в имени ему твоем? Видно, душа людская всегда тоскует и плачет о том пепелище, на которое ей нет возврата. Словно мираж, фата-моргана, сон наяву будет маячить перед ним образ отчего захолустья, и он обречет себя идти туда, вдогонку этому зыбкому видению, падать и подниматься вновь, жаждущими губами шепча проклятия и молитвы, но так и не дойдет, устанет, выдохнется на полпути и закроет глаза. Любимый город может спать спокойно.

Дед жил на самой окраине городка, там, где каждая улочка и дорожка вытекали прямо в примыкающее

к ней поле. В безлесом, открытом всем ветрам просторе курились дымки окрестных деревень. Остов обезглавленной церкви пленным флагманом плыл среди этой невозмутимой глади, и гулкий куб местной крупорушки на отлете сопровождал его в этом печальном плаванье. Острая пирамидка террикона у горизонта одиноко голубела им вслед. Боже мой, как ему избыть, вытравить это из себя? Ничто, ничто не забывается!

Дом деда, кирпичный, тронутый мохом пятистенник под железом ничем не выделялся из унылого ряда себе подобных, вытянувшихся по ранжиру в две линейки от базарной площади до околицы. Одну половину дед делил со своим старшим сыном Митяем, другую занимал его брат Тихон с многочисленной порослью детей и внуков. Вплотную к дому примыкал сад, разгороженный надвое, с хозяйственными сараюшками при входе. Братья жили в равнодушном отчуждении друг от друга. Тихон, всю жизнь служивший проводником на курьерских, но так и не выслуживший повышения, относился к брату с беззлойбной насмешливостью, усвоенной еще с их детства. Он считал Савелия немного тронутым и к его увлечению политикой снисходил как к очередной, но затянувшейся блажи. Тот отвечал ему взаимностью, считая брата балластом пролетариата, досадной издержкой революции, пустой породой классовой борьбы. Но семейный мир в доме не терял от этого своего равновесия.

По случаю приезда московских племянников в гости к деду съехалась почти поголовно вся родня. Первым, на щегольской служебной пролетке, нагрянул из близлежащего Сталиногорска его зять — дядя Федя, ведавший там на одной из шахт кадрами.

— Вот они какие, племяши мои! — Радужное сияние его золотых зубов словно раздвинуло тесную комнату, наполнило скудную ее суть уверенностью, здоровьем, довольством. — Ну и тощи же вы, племяннички, как из голодного края. — Это была шпилька по ад-

ресу их матери, которую он втайне недолюбливал за ее столичную гордыню. — Откормим, откормим, у нас корочек не считают...

Эх, дядя Федя, дядя Федя, номенклатурный ванька-встанька сороковых годов! Опустошающей чумой пронесешься ты по доброму десятку служебных кабинетов, оставляя после себя порожние кассы и бутылки, незаконнорожденных детей и разоренные хозяйства, обманутых ревизоров и раскаявшихся подельников, прежде чем после немногочетней отсидки за очередную растрату мирно осядешь персональным пенсионером в личной усадевке, под застрахованной кровлей. Век пробавляясь казенным добром, где ж тебе было считать корочки. Сарынь на кичку! Грабь награбленное!

Его жена — тетя Люба, женщина, как говорят, поперёк себя шире, с непропорционально маленькой простоволосой головой — при виде племянников только язвительно фыркнула:

— Не идет, видно, впрок столичная питания, ишь, на кого похожи, кости да кожи.

Она доживет до глубокой старости, эта тетя, и нарождает кучу детей, из которых выживут лишь три дочери, такие же пышные и плодовые. Война, смерть взрослого сына, служебные экзерсисы мужа просвищут над ней, не затронув ни одного мускула в ее невозмутимой монументальности. Отличаясь, как и все Михеевы, мнительной амбициозностью, но так и не достигнув запланированных в молодости высот, она в конце концов утешится несчастьями своих родственников. Чем хуже, тем лучше, и гори всё синим пламенем!

Соседствовавший с дедом старший сын его Митяй явился под заметным хмельком и уже с порога озорно сцепился с шурином:

— А, и начальства здесь, наше вам с кисточкой! — Он походя мазнул по головам племянников и зачастил, заерничал среди комнаты, потряхивая жёсткими кудрями. — Что ж ето вы, товарищи дорогие, ведётя нашего

брата, ведётя, никак до ума не доведётя, опять в магазине пусто, дажесть ситного нету.

— Много трескаете, — не остался в долгу тот и, радушно ослабившись, пошел ему навстречу. — Дорвались до дешевого хлеба и хапаете почем зря, не наготовишься. А до ума мы вас, Митёк, доведем, не пойдете — силой дотащим, для вашей же пользы.

— Да ну!

— Как пить дать.

— Ой ли!

— Будь спок.

— Страшно, а в портках мокро.

— Испугаешься...

Под их шутливую перебранку в дом вошла и, прислонясь к косяку, встала у порога рослая, не по-михеевски большеглазая женщина в накинутом на плечи ситцевом платке: большая пестрая птица со сложенными в изнеможении крыльями. Вошла и беззвучно заплакала, горестно излучаясь в сторону ребят. В ту молчаливую минуту бездетное сердце ее выберет и отметит любовью, увы, не Влада, а его сестренку, но это не помешает ему затем привязаться к тетке и сохранить свою привязанность до седых волос. Я сказал, Александра Савельевна!

Где-то на уровне ее плеча, в тени сеней нетерпеливо подергивалось аляповатое лицо ее мужа и тетки с обшарпанной трехрядкой под мышкой:

— Руки мерзнуть, ноги зябнуть, не пора ли нам дерябнуть... Чего растабаривать, за стол пора...

Так и пройдешь ты по жизни, дядя Саша, от гулянки к гулянке со своей гармошкой вплоть до той глухой зимней ночи, когда похмельная тоска толкнет тебя под колеса маневого паровоза. Путейцы умирают на рельсах.

В разгар застолья появился и младший сын деда Михаил со своей молодой женой-учительницей. Молодожены являли собой пару более чем странную. Он —

в красноармейской форме третьего срока, с вечной улыбкой на оглушенном глухотой лице. Она — идеальное олицетворение «синего чулка» местного производства: нечто сухое и бесцветное в плотной упаковке суконного костюма. Эти двое были если уже и не лед и пламень, то, во всяком случае, воск и камень.

Туговатый на ухо гость с места в карьер вклинился в общий разговор:

— Помню, в Бессарабии нам вино подавали, как воду, прямо в кувшинах, пей — не хочу. Кувшина два махнешь, мамалыгой закусишь и хоть бы что, такой коленкор. Помню, сам маршал Тимошенко...

Он горделиво огляделся, но тут же по выражению лиц определил, что сморозил чего-то невпопад, затравленно умолк и опустил глаза в поставленную перед ним тарелку. Жена его при этом лишь презрительно фыркнула, поведя вокруг рыбьим взглядом.

— А чего, чего, — ерничая, вновь зачастил дядя Саша. — Мишка у нас голова. Воитель-свободитель. Ему без етой Бессарабии полный зарез. Трудящему классу подал руку помощи. Его, Мишку, хлебом не корми, дай только за правду постоять. С им, Мишкой, угнетенный народ не пропадет, Мишка его завсегда выручит. — И не выдержал, опять-таки кольнул шурина. — С Федьком напару. Федёк настрополит на кого надо, а Мишка спасет.

Но того оказалось не так-то легко пронять. Ушлому епифанскому мужичку Федору Гришину было в высшей степени наплевать и на Бессарабию, и на угнетенный класс, и на правду. В них — этих понятиях — он нуждался постольку, поскольку они облегчали ему вольготное и праздное существование под их развесистой сенью. Он лишь подзадоривающе ухмылялся, слушая свояка, да нажимал на закуску.

Михаил в поисках поддержки жалобно посмотрел в сторону отца, и тот с готовностью уже было напрягся для ответа, но в это мгновение дядя Саша, видно, оце-

нив чреватое ссорой положение, растянул потрепанные меха:

— Давай, Федёк, затягивай...

Тенорок у дяди Феди был несильный, но чистый. Начал он, как бы примериваясь, едва-едва, но постепенно голос его набрал силу и вскоре вышел в ровный невысокий полет. Родня нестройным хором подтянула ему, и грянула песня о том, чего бы только не отдал он за ласки взоры той, которая б владела им одна. Сколько золотых казенных гор прогуляет впоследствии дядя Федя и выпьет если не реки, то порядочные-таки ручьи вина, так и не отдав их за роковую любовь и оставшись верным своей слоноподобной Любе. Но тем не менее, дотягивая песню, он плакал горячими слезами, искренне жалея себя и свои загубленные порывы. О, этот нас возвышающий обман!

Дядька сразу пришелся Владу по душе. Слушая дядьку, Влад уже видел себя взрослым, похожим на него: таким же веселым и удачливым, таким же простым и снисходительным, с полным ртом золотых зубов. Так же несильно, но чисто он будет петь про золотые горы и так же плакать, не забывая, впрочем, о закуске. Спешите жить, юноша!

Но в случайном песенном единении дед не забыл начатого разговора, не упустил скользкой его сути. Едва успели разлить по новой, как он, отставив рюмку, поспешил напомнить о себе:

— Ты, Митёк, известно, без царя в голове, молотишь, что ни попадя, а вот чего зятек щерится, не пойму. Скажи свое слово по затронутому вопросу, или тебе партбилет для украшения даден?

Наступившее вслед за этим молчание было полным и тяжелым. Зять, к которому дед обращался, всеми силами старался сделать вид, что вопрос его не касается: он лишь беспечно посапывал, уткнувшись в тарелку. Михаил растерянно озирался по сторонам тупо вопрошающими глазами. Непоседливая фигурка Митяя скон-

фуженно стушевалась. Замочная кнопка упрямо выскальзывала из-под рук дяди Саши: гармошка жалобно стенала и попискивала. Тетки, зная крутой нрав отца, затихли. Первой не выдержала Александра и выразительно повела укоряющим взглядом в сторону ребятнишек:

— Папаня...

В ответ тот лишь крикнул с досады и, норовисто поведя мослатым плечом, поднялся:

— Ладно, пойду охолону...

Стоило ему выйти, как все заговорили разом:

— Дает папаня!

— Всё чудачит.

— Чтó здесь — собрания, что ли!

— Когда только ладом посидим?

— Старый он, уважать надо...

— Вот и уважай...

— Почесали языком и будя.

— Еще по одной, что ли?

Воспользовавшись общим гвалтом, Влад вслед за дедом выскользнул на воздух. Майские сумерки текли сквозь белую кипень окрестных садов. С крохотного озерца напротив доносилась звучная переключка лягушек. Монотонный гул крупорушки за околицей изредка прерывался коровьим мычанием и гудками паровозов. Под окнами на лавочке, затененной сиренью, глухо печаловались два увядающих голоса, один из которых принадлежал деду:

— Вот вырастишь их, а они...

— Такая жись, Савва, такая жись.

— Могли бы и уважить.

— Чего хотел!

— Дожили.

— У них свой интерес, Савва.

— Знаю я их интерес, Тихон, поспать да пожрать, вот и весь ихний интерес.

— Интерес законный.

— И ты тоже!

— Мы люди простые, Савва, нам до ваших партийных заковык дела мало.

— Эх ты!

— Какой есть...

Как мучительно отчетливы, как неистребимы в нем до сих пор и этот вечер, и этот яблоневый дым над крышами, и эта сирень, и этот нескончаемо долгий разговор под окном!

9

К концу лета над Узловой зарядили дожди. Низкие, не по-летнему грузные тучи, скользя по крышам, осыпались на землю тяжелой изморосью. Окрестные поля заволокло сизым, напоенным водой туманом. Мир вокруг взбухал и растекался на глазах зыбкой пронизывающей сыростью. Всё живое ушло, забилося под кровлю в ожидании лучших времен, и только отчаянные стрижи изредка рассекали волглую высь, хлопоча о дневном пропитании. Жизнь едва теплилась в городе, придавленная к земле долгою непогодой.

Влад целыми днями отсиживался на лежанке, проглатывая книжку за книжкой и чутко прислушиваясь к шагам за окном: возвращение деда из поездок хоть как-то скрашивало унылое однообразие наступившего ненастья. Тот никогда не приезжал с пустыми руками. В его кондукторской сумке неизменно оказывался гостинец для внука: леденец, пряник, маковая баранка. По возрасту дед уже давно мог уйти на пенсию, но никак не решался, боясь домашней скуки и одиночества. Ревнуя деда к работе, Влад всё же терпеливо переносил его служебные отлучки и даже слегка потворствовал старику в этой его слабости, заводя с ним бесконечные разговоры о дорожных делах. Ожидание Владу облегчали книги и дядька Митяй, живший с семьей за перегородкой.

— Владька! — просыпаясь, стучал он кулаком в стену. — Хватит дрыхнуть, социализму строить пора. Беги в сортир, неси на поля удобрению, да будем лопать. Нынче мурцовка перьвый сорт, отборные аржаные сухари с шишем и постным маслом, пролетарская завоевания Октября, а опосля натуральный морковный чай со спасибой вприкуску, славный подарок партии и правительства трудовому народу...

В этом он был неиссякаем. Веселая злость его, словно свежая щёлочь, мгновенно разъедала призрачную устойчивость действительности, обнажая ее грубые швы и прорехи. Казавшиеся незыблемыми истины вдруг становились смешными, звонкие слова голо мельчали, от высоких заклинаний за версту несло ветхостью и фальшью. Дядька Митяй как бы вытлевал изнутри какой-то жгучей и затаенной болью, которая, стоило ему хорошенько выпить, буйно выплескивалась наружу:

— Владька, где там твой старый хрыч, — начинал тогда витийствовать он, — подай мне его сюда печеного или жареного! Нету, говоришь? Пошел комиссар мировую революцию делать на пригородном али курьерском? Мать его в железку, одной ногой в гробу, а всё мозги набекрень. Расплодилось их, емель стебанутых, на нашу рабочую голову, куда только от них деваться? Заели жись паразиты, дышать от ихней трепатни нечем. Придет время, обломаем мы вам рога, отросли больно...

Но не переживет своего отца Митяй. И года не пройдет, как сложит он свою кудрявую голову в окружении под Смоленском, и первая же внешняя вода смоеет с земли даже самую память о нем. Мне отмщение и аз воздам...

Время от времени по долгу родства заглядывал дед Тихон. Входил, степенно усаживался на скамейку около двери, вынимал кисет с нюхательным табаком и, вытянув оттуда щепоть, смачно втягивал зелье поочередно в обе ноздри. Прочихавшись, спрашивал:

— Всё читаешь? — Ответа он не ожидал. — Ну,

ну, может, как дед Савелий, до больших чинов дойдешь. Только ведь, малый, падать оттедова, с верхотуры больше. Вон дед твой по сих пор не опомнится. Потихоньку перебиваться — оно для жизни сподручнее. А в книжках этих каждый про свое брешет, поди разберись, где правда? Без книжек, своим умом дойти самое дело... Лопать хошь?

— Не... Деду подожду.

— Ну, ну, а то бабка моя кулешу доброго наварила, ешь — не хочу. — Он грузно поднимался, поворачиваясь к выходу. — Коли надумаешь, прибегай, голод не тетка...

Дед Тихон уходил, тяжело волоча больные ноги. Немало этапных дорожек через несколько лет придется прошлепать ему этими ногами, отбывая срок за свою вынужденную службу на должности уличного старосты в год оккупации, но судьба окажется милостива к нему: он вернется и доживет до глубокой древности в собственном доме, среди своего многочисленного потомства. Неисповедимы пути твои, Господи!

Всего за несколько дней до отъезда домой, в один из пасмурных вечеров, на грани яви и сна Влада привели в себя возбужденные голоса в сенях:

— Под ноги, под ноги подхватывай...

— Заноси сюда...

— Потише!

— Мальчонка спит, что ли!

— Вроде спит...

— Заноси...

Дух Влада сразу как бы отлетел от тела, и, отрешенно витая где-то среди комнатных сумерек, он впервые увидел себя со стороны: темный комок страха на белом полотнище печи. Боже, спаси его грешную душу от такого испытания!

Пока деда вносили, пока, раздевая, укладывали в кровать, Влад, забившись в угол лежанки, медленно умирал, распадался в ожидании чего-то гибельно непо-

правимого. «Не могу, не могу, не могу! — выло всё в нем. — Не хочу, не хочу, не хочу!»

Прибежал дядька и сразу же захлопотал, затараторил, раскудахтался по-петушиному:

— Ай да папаня, ай да хват! Вот это по-нашенски, по-людски. Нахлебался до потери классового сознания, не подвел фамилии, поддержал марку. Ничего, ничего, Владька, пьяный проспится, дурак — никогда. А дед у нас — голова, до всего сам дошел, с излишком, правда, но зато сам. Поначалу только подмогнули, а потом всё сам, сам. — Восхищение и восторг прямо-таки распирали его. — Ну, папанька, век не забуду, до чего удружил, ты у меня теперь за человека пойдешь, очень ты меня уважил, перед людьми не стыдно, а то ить прохода не дают, комиссар да комиссар...

Только тут до Влада дошло, что дед просто-напросто мертвецки пьян, и это несколько опаматовало его. Пьяным деда Владу еще видеть не приходилось, такое было ему в диковинку, но самое страшное было позади: случай оказался не смертельным. Всё хорошо, что хорошо кончается. Нам не страшен серый волк.

После короткого забытья старик принялся бредить, и в его бессвязном бормотании постепенно выстраивалась логическая цепь происшедшего:

— Молокососы!.. Я на этой дороге смазчиком начинал, я на ней каждую шпалу руками прощупал, жизни не жалел, а теперь стал не нужен? На свалку Савелия Михеева, в тупик... Не надобны мне твои часы на память, возьми их себе на память, у меня свои есть, сто лет без завода ходят... Эх ты, я тебя вот с таких лет знаю, сколько я тебе соплей утер, а ты меня в утиль? Меня вся дорога знает...

Влад ликовал: ох уж эта дорога! Влад относился к ней, словно к живому существу — глубоко и страстно ревновал к ней деда, считая ее единственной виновницей их хоть и кратковременных, но мучительных разлук. Она отбирала у него часть того, на что имел право

только он и больше никто в мире. Наконец-то ей пришлось уступить!

Отныне дед безраздельно принадлежал ему — Владу. На этой земле стоило жить.

10

После пыльного приземистого захолустья Москва показала Владу особенно нарядной. Желтая, с коричневыми подпалинами листва, кружа в упругом и словно подсинённом воздухе, шуршащим кружевом стелилась по тротуарам и мостовым. Глазастые трамваи сновали перекрестками, рассыпая вокруг себя резкий и долгий звук. От дворничьих блях на белых фартуках исходило ликующее сияние. Копытный стук гнедых битюгов оглашал Митьковку, и сизые турманы вились над остывающими крышами. Присыпанный палой листвой двор был залит ровным, цвета яичного желтка, солнцем. Чистая высь обещала крепкую и устойчивую осень.

Мать встретила их как обычно, в своем репертуаре, чуть смягченном сравнительно долгой разлукой:

— Приехали, голубушки-соколики! — Она вертела их, поочередно оглядывая со всех сторон. — Снова, мать, впрягайся в свою каторгу, детушки явились, поправились немножко, молодцы. Ну конечно, шея, как у трубочиста, вы там с дедом и не мылись совсем, видно. Ох, горе ты мое луковое...

Тетка, принимаясь за его сестренку, не скрывала своей радости, тихо мурлыкала над ней:

— Приехала, мое золотце, приехала, моя помощница, а здесь тетка совсем замоталась, без тебя, как без рук. А соскучилась так, что и сказать нельзя. Не забыла тетку?..

Ради такого дня в доме не поскупились на угощения. На столе, рядом с его любимой пастилой, возвышалась горка белого ранета, увенчанного двумя увесистыми гроздьями винограда. Обед оказался под стать за-

готовленному десерту: отдельно для него и для сестры суп-лапша (дань ее вкусу) и суп гороховый (вынужденная подачка ему) предшествовали полноценным домашним котлетам с жареной картошкой. Натуральный компот из сухофруктов завершал эту обеденную оргию.

После застольного священнодействия разомлевшая от еды и собственной снисходительности мать милостиво разрешила детям показаться во дворе:

— Только чтобы без крика...

Дворовый быт не сбивался с раз и навсегда взятого ритма. Открытые настежь окна источались в небо кухонным чадом и руганью. Полоскались на ветру разноцветные флаги семейных постирушек. Конный двор по соседству благоухал всеми извозными запахами. Откуда-то сверху, судя по громкости из квартиры веселого клана Купцовых, низвергался патефонный водопад: «Прощай, мой табор, пою в последний раз!» Хочешь — не хочешь, всё возвращается на стези своя.

Старуха Дурова, выбивая в палисаднике дряхлый ковер, встретила Влада беззлобной сварливостью:

— Здравствуйте, здравствуйте, Владислав Алексеевич, давненько вас не видно было, ужасно соскучились. Особенно ваш друг Леонид Владимирович.

В окне, как в портретной раме, тут же выявился и сам Лёля: с улыбочивым мальчишкой на руках.

— Скажите пожалуйста... Вот, прошу любить и жаловать, мой племянник — Борис Валентинович, твой будущий оруженосец. Заходи, есть новости...

Вот так, Боря, он впервые встретился с тобой в самом начале осени одна тысяча девятьсот сорокового года, на пороге памятных событий и больших перемен. После многих лет и разных дорог хитрым узлом завяжутся в конце концов ваши судьбы, и одному Богу известно, кто и когда развяжет его. Поживем — увидим, поживем — увидим...

У ворот Влад столкнулся со старшей Хлебниковой — Марией Юрьевной, с третьего этажа. Близоруко, в

предвестии будущей слепоты, она скользнула по нему и, узнав, посетовала:

— Что же ты не заходишь, Владик? Я подобрала тебе несколько очень интересных книжек.

О, эти хлебниковские книги в двух старинных шкапах угловой, выходящей окнами в домовый тупик комнаты! Оттуда он черпал те самые знания, которые умножают печали, там обалдевал от имен и дат, положений и ситуаций, климатов и широт, впервые пристрастясь к сладкому зелью праздного вымысла. Великое множество чужих снов прошло сквозь него и осело в нем, тревожно будоража воображение. С гудящей от них головой ходил он по земле, и пепел Клааса стучал в его сердце. Хлебниковы питали к Владу слабость солидарности: глава их фамилии разделил участь многих, чуть ли не в один день с его отцом, но сгинул, судя по всему, «без права переписки». Вдова с двумя детьми — Лерой, или как еще ее звали Лерусей, и Славкой, немного старше Влада возрастом, — перебивалась случайными уроками и помощью многочисленных родственников. Теперь-то он знает, что женщина переживет своего сына и в полной слепоте закончит дни рядом с незамужней дочерью в той же угловой комнате с окнами в домовый тупик; но тогда, в тот день, на пороге той осени ему и в голову не придет подумать об этом. Да хранит вас Бог, Мария Юрьевна!

День этот в его прошлом стоит особняком, отчетливо выделившись из бесчисленной вереницы таких же предосенних дней — будничных и ничем не примечательных. Влад помнит даже расцветку мячика, которым они с сестрой играли тогда: синяя и зеленая половинки, разделенные красной и желтой полосами, — прощальный подарок съехавших весной жильцов из деревянного флигеля. Это была их последняя игра вместе.

Наутро сестра не поднялась. То, что сначала еще могло показаться очередным флюсом, легкой опиской

здорового организма, случайным недомоганием после каникул, к вечеру налилось синюшной багровостью и жаром. Тусклый старичок — сивая эспаньолка на тощем лице — вяло поклевав больную стетоскопом, определил рожистое воспаление и прописал микстуру, а уже через сутки ее увезли в Боткинскую больницу с диагнозом «заражение крови». Мать впоследствии часенько поминала злополучного доктора недобрым словом, но кто знает, в чем, в каком промысле она являет себя — милость Божья? Слишком уж многое нам предстояло вскоре, слишком многое, а сколько еще предстоит!

Дом опустел. Мать пропадала в больнице, а тетка, возвращаясь с работы домой, пластом валилась на диван и до следующего утра не подавала признаков жизни. Влад всё это время существовал сам по себе, вне круга их видимости и сознания. Наверное, именно тогда, в те дни он с оглушающей ясностью ощутил свое одиночество в окружающем его мире и смутно прозрел смертный рок своего с ним — этим миром — единоборства. Помогите ему, Господи, не пасть духом и не ожесточиться!

К концу недели, бесцельно слоняясь во дворе, Влад внезапно увидел перед собою мать. Отрешенная, без кровинки в осунувшемся лице она сомнамбулически надвигалась на него, глухо и страстно шепча:

— Почему не ты?.. Почему не ты?.. Почему не ты, а она?.. Зачем ты живешь?.. Зачем?

В горе ее чувствовалась неподдельность, и она была искренна. Наверное, впервые в жизни.

— Знаешь, — говорил ему Лёля, зябко кутаясь в наброшенное на плечи байковое одеяло, — наверное, земля — это лишь станция нашей пересадки. Нам еще лететь и лететь, пока мы доберемся до места. Каждая

остановка для нас — это новая жизнь в новой оболочке. Здесь, к примеру, ты человек, а на другой планете станешь растением или даже камнем. Наша смерть — это лишь прощание с очередной остановкой, не более того. Так сказать, прощание из ниоткуда. Жаль только, что теперь нам достался такой неуютный зал ожидания. Будем надеяться, что в следующий раз нам повезет. Как ты думаешь?

Чуткая, подернутая звездной туманностью ночь вокруг них шелестела палой листвой, обещая к утру крепкий заморозок. Редкие фонари вдоль улицы отбрасывали в темноту робкий голубоватый свет. Пахло угольным перегаром, сухой прелью, пыльной залежью остывающего подполья.

— А где же конец пути? — допытывался Влад, холодея от сладкой жути открывшейся перспективы. — Ты знаешь, Лёля?

— Конца нет, — печально откликнулся тот и еще плотнее зарылся в одеяло. — Нет и не будет.

— Как это — нет?

— А вот так.

— У всего есть конец. — Влад упрямо мотнул головой, его не устраивало такое будущее. — И начало, и конец.

— Ты мал и глуп, — брезгливо констатировал Лёля. — Живешь в своем жалком трехмерном мире и рад. Но есть еще, к счастью, четвертое измерение, которое тебе не дано постичь.

— А что это — четвертое измерение?

— Бог. — Слово слетело с его губ почти беззвучно и медленно скатилось в ночь. — Но это не для тебя.

Влад прощал другу его колкости. Тот только что пережил свою очередную сердечную драму и всё еще не пришел в себя. Чего не стерпишь от потерпевшего крах влюбленного, и Влад терпел, великодушно снисходя к неудачнику. Владу было уже известно, что эта

штука посильнее, чем Фауст у Гёте, она побеждает смерть...

Из кромешной тьмы парадного выявился расплывчатый силуэт старухи Дуровой:

— Полуношничаете, мальчики? — Она любовно провела ладонью по плечу сына. — Тебе не холодно?

— Мальчики говорят о Боге, мать, — поморщился тот. — Не мешай, пожалуйста.

Обиженно вздохнув, та покорно канула во тьме, снова оставив их наедине с ночью. Слово любого из ее отпрысков было для нее законом. Она давно замкнула свои интересы кругом их чаяний и забот. Иной жизни у нее не существовало. Судьба обошлась с ней неласково: сыновья ее, один — спортивный журналист, другой — актер, оказались неудачниками, невестка почти безвылазно обитала в желтом доме, внуки росли пугливыми и болезненными, но наперекор обстоятельствам, словно ломовая лошадь, она тянула этот воз боли и крика, пренебрегая пересудами и с гордо поднятой головой. Гремучая смесь воинов и циркачей текла в ее неоскудевающих жилах. До новой встречи, Наталья Николаевна!

— А что это — Бог? — Влада было трудно обескуражить, упрямство деда передалось ему по наследству. — Бог — человек или нет?

— Ты задаешь вопросы, Самсонов, это может повредить тебе в жизни. В наше время любопытство — уголовно наказуемое качество, остерегайся излишнего знания, Самсонов.

— Ты не ответил, Лёля.

— Откуда в тебе это упрямство, Самсонов?

— Я хочу знать, что это — Бог.

— Ты плохо кончишь, Самсонов.

— Лёля!

— Хорошо, хорошо! — Тот, словно защищаясь, поднял ладони перед собой. — Только потом не кляни

меня, ты вступаешь на опасный путь. Как говорится, ты этого хотел, Жорж Данден!

— Ну?

— Бог это любовь.

— А еще?

— Бог это свобода.

— Какая свобода?

— Свобода — любить.

— Кого?

— Бога, а, значит, всё и всех.

— И фашистов?

— Бог не знает, что это такое, Он знает только людей, и они для него равны.

— А сам Он — человек?

— На сегодня и этого для тебя слишком много, — устало огрызнулся тот. — Тебе есть над чем подумать, а поэтому помолчи...

Он затих, втягивая, словно улитка в раковину, голову в одеяло. Не знаю, Лёля, Леонид Владимирович, пошел бы ему этот разговор впрок, если бы не твои пайковые обеды в актерской столовой в саду «Эрмитаж» в голодном сорок втором году, которые ты по-братски делил с ним пополам... Наверное, они — эти обеды — и стали его первым причащением к Святым Дарам. Ему еще тянуться и тянуться к своей Вере, еще искать и искать ее, но хлеб, однажды съеденный на двоих, уже не забудется никогда...

Тьма в конце улицы неожиданно раздвинулась, яркий свет автомобильных фар вместе с гулом мотора ринулся к ним, высвечивая впереди себя покосившиеся заборы с темнеющими коробками домов за ними, корявую вязь облетевших деревьев, серый, в матовом налете булыжник мостовой. Вскоре у подъезда почти бесшумно притормозила черная «Эмка»: жилец со второго этажа, шофер наркома Целиковский вернулся со своей

хлопотной работы. За несколько лет службы он проводил в неизвестность пятерых хозяев и теперь готовился распрощаться с шестым. Высокий, поджарый, всегда щегольски одетый и уверенный в себе, он считался во дворе завидным семьянином и добытчиком.

— Привет, мужики! — Стройная фигура его резко очертилась перед ними, раскрытая коробка «Казбека» подплыла к Лёле. — Закуривай, сосед.

— Ты же знаешь, я не курю.

— Ну, ну, а то не свои ведь — дарёные.

— Спасибо.

— Не на чем... Пока, мужики.

Он скрылся в подъезде, и лишь легкий шаг удачливого шофера отметил его путь навстречу...

Как Влад завидовал тогда этому соседу! Вот бы ему вырасти и устроиться шофером к наркому, и приезжать домой на черной «Эмке», и угощать соседей «Казбеком», и ощущать себя ловким, уверенным, красивым! Если бы он мог предвидеть в те поры, что предмет его зависти закончит свои дни чуть ли не у него на руках чохоточным алкашем, опившись «Полиной Ивановной», то есть политурой, и будет при живой жене и двух сыновьях похоронен на жактовский счет. И на старуху бывает проруха. До следующей остановки, дядя Володя, может, там тебе повезет!

— Вот, — печально промолвил Лёля, — прекрасный экземпляр современного троглодита. Ты лети с дороги, птица, зверь, с дороги уходи. Ест всё подряд, не брезгуя человечиною.

И замолчал, и более уже в этот вечер не раскрыл рта...

Над ними в немыслимой высоте светились осенние звезды. Влад всматривался в их загадочное мерцание и мысленно гадал, какая же из них уготована им теперь?

В честь Дня Конституции, в честь Самой Справедливой Конституции на земле Владу было выдано двадцать копеек. Всяк, выросший, как и он, среди Сокольнической безотцовщины, поймет, что двугривенный сорокового года был целым состоянием. Огромное количество соблазнов ожидало в те времена девятилетнего человека с таким капиталом в кармане. Но из всех — кино на два сеанса, трех сливочных мороженных с вафлями и тульского пряника — он выбрал мандарины. Четыре крепеньких, с еще зеленым отливом у самой макушки, плотно затянутых пахучей пупырчатой кожей колобка светились у него сквозь прижатые к груди пальцы, когда он бежал домой по схваченной первым снежком улице.

Ах, Тонька, Тонька, много раз потом пересекались ваши пути, вплоть до того осеннего дня, среди которого он отвез тебя на случайном самосвале за ограду Преображенского кладбища, где ты разделила участь всех столичных алкоголиков: быть похороненной без креста и памяти. Но в то утро маленькой дворовой заводилкой ты вынеслась навстречу ему и его мандаринам, и этого вашего пересечения он уже не забыл никогда:

— Владик, отец твой вернулся!

И как бы разбился на четыре равных светло-оранжевых долин его дареный двугривенный. И доли эти покатались по первому декабрьскому снегу. И уже не было в мире силы, чтобы собрать их воедино, в одни руки, в одно целое.

Его пронесло сквозь пространство от угла улицы до порога комнаты одно-единственное морозное дуновение. И здесь, немо застыв на пороге, он увидел сидящего у отопительной батареи полуседого человека в казенной гимнастерке. Человек сидел у батареи и всё поёживался, всё как бы не мог согреться, всё прижи-

мался к ребристому чугуну, словно желая слиться с ним.

Они давно забыли друг друга. Но он-то, он-то, Влад, прекрасно помнил, как еще совсем недавно на Совете Отряда звенящим от переполнявшего душу самоуважения голосом им, Владом, было твердо сказано: «У меня нет отца!» Если бы он знал тогда, в то декабрьское утро, стоя на пороге своей комнаты и безмолвно глядя на сидящего у батареи гостя, во что обойдется ему это его отречение, какой ценой заплатит он за первое свое предательство! Где ему было знать, что он уже готов в дорогу, чтобы пройти по спирали всех девяти кругов, которые перед этим только что прошел его отец! Там, на нарах восточных пересылок, в лютую стужу лагерных лесоповалов, под бесприютным небом неудачных побегов он вспомнит всё и кровавыми слезами выплечет свой грех, заплатив за него тройную цену. Прости, мой мальчик, но это так, от этого никуда не денешься!

Теперь же отец сидел, прижимаясь к теплу, а мать, без кровинки в лице, суетилась вокруг стола и всё почему-то поглядывала в сторону тетки, словно заискивая в ней и моля ее о чем-то. Та каменным изваянием стыла на краешке дивана, сухими глазами сверлила пространство перед собой, и сквозили в этой ее каменности нескрываемое обвинение, и вызов, и упрек. Они с матерью знали друг о друге всё, но в знании тетки таилась гремучая сила, и она — эта сила — грозила вот-вот взорваться и похоронить под собою первые робкие росточки проклюнувшейся в доме надежды.

И взрыв явно произошел бы, но в то мгновение, когда первое слово уже готово было обрушить ветхую тишину, двери в комнату распахнулись и на пороге обозначился Тонькин дядька — Степан, конокрадного вида мослатый парень лет тридцати, под заметным хмельком и вдобавок еще с бутылкой:

— А я слышу, будто Лёшка Самсонов приехал! —

В цыганских глазах его, подернутых пьяным туманом, вибрировала тревога, но хмельная амбиция не позволяла ему показать, что он боится общения с опасным гостем. — Думаю, раз такое дело, без пузырька не обойтись.

Степан так и остался единственным соседом, который осмелился наведаться к ним в этот день, и, наверно, оттого мать, никогда прежде не питавшая к нему особых симпатий, расчувствовалась, сбегала еще за одной, потом еще, а в довершение всего и сама присоединилась к мужской компании, втянув в конце концов в это дело и тетку. Временный мир в семье был восстановлен.

Градус радушной общности дошел постепенно до песенного излияния. Степан затащил своего любимого «Хаз-Булата», отец поддержал его слабеньким, но приятным тенорком, и они в два голоса стали печалиться о судьбе старика, у которого молодая жена, какую он не хочет отдать своему молодому сопернику ни за коня, ни тем более за кинжал и его винтовку. Они плакали, сочувствуя старцу, плакали, еще не зная, что чуть более чем через полгода немецкий свинец навеки опохмелит их обоих, одного под Сухиничи, а второго где-то в районе Лозовой. И пусть жена ищет себе другого, а мать остается безутешной!

В это ночь Владу впервые постелили отдельно, на полу. До сих пор он засыпал всегда с матерью. Где-то над ним, в душной тьме на пьедестале кровати происходило что-то такое, от чего к его горлу подкатывало яростное удушье. Он еще не знал, он еще только догадывался, что там происходит, но червь глухой вражды, даже ненависти к отцу уже вползал в его крошечное сердце, чтобы затаиться там навсегда. Влад начинал ощущать на себе жаркие доспехи Эдипа, и хрупкая рука его впервые потянулась к неостывающему мечу.

Вот так, Катя, Екатерина Алексеевна, он стал свидетелем твоего начала. Кто мог предположить тогда,

что, затеплившись в декабрьской ночи, среди пятнадцатиметрового коммунального склепа на забытой, кажется, самим Господом Богом московской окраине, ты, спустя тридцать лет, очутишься в песчано-каменном царстве Святой земли, чтобы уже никогда не вернуться обратно!

После короткой тишины Влад услышал колокола их почти беззвучных голосов над головой:

— Может, поедешь, Феня? — До предела умоляюще: — А, Фень?

— Нет, Алексей, лучше в прорубь головой, чем снова туда, в Узловую. Нету там для меня жизни.

— Что тебе Москва далась, Феня? Везде жить можно, были бы руки и голова на плечах.

— Сам видишь, куда тебя твоя голова завела, скажи спасибо, хоть жив остался.

— Не я первый, не я последний — подряд всех брали.

— Всех, да не всех, другие живут себе, помалкивают, а тебе всегда больше всех надо было.

— Дело прошлое, Феня, а теперь нам жить.

— Поезжай один пока, снимут ограничение, вернешься, снова как люди жить будем.

— Тяжело мне сейчас одному будет.

— Там родня кругом.

— Твоя родня, Феня, Михеевы.

— Тебе Михеевы дороги не переехали, примут на первое время.

— Поедем, Феня? — И еще тише, и еще более умоляюще: — Я ведь к тебе с самого Востока ехал, не к твоей родне.

— Нет, Алексей, из Москвы я не двинусь.

— Эх, Феня, Феня!..

— Какая есть.

— Ладно. — Голос отца медленно заполнялся безнадежной усталостью. — Тебе виднее, как самой жить... Не надоело еще одной-то? Вот и дочку не уберегла.

- Я не волшебница.
- Смотреть надо было.
- Смотрела...
- Сына отдашь?
- Бери.

Это было сказано вяло и безо всякого выражения, словно речь шла о чем-то безусловно бросовом и пустяшном, и оттого полоснуло Влада особенно остро. О, Влад знал свою мать, это рыхлое холоднокровное создание, всю жизнь считавшее себя достойной лучшей участи и потому старательно отстранявшее от себя всякую лишнюю заботу! И всё же легкость, с какой она согласилась сбить его с рук, оказалась неожиданно даже для него. Он так и не смог ей этого простить. Жизнь вскоре надолго развела их, но когда, пройдя сквозь свои немыслимые одиссеи, он увидел эту женщину перед самой ее смертью, она не вызвала в нем ничего, кроме недоумения и жалости. Да упокойт-ся прах твой, Федосья Савельевна, видит Бог, он в этом не виноват!

Судьба Влада была решена, и уже к вечеру следующего дня поезд уносил его вместе с отцом в сторону города городов, дымной усыпальницы списанных паровозов, колыбели ненасытного и жестокого михеевского племени — Узловой.

За морозным окном сторожка таилась непроглядная ночь, в гнезде над дверью прохода медленно извивалось пламя фонарной свечи, уютно потрескивая отгорающим фитильком. Пахло овчиной, лежалым хлебом и табаком. Прямо против Влада задумчиво бодрствовал отец, и лицо его в неверных отсветах свечного пламени казалось мягче и понятнее, чем днем.

— Спи... Спи, — время от времени приговаривал он, и блеклые глаза его при этом теплели. — Еще не скоро.

— Мы к деду пойдем, когда приедем? — Это был для него самый важный, самый мучительный сейчас

вопрос, который не давал ему покоя и отбивал сон. — Да, пап?

— К нему... Спи.

И Влад засыпал, и снился ему его дед Савелий, в железнодорожной форме, с кондукторской сумкой через плечо. Дед шел по проходу их вагона, но вместо компостера держал в руке коричневый тульский пряник величиной с портфель. «Дедуля, — проваливаясь в беспамятство, с благодарностью подумал Влад, — и откуда только он такой достал?»

13

Здравствуй и прощай, дед мой родимый, Савелий Ануфриевич! «Здравствуй», потому что я снова встречаюсь с тобой, и «прощай», потому что другой встречи у нас не будет. Я имею в виду «здесь», а «там» — это не нам знать. Поверь, что мера моей вины перед тобой равна моему раскаянью. Всё человеческое во мне от тебя, а ведь этому нет цены и за это не придумано расплаты. Вот и скажи мне теперь, Савелий Ануфриевич, дорогой товарищ Михеев, как же так получилось, что от тебя, от твоего корня, в котором и малого изъяна вроде бы не отыщется, поползло по земле это пакостное, это ползучее племя, имя которому теперь уже легион? Чего же и когда ты им не додал из того, чем сверх всякой меры оделил других? Или они просто отпочковались от тебя наподобие личинок, не унаследовав из твоей крови ни одного гена, ни одного родового признака? Отпочковались, вылезли из своих потных коконов и поползли по земле в качестве лагерных надзирателей и барыг, штатных болтунов и сутяжников, номенклатурных придурков и профессиональных стукачей; все эти дежурные по станции, весовщики, толкачи, подгонялы, банщики, билетеры, постовые и филера. Были среди них и редкие выродки с человеческими признаками, но они неизменно кончали тюрь-

мой или белой горячкой. С чем это связать, Савелий Ануфриевич, с какими законами божескими или человеческими сообразовать? У всей этой банды хватило времени лишь для того, чтобы поделить вслед за тобою твой немудрящий скарб да подраться на поминках из-за твоей полуразвалившейся халупы. На этом они посчитали свою миссию по отношению к тебе законченной и похмельно растеклись по своим углам, поручив твою могилу первому весеннему паводку. Ее уже давно нет, Савелий Ануфриевич, этой самой твоей могилы. Спустя двадцать лет, я долго искал ее по кладбищенским кустам в надежде на чудо приметы или наития, но скудное сердце мое не вместило чуда и не услышало твоего зова, и от сознания своего теперь уже обреченного бессилия я нашел обычный в таких случаях выход из собственного опустошения: я напился в тот вечер до зеленых чертей и более уже не пытался тебя искать. Боже упаси, дед Савелий, не мне считать себя сколько-нибудь лучше хотя бы одного из них! Не так уж много во мне от Самсоновых. Я — Михеев, Михеев: гнусное повторение своего клана, точная копия его язв и пороков, едва тронутая Божьим вниманием, но единственное, в чем мне не боязно тебе поклясться: я хочу быть лучше и я стану лучше, чего бы это ни стоило для меня! Сейчас, подводя итог пройденному, я ответственно сознаю, что каждый из нас — Михеевых — несет свой крест по заслугам, нам воздается сполна за каждый тайный грех и явное преступление, и да свершится до конца над нами суд Всевышнего! Но сколько ни живу, я никак одного лишь не могу взять в толк: за что же Он покарал нами тебя, дед ты мой незабвенный, Савелий Ануфриевич, дорогой товарищ Михеев?

Что-то, правда, брезжит иногда, словно сумеречный свет сквозь мутное стекло, но не более того, не более...

Дед встретил неожиданных гостей без особого восторга. Давняя и затаенная слабость Михеева-старшего к внуку не смягчила его еще более давней вражды с зятем. Теперь это может показаться смешным, страна, слава Богу, медленно, но верно трезвеет, но в те поры симпатии к синдикализму в профсоюзах, а с другой стороны — сочувствие Рабочей Оппозиции могли сделать даже самых близких людей заклятыми врагами. Правда, инициатива в этой многолетней распре, слышно было, всегда принадлежала деду. Отец, в силу своего уступчивого характера, только оборонялся, но каждая встреча их, так или иначе, превращалась в беспощадный поединок.

Теперь им вроде бы и нечего было делить, и тот, и другой, каждый за свой уклон, отбыли отмерянный по суду срок и вышли в политический тираж, но разговор за столом всё-таки не клеился.

— Да, — бубнил дед, упорно глядя в полуотпитый стакан с остывшим чаем, — перегнули палку, вот и ударили по шапке кого следует. Головка у нас крепкая, зазря людей держать не будет...

— Много народу вышло, — вяло соглашался отец, но в отсутствующем, устремленном в морозную стынь за окном взгляде его мерцала одна лишь устойчивая тоска, — вместе со мной сколько ехало...

— Там знают, что делают, — дед продолжал изучать доньшко стакана, — с головой народ.

— Может, и так...

Дед, словно борзая, почуявшая добычу, мигом встрепенулся и требовательно уставился гостю в переносицу:

— Это как же прикажешь понимать, зятёк дорогой?

— Да знаешь, тестюшка, — неожиданно ожесточаясь, выверился отец, — ты в здешнем домзаке два го-

да дурака провалял и то, гляжу, облысел совсем, а ты походи с мое по этапам, покорми вшей в эшелонах да на баржах, тогда и молоти языком, кого зазря, кого не зазря.

— Видно, зятёк, — деда уже трясло знакомой Владу дрожью непримиримости, — горбатого...

— А ты меня, батя, не горбать, — вставая, оборвал его отец, — себе сначала хребет почешу, может, чего наметилось. Ты хоть раз в «боксе» статуей сутки постоял? а в камеру на двадцать человек тебя сто восемнадцатым втискивали? а в телячьем по неделе без воды возили? То-то и оно, тестёк, не с перебором ли врагов у вас завелось?

— Вот тебе, Лёшка, Бог...

— Не задержусь, батя, не задержусь. — Отец уже тормозил Влада. — Век без вас жили, проживем еще столько же... Вставай, сынок, погостевали и будет. В Сычевку пойдем, там отоспишься...

Владу было так тепло и уютно в привычных недрах широченной дедовской кровати орехового дерева, так не хотелось вставать и выходить в снежную сушемень декабрьского утра, но жесткие руки отца уже неумолимо властвовали над ним, и, подчиняясь их уверенной воле, он покорно поднялся, позволил облачить себя в свои зимние доспехи и безропотно потянулся следом за родителем к выходу.

От недавней дедовой злости сразу же не осталось и следа. С несвойственной для его большого тела живостью он метнулся от стола им наперерез, и голос у него при этом пресекался и задрожал:

— Ну, будет, будет, Алексей, не маленькие ведь, поцапались и помирились, дело родственное... Куда ты парня в такой мороз потащишь, поимей совесть!

— Нет, Ануфрич, нет, дорогой, — подталкивая впереди себя сына, он уже миновал сени, — наслушался я вашего брата до икоты, хватит с меня, пускай теперь

другие послушают. Наше вам, как говорится, с кисточкой, а я в сберкассе.

Когда они вышли в зябкую стужу окрепшего восхода и пересекли двор, Влад не выдержал, обернулся и сердце его оборвалось и повисло на тончайшей ниточке в зияющей пустоте: дед стоял за порогом сеней — высокий, сгорбленный, в валяных опорках на босу ногу, поверх которых свисали грязные тесёмки от кальсон, и по тому, как он держался при этом, чуть скособочившись и опершись плечом о косяк, можно было без труда определить, какой он уже больной и старый...

Земную жизнь пройдя до середины и даже более того, я не боюсь теперь прослыть сентиментальным. Дед ты мой Савелий, боль и горькая память моя, много камней с тех пор отяготили мне душу, но тот, твой, из того декабрьского утра так и остался доселе тяжелее других. Если можешь, родимый, облегчи меня в одночасье хотя бы от этой ноши!..

Утро клубилось над слободой сизым туманом, сквозь который навстречу им пробивался тускло багровый круг солнца. Земля, укрытая первым снегом, дышала глухо и потаенно. Скрипучий первопуток уже зацвел кое-где темно-зелеными отметинами конских яблок, вокруг которых с хозяйственной привередливостью копошились воробьи. Недавняя боль осела, затаилась где-то на самом доньшке души, и, старательно приноравливая свои шаги к мерной, в развалочку, походке отца, Влад постепенно оттаивал, наливался веселым озорством, полной грудью вдыхая и этот морозный рассвет, и эту пахнущую конским навозом дорогу, и это холодное солнце, и всё, всё вокруг, связанное к тому же со сладостной близостью к идущему рядом человеку.

— Пап, а пап, а Сычевка — это далеко? — Бывая у деда каждое лето, Влад, конечно, знал, где находится эта самая Сычевка и сколько до нее ходу, но разговаривать с отцом было приятно, и он пользовался лю-

бым предлогом, чтобы находить повод для очередного вопроса. — Километров пять будет?

— Не больше... Скоро придем.

— А там у нас кто?

— Дядя твои... Тетки тоже... Дальний дед, пасечник.

— И все Самсоновы?

— Вроде все... Считай полдеревни.

— Сколько Самсоновых!

— Много...

— И я тоже...

— И ты... А как же!

— Здрóрово!

— Еще бы...

Так бездумно переговариваясь, шли они извилистым первопутком, и было в их первой мужской близости что-то такое, от чего грозный мир, гудевший над ними, вдруг затихал и временно становился приветливей и добрее.

Сычевка, оседлавшая гребень глубокой ложбины, выплыла к дороге из редющего тумана крайней избой, и тут отец остановился и прерывисто перевел дыхание:

— Погоди, сынок... Дай соображу малость.

Но соображать ему долго не пришлось. Из тьмы распаханного настежь хлева перед избой выделился и пошел им навстречу небритый тощий мужик в издерганном колушке, и чем ближе он подходил, тем осторожнее переставлял свои тяжелые в расхристанных валенках ноги. Потом, не дотянув до них шагов пяти, остановился, сдернул какую-то овчинную ветошь с головы да так и остался стоять, не трогаясь с места. Тихие слезы струились сквозь его щетину, а в ломких губах плавилась, текли, извивались жаркие, но бездыханные слова:

— Брательник... Братуха... Братенок... Лёха... Лёшенька... Алексей Михалыч... Живой!..

В ту минуту, удивленно глядя, как двое взрослых, а по тем твоим понятиям и пожилых людей стоят и плачут на холоду, словно не смея приблизиться друг к другу, ты еще не знал, не ведал еще, что это начало того, что ты потом назовешь жизнью, и конец того, что считается человеческим детством.

Но ты не спеши, не спеши, мой мальчик, оно — это детство — еще поманит тебя последней весной!

15

Конь под Владом осторожно и чутко припал к воде. В сквозном зеркале озера всколыхнулось и пошло трепетать мелкой рябью слегка тронутое облачным опереньем июльское небо. Конь был рыж, почти красен, и этот броский цвет его ослепительно оттенял матовое блистание озерной глади внизу, разреженную синеву над головой и торжествующую зелень травы кругом.

Когда однажды, спустя вечность, в пустынном, залитом солнцем зале перед ним празднично распахнется «Купание красного коня» Петрова-Водкина, время оборвется в нем, ввинчиваясь в воронку прошлого, и он на одно-единственное, но восхитительное мгновение снова окажется там, в том июле, у того озера, верхом на послушном Орлике...

Был день как день, до мелочей схожий с предыдущим, но паутина тревоги уже тронула его обманчивую безмятежность, откладываясь на губах Влада привкусом близких утрат. В первые же дни войны мужская половина города и его окрестностей заметно поредела, а к середине июля дело дошло до обозников, среди которых одним из первых получил повестку и Самсонов старший. В это утро он вернулся с шахты, где работал подсобником на поверхности, раньше обычного и, пряча глаза, сообщил Владу:

— Ухожу в армию, сынок. К матери поедешь.

— Не хочу туда, — нахохлился Влад: одна мысль

о возвращении домой, в чадный содом их коммунальной кухни, к опостылевшим ему нравоучениям матери и теткойной неприязни вызывала в нем острый приступ отвращения и тошноты. — У деда Савелия останусь.

Влад сказал и тут же осекся. Отец смотрел в упор, излучая на него столько горечи и снисходительного презрения, что он не выдержал, сдался:

— Ладно, поеду...

И в ту же минуту его обожгла паническая уверенность в том, что отец знает о нем всё. Всё, включая его школьное отречение. И эта внезапная догадка как бы расплющила, раздавила Влада. Он увиделся себе приколотым к месту насекомым, которого изнутри распирает одна сплошная боль: собственной, еще неокрепшей шкурой постиг он вдруг меру расплаты за предательство. И она оказалась для него непосильной. И тогда вся переполнившая его мука вылилась в долгий отчаянный крик и провальное беспамятство затем.

Очнулся Влад в Бибиково, куда со всей округи согнали мобилизованных обозников вместе с прикрепленными к ним лошадьми. Он лежал на телеге, на копенке свежескошенного сена, и безоблачное небо возносилось над ним, вызванивая начало лета беззвучным колокольчиком жаворонка в самой своей середине. Жизнь продолжалась, и она стоила того, чтобы пребывать в ней.

— Выспался? — Смущенное лицо отца заслонило высь перед глазами.

— Пойдешь со мной коня купать? — Жесткие руки подхватили его и вознесли над землей. — Не боишься?

— Не. — Замирая от благодарности и восторга, он ощутил под собою теплую кожу седла. — Ни капельки.

— Тогда трогай... Но, Орлик!..

Отец шел рядом, шершавой ладонью касаясь его ступни, и этот путь до ближайшего озера за селом

окончательно примирил их. Простор, сквозь который они двигались, знойно струился перед ними, сообщая окружающему дымный и неустойчивый облик. Соломенные крыши дальних деревень в темно-зеленых кружевах антоновки и акаций, словно желтые челны в озерах, покачивались на волнах июльского марева. Потаенный стрекот роился среди трав, распиливая вдоль и поперек густой застоявшийся воздух. Дорога с каждым шагом суживалась, мельчала и, наконец, стекла в приозерную тропу.

— Ну, теперь сам, — сказал отец, — а я посмотрю.

И конь под Владом припал к воде. Потом сделал шаг, другой, третий. И тут же по самое брюхо погрузился в воду. Круп коня передернуло мелкой дрожью, он коротко всхрапнул и сразу вслед за этим стремительно и плавно пустился через озерко. Вода обтекла сначала щиколотки, затем икры Влада, коснулась бедер, сердце в нем сладостно замерло и вдруг пошло скакать неровно и резко. Берег впереди неожиданно отодвинулся, но в следующую минуту снова пошел ему навстречу. Барабаны первой победы над Страхом и Неизвестностью зашлись дробью у него в висках. Собственная душа его покорила ему и укрощенная осознала себя и свое могущество. Дан приказ ему на запад. Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага. Нас не тронешь, мы не тронем. Даешь Берлин!

Упоение собою, своим бесстрашием заставило его горделиво обернуться: что ты, мол, теперь скажешь? Он никогда еще не видел отца таким. Подбоченясь, тот стоял по колено в воде, и помолодевшие плечи его сотрясались от смеха.

— Молодец, Владька! — захлебываясь хохотом, кричал он. — Держись крепче, не робей! Слышишь?

— Ага, — восторженно стучал зубами Влад. —
— Держусь...

— Хорошо?

— Ага...

— Помочь?

— Не...

— Сам доберешься?

— Ага...

— Не дрейфь, Владька, или грудь в крестах, или голова в кустах. Знай наших!

— Ага! — заходилась Влад. — Ага-а-а!..

В Бибиково они вернулись, когда там уже трубили сбор. Над селом стоял сплошной гвалт и плач вперемешку с лошадиным ржанием. С крыльца сельсовета военкомовский капитан, близоруко всматриваясь в тетрадку перед собой, хрипло выкрикивал:

— Гришин, Петр Нефедович?

— Есть!

— Зайцев, Григорий Филиппович?

— Тута!

— Скакалкин, Нефед Парфенович?

— На месте...

— Самсонов...

— Тут, тут, — поспешно отозвался отец, заводя Орлика в оглобли. — Куда денусь?

Пятясь задом, Орлик норовисто похрапывал, и в бархатно-тревожном глазу его отражалось и безоблачное небо, и акации перед избами, и гомон конного табора вокруг, и пробирающийся к ним среди телег дядька Тихон, двоюродный брат отца, тот самый, которого в первый день зимой встретили они у околицы. Дядька выруливал в их сторону, неся в вытянутых руках — ну точь-в-точь хлеб-соль для гостей — фуражку, доверху наполненную яйцами. На небритом лице его блуждала растерянная улыбка, словно он стеснялся своей хрупкой ноши.

— Вот, — бережно опустил он ладони в телегу и, заискивая, подмигнул Владу, — в дороге сгодится. Прямо из-под несущек.

Груда яиц еще со следами помета на теплых боках выросла перед Владом, и память его нашла им у себя место, чтобы уже не забыть о них никогда. Долго еще потом будет мерещиться ему эта скорлупа с брызгами птичьего помета на матовой поверхности. И рядом — заскоружные руки, перевитые проволокой вздутых жил. Мир праху твоему, Тихон Петрович, он не запомнил о тебе!

— Теперь его слушайся, Владька. — Отец подошел, полуобнял брата. — Он тебя завтра и отправит до Москвы. — И тут же доверительно потеплел. — Вернись, снова заберу.

Голос капитана у сельсовета взвился до самой доступной ему ноты:

— Трогай!

Водоворот табора, медленно раскручиваясь, устремился к большаку за околицей, и вслед ему потёк гулкий надсадный вой: округа прощалась со своими кормильцами. Впереди на пегом жеребце мелко трусил военкомовский капитан, время от времени оглядываясь с хриплой командой:

— Не растягивайсь!.. Не растягивайсь, кому говорю!.. Строем, строим, твою мать!..

И этот путь, и погрузка затем лишь смутно запечатлелись в нем. Иногда только смешанный запах конского навоза и сена бередил его память расплывчатыми картинками тех проводов. Но мгновение, когда состав тронулся мимо платформы, отложилось в его душе с неистребимой отчетливостью. Фигура отца за барьерной доской в проеме пульмана немного помаячила, облитая красной медью заката, чтобы затем пропасть, улетучиться за первым же поворотом. Последнее, что запомнилось Владу, это отцовская улыбка — скользящая и почему-то чуть виноватая...

Владу трудно теперь даже представить себя отца. Время отказывается возвращать нам самое дорогое из нашего прошлого, приучая нас к тишине Одиночества.

Но старший Самсонов всё же остался в сыне, безмолвно подарив ему на прощанье одну божественную простую истину: человек, предавая, прежде всего предает самого себя. Она — эта истина — стоит наследства!..

— Пошли... — Негнущиеся пальцы Тихона коснулись его плеча. — А то дотемна не поспеем.

Они вышли на привокзальную площадь, и тут, среди пестрой толчеи, Влад увидел деда. Тот стоял, прислонясь спиной к афишной тумбе, и по его большей, чем обычно, сгорбленности угадывалось, что стоит он вот так уже давно — одинокий и никем не замеченный.

— Ладно, иди, — понятиливо отвернулся Тихон и выпустил его руку, — вас ведь всё одно водой не разольешь, старый да малый...

Переполаясь счастьем и жалостью, Влад стремглав пересек площадь и с налёту ткнулся головой старику в живот:

— Деда... Не хочу домой... С тобой останусь!.. Деда!..

Тот неверной рукой гладил его по свежему ёжику, глухо и одышливо успокаивая:

— Да что ты... Что ты... Куда ж я тебя отпущу... Никуда я тебя не отпущу... Дурачок...

Потом они шли, крепко взявшись за руки, и жизнь в этот вечер казалась Владу исполненной надежд и высокого смысла. О, как он любил тебя, дед Савелий!

Оставляя города и села по чисто стратегическим соображениям, советские войска успешно продвигались вглубь континента. Славные полководцы, герои Восточной Польши (без выстрела), Молдавии (тоже самое), Халхин-Гола (шесть дивизий против двух японских) мчались далеко впереди своих войск с победными религиями наперевес и с парой штатского платья в запасе. Броня крепка и танки наши быстры. Будем бить

врага на его же территории. Пролетарская революция в тылу у противника не за горами. Рот-фронт! Но пасаран!

И в те же дни тысячи мальчиков горячего призыва, по-щенячьи цепляясь за растерявшихся кадровиков, бродили по лесам и перелескам западной России в тщетной надежде прорваться к своим. Многие и многие из них, так и застряв в окружении, пройдут вскоре отпущенные им судьбой огни и медные трубы в лагерях между Вислой и Ламаншем, чтобы растеряться затем по чужбинам пяти континентов в поисках ненадежного эмигрантского счастья. И всё же те, что вернутся, будут завидовать им, греясь у холодных костров Крайнего Севера и загибаясь в бараках бесчисленных спецпоселений.

Но это еще впереди, а пока страна встречала первую военную зиму, и товарный пульман с архивом Узловского депо, прицепленный к сплотке паровозов, кружил Влада и старика Савелия по неисповедимым путям Великой Эвакуации.

Диковинный поезд — восемь паровозов, два пульмана — с черепашьей скоростью полз через заснеженные пространства, сутками отстаивая в тупиках безымянных разъездов. На больших станциях вагон осаждали беженцы, сулили за проезд всё, вплоть до золотых гор, плакали, унижались, но дед оставался непреклонен: никаких посторонних около казенного имущества. Иногда, как бы стесняясь своей вынужденной черствости, он оправдывался:

— Только потачку дай, отбою не станет, а у меня здесь секретная документация, если что, голову с меня сымут на старости. Опять же, не приведи Господи, зараза какая, заболеешь, куда я тогда с тобой? Всем мил не будешь.

В Пензе они застряли всерьез. Дед с утра до вечера пропадал, обивая пороги станционных кабинетов с просьбами о внеочередной отправке, но хлопоты его,

видно, успеха не имели, потому что сплотка с двумя теплушками в хвосте вторую неделю не трогалась с места. Предоставленный самому себе, Влад целыми днями уныло слонялся вдоль состава, томясь скукою и бездельем. Единственное его развлечение — лазить по паровозным будкам — давно приелось ему, и на стоянках он обычно не знал, куда себя девать.

Но однажды туманным морозным утром, бесцельно бродя вокруг состава, он увидел закутанную до бровей в старый пуховый платок девочку. Высокая, в больших не по росту валенках, она зябко топталась около теплушки машинистов, с интересом оглядываясь по сторонам.

— Ты кто? — От неожиданности он даже поперхнулся. — С какого эшелона?

— Мы с Ожерелья. — Ее вздернутый нос вызывающе вознесся кверху. — А тебе чего?

— Ничего... Спрашиваю просто.

— Любопытной Варваре нос оторвали. — Она не обидно засмеялась и тут же словоохотливо объяснила: — Папка мой здесь заболел, нас с эшелона сняли. Сидеть бы нам здесь и сидеть, да папка знакомых машинистов встретил, они нас к себе посадили... А ты, наверно, который со стариком едешь, нам машинисты говорили? Владькой тебя зовут?

— Владькой... А тебя?

— Таня я. Сироткина Таня.

— Ты в какой перешла?

— В шестой. А ты?

— В пятый, — соврал Влад: слишком уж унижительным показалось ему быть на два класса младше ее. — Я опоздал на год... Болел.

— Смотри, а такой маленькой!

— Выросла, дядя Петя, достань воробушка! — задохнулся он. — И хвалится!

Она не обиделась, даже как будто была польщена:

— Ага, я — длинная. У нас в семье все длинные, порода такая, ничего не поделаешь.

— Да я так. — Ее уступчивость смягчила Влада, — я не дразнюсь, высокая и всё.

— Это вы двое там — на весь вагон?

— Ага, — чуть-чуть, самую малость поважничал он. — К нам посторонних не разрешается, у нас секретная документация.

— А книжки у вас есть?

— Не... Бумаги только, журналы разные. Печати тоже.

— А посмотреть можно?

— Пошли, если хочешь.

— А вдруг дед?

— Не, он теперь до вечера не придет... Пошли...

Как он невозвратно далек, тот блеклый зимний день, пронизанный наждачным запахом пережженного угля! Запах этот и сейчас еще временами першит ему горло...

У весело бушевавшей печи она выпросталась из своего платка-кокона и оказалась по-мальчишьи коротко стриженным подростком с лицом взрослой женщины — одновременно мягким и насмешливым. Меж тонких ее пальцев, вытянутых к огню, еще видны были остатки недавних цыпок. За отворотами ватного пальтеца, под линялым ситчиком четко вырисовывались бугорки наметившейся груди. На худенькой шее мирно пульсировала голубая ниточка вены. Зыбкие светотени пламени скользили по ней, придавая ее облику выражение загадочной бесплотности.

Влад украдкой глядел на нее, и в нем, с пугающей его неотвратимостью рос, взбухал, сгущался знойный жар, от которого тихо кружилась голова и спирало дыхание. Искушение притронуться к ней, к этим цыпкам, бугоркам под платьем, ниточке вены становилось нестерпимым. Он пытался заставить себя не смотреть в

ее сторону, но в конце концов против воли снова и снова возвращался взглядом туда же.

— У вас там тесно, у машинистов? — После затянувшегося молчания это было первое, что пришло ему в голову. — Вон их сколько!

— В тесноте — не в обиде, — беззаботно ответила она, тряхнув головой. — Зато весело.

— Я пьяных боюсь. — Слова не облегчали его, он чувствовал, что задыхается. — Кричат очень.

— А мне что, пускай кричат.

— Дерутся тоже.

— Люблю, когда мужики дерутся.

— Обидеть могут.

— Не родился еще такой, чтобы меня обидел.

— Не зарекайся.

— Пускай кто попробует.

— Не боишься ни капельки?

— Не.

— Ночью тоже не боишься? — Он вдруг пристально взглянул на нее и тут же отвернулся, до того обжигающе ослепительной она ему показалась. — В темноте?

— Ни капельки.

— А с моста глядеть?

— Подумаешь!

— Какая ты...

— А какая?

— Ну, не как девчонка...

— Скажешь тоже, — польщенно зарделась она и, перехватив Владов взгляд, неожиданно взяла его за руку. — Ты, наверное, с девчонками никогда не дружил?

— Почему? — Он почти терял сознание. — Что я маленький, что ли?

— Конечно, маленький. — Она легонько провела его ладонью по своему колену. — Еще и с девочками

играть не умеешь. — Всё в нем оборвалось, устремляясь в бездну. — Иди сюда поближе...

Она уверенно привлекла его к себе, и явь мгновенно растворилась вокруг него в бредовом тумане. Будто слепой кутёнок, чуть слышно повизгивая и обливаясь потом, он елозил по ней в тщетных поисках источника своей жажды, с неутолимой истомой под самым сердцем и еще где-то ниже пояса. Грохот и стон заполняли его. Плоть взрывалась и плавилась в нем, словно разбуженная лава в крохотном вулкане его хилого тела. Множество разноцветных радуг, нанизываясь одна на другую, растекалось у него пред глазами. Празднуй, мальчик, свое мужское пробуждение, расплата придет потом!

Когда же он, неутоленный и полузадыхающийся, наконец, отпал от нее и стыд так и не нашедшего выход целомудрия стиснул его сознание, он только и нашел в себе силы, чтобы разразиться беззвучными, но опустошающими слезами:

— Уходи.

— Что ты, что с тобой?

— Уходи, говорю!

— Вот дурашка, — обиделся.

— Уходи, уходи, уходи!

— Ты что — больной, да? — В голосе ее пробилося снисходительное презрение. — Я к тебе набивалась, что ли, сам позвал. — От выхода потянуло холодом. — Материно молоко еще на губах не обсохло, а туда же!..

Стук захлопнувшейся двери и скрип торопливых шагов донесся до него уже словно бы из небытия...

Как он плакал тогда! Плакал от обиды и унижения перед самим собой, перед собственным страхом и слабостью. Ни до того, ни после ему не доводилось испытывать такого отвращения к себе и к жизни вообще. И эта тогдашняя его мука надолго осела в нем скрытым, но болезненным недоверием к женщине, к ее необъяснимой власти над ним, к грозно затаившейся в

ней несовместимости. Сколько лет канет в вечность, прежде чем он поймет, что в них, этих странных созданиях, надо любить не сходство с собой, а разницу. Поговорка и здесь не оставляет нас своей мудростью: «Ищите женщину!»

17

Сначала со своего места на верхних нарах сквозь едва расклеенные веки Влад увидел сивые макушки, склоненные над затухающей временкой: одна — стриженная под ёжика — деда, другая — незнакомая, в беспорядочном обрамлении всклокоченных косм. Потом постепенно в его сознание стал проникать смысл разговора, происходившего внизу...

— Ах, Савелий Ануфриевич, я совсем забыл думать об этом! — В простуженном голосе патлатого сквозила едва скрываемая искательность. — Я-таки не борец. В молодости, сами знаете, море по колено, но когда у тебя уже внуки, глупости приходится выбросить из головы, хотите верьте, хотите не верьте.

— Это что же, по-твоему, революция — глупость? — Дед не любил шуток на скользкие темы. — Или как тебя понимать?

— Боже упаси, Савелий Ануфриевич, Боже упаси! — всплеснул тот короткими ручками. — Я только хочу сказать: делу — время, потехе — час, старикам следует знать свое место.

— Да, Лазарь Михалыч, сдал ты, я вижу, по всем статьям сдал, а ведь каким орлом по уезду летал, сколько кровей контре пустил, куда всё девалось!

— Что было, то было, Савелий Ануфриевич, — сокрушенно вздохнул гость, — тогда не стреляли только безрукие. И потом раньше за кем-то гонялся я, теперь гоняются за мной, в этом есть маленькая разница, не правда ли?

— Да кому ты такой нужен, Михалыч!

— Таки Гитлеру, Савелий Ануфриевич, самому Гитлеру, — даже подпрыгнул от переполнивших его чувств Лазарь. — Он побожился перевешать всех евреев и коммунистов, а я, сами понимаете, замешан и в том, и в другом, и по делу иду не один, у меня трое детей, не считая внуков, как вам это понравится? И я устал от пальбы.

— Куда же теперь с ними?

— Попробуем осесть где-нибудь в Средней Азии, а там видно будет. Главное сейчас — продержаться эту зиму, после чего станет легче. В тепле и супруга моя войдет в форму, она у меня правильная женщина, вы же ее, надеюсь, помните?

— Как же! — Дед неопределенно крикнул. — Сам по ее милости чуть к стенке не стал.

— Ах, Савелий Ануфриевич, кто старое помянет! — Гость старательно выговаривал имя-отчество деда, как бы намеренно подчеркивая этим свою зависимость от него. — Все мы были тогда максималистами, поверьте, Роза дорого заплатила за волнения молодости, она почти не двигается, я вожу ее, как ребенка — в коляске... Если бы вы взяли нас, хотя бы до Куйбышева!

— Ты меня не уговаривай, Лазарь, — угрюмо за сопел дед, — неужто я тебя не возьму, имей совесть.

— Так ведь сам говоришь, — тот, размякая, незаметно для себя перешел на «ты», — секретная документация.

Дед, покряхтывая, поднялся:

— Будет, Лазарь, дурочку валять. Ты же в Губчеке не в бирюльки играл. Вроде ты не видишь, что тут всей секретности на полдурака и на четверть бестолкового... Иди тащи сюда свою роту.

— Я знал, Савва...

— Иди, иди, а то раздумаю.

— Одна нога здесь, другая там...

Через мгновение гостя словно вымело из вагона:

серое облачко косматой гривы, подгоняемое ветром уда-
чи...

Знал ли Влад своего деда? Ему думалось, что знал. Каждый год проводя у старика летние каникулы, Влад привык к его нелюдимому нраву, каким отгораживался он от назойливости окружающих. Однажды открыв для себя свою, особую меру справедливости, дед следовал ей твердо и неуклонно, зачастую даже вопреки собственной совести. С детьми своими он почти не общался, ограничиваясь короткими к ним наездами по праздникам. Друзей у него не было совсем, и охоты заводить их он не проявлял. Единственным уязвимым местом в его душевной броне была слабость к Владу, чем тот, со всем присущим детям эгоизмом, пользовался как мог, считая деда чуть ли не лично принадлежащим ему достоянием. Впервые за всё время их знакомства старик на его глазах отступался от принятого, казалось бы раз и навсегда, жизненного правила, и в этом Влад чувствовал угрозу своей безраздельной власти над ним, а потому заранее относился к новым попутчикам с едва скрываемой враждебностью.

Те не заставили себя долго ждать. Нашествие их было почти беззвучным, но впечатляющим. Они ввалились в вагон, словно стихийное бедствие, и, растекаясь по сторонам, заполнили собою всё. Из каждого угла в сторону Влада светилась пара печальных глаз, облучавших его своей гремучей укоризной.

Место около печки теперь прочно заняла коляска парализованной жены гостя — Розы Яковлевны, желчной, похожей на ожившую мумию старухи, с копной жёстких, снежно седеющих волос. Целыми днями она что-то беспрерывно вязала, язвительно переругиваясь с мужем.

— Разумеется, это не в твоих силах, — встречала она его, когда он возвращался из похода по распределителям с пустыми руками. — Разумеется, это только

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

в моих силах. Сам ты не способен опорожниться без посторонней помощи.

— Роза, — с молящим шёпотом бросался он к ней, — возьми себя в руки, здесь дети!

— Это единственное, что ты умеешь делать, прокормить их ты уже не в состоянии. Боже мой, Боже мой, если бы я знала, что ждет меня после замужества! Кому я отдала свою первую молодость?

— Роза, я взял тебя уже с ребенком, о какой первой молодости ты говоришь, опомнись.

— Я всегда знала, что ты мещанин с мелкобуржуазным уклоном и с нами пошел из шкурных соображений.

— Вспомни, кто давал тебе рекомендацию, Роза!

— Ты дал мне ее из расчета, чтобы я стала с тобой жить, эгоист и собственник.

— Ты сама пришла ко мне, Роза.

— Тем хуже для тебя.

— Где же логика, Роза?

— Плевать мне на логику! — взрывалась она. — Ты лучше скажи мне, чем ты насытишь всю эту ораву? — Будто полководец перед генеральным сражением, она обводила свой выводок требовательным взором. — Чем, я тебя спрашиваю?

— Как-нибудь, Роза, как-нибудь, товарищи помогут.

Та словно и ждала только этого его довода, чтобы окончательно выйти из себя:

— «Товарищи»! Ха, ха, ха! Где они, эти самые твои «товарищи»? Могу тебя заверить, что они уже давно в глубоком тылу с энтузиазмом защищают исторические завоевания революции в итеэровских столовых, а ты и твои дети умираете с голоду.

— Роза, зачем так преувеличивать?

— Нет, вы только посмотрите на него! — обращалась она за поддержкой к деду. — Какой Крез или прямо Ротшильд. Он думает, ему поставят памятник за эко-

номию на собственном желудке. А как вы думаете, товарищ Михеев?

В ответ тот лишь смущенно кашлял в кулак и отворачивался. Но ей и не требовалось ответа.

— Я и забыла, вы же с ним из одного теста, — принималась она за деда. — Жаль, дорогой товарищ, что я не довела тогда следствия до конца и не поставила вас к стенке, в конце концов вы этого заслуживаете.

— Когда было дело, Роза Яковлевна, — отговаривался тот, подаваясь к выходу, — чего уж там!..

Дед исчезал, а старуха всё еще продолжала честить его в спину:

— Да, да, дорогой товарищ Михеев, еще как заслуживаете! Вы не только покрывали саботажников, но и миндальничали с дорожной аристократией, либерал несчастный, кадет! — Покончив с дедом, она поворачивалась к Владу. — Несчастный мальчик, быть в родстве с перерожденцем! — Оценивая прищурившись, она сокрушенно вздыхала. — У тебя значительное лицо, мой друг, ты будешь или большой жулик или государственный деятель, что, впрочем, одно и то же.

Она умолкала, как бы уходя в себя, спицы в ее пальцах непрерывно шевелились, сплетая одну петлю за другой, и ее можно было бы почесть глубоко удовлетворенной собою, если б не издевательская ухмылка, блуждавшая в морщинах вокруг ее губ, которая сводила на нет всё только что высказанное: неисповедимы пути женской логики!

К Владу глазастым коlobком подкатывался ее старший внук Лёвка с вечной шахматной доской под мышкой:

— Сыграем?

Шахматы для Лёвки составляли смысл существования. С ними он ложился, с ними вставал. В любое время дня его можно было застать с шахматной доской или перед ней. Он постоянно разыгрывал с самим собой бесчисленное количество вариантов. Едва обучив Влада

передвигать фигуры, Лёвка сделал его своим обязательным партнером. По сути Влад скорее лишь присутствовал при игре, чем играл. Лёвка последовательно и педантично исправлял всякую его оплошность и был особенно доволен, проигрывая, таким образом, самому себе.

Расставляя фигуры, Влад не выдержал, позлорадствовал вполголоса, благо внизу его едва ли было слышно:

— Злая у тебя бабка, — как змея.

Тот коротко, обжигаяще вскинул на него глаза и тут же снова опустил их долу:

— Ходи.

— Злая, говорю, у тебя бабка.

— Не надо, Владик.

— А что, если злая.

— Ты же видишь, она больна.

— Мой дед тоже больной весь.

— Ходи, Владик...

— Нет, ты скажи!

— Ей плохо, Владик, очень плохо.

— Подумаешь!

— Ты... ты... — Слезы душили его, руки тряслись и прыгали. Как ты можешь! — Он нервно смешал фигуры и бросился с нар. — Я больше с тобой не разговариваю!

Влад только пожал плечами и повернулся на другой бок: твое, мол, дело.

Ночью Влад проснулся от резкого толчка снизу: вагон двигался, легонько подрагивая на стыках. За остекленным люком текла студеная декабрьская тьма, кое-где пробитая звездами. Слабое пламя времянки отбрасывало вокруг веер скользящих теней. Шёпотный разговор кружил у огня, скрадываемый движением состава и полусумраком.

— Ты прекрасно понимаешь, Лазарь, что я не доеду, — с несвойственной ей обычно мягкостью вздыхала старуха. — Мы не дети, зачем строить иллюзии?

— Тебе нужно тепло, и тогда всё будет иначе. — Голос его звучал на пределе боли и нежности. — И потом — война скоро кончится.

— Ты думаешь?

— Конечно!

— Ты всегда был оптимистом, Лазарь. Не забывай только, что немцы уже под Москвой.

— Всё будет хорошо, вот увидишь.

— Главное, чтобы было хорошо нашим детям.

— Для этого тебе и надо держаться.

— А тебе?

— И мне тоже... Ради тебя.

— Ах, Лазарь, Лазарь, мы уже старики!

— Ты — нет.

— Ты исправишь.

— Для тебя, Роза.

— Прости меня, Лазарь, — голос ее пресекся, — но эти проклятые боли!

— Я знаю, Роза... Знаю... Если бы я мог болеть сейчас вместо тебя!.. Попробуй заснуть.

— Как я люблю тебя, Лазарь...

— Спи... Я посижу около тебя.

— Лазарь...

— Спи...

Слова, кружа над Владом, отягощали ему душу еще не испытанным доселе смущением, и, засыпая, он никак не мог отделаться от ощущения вины, истока который ему пока не дано было определить. И снился Владу дворник дядя Саша в душной тени дворовых лип. «Жиды, — смутное лицо дворника призрачно маячило перед ним, — народ хи-и-итрющий! «Ре» выговаривает — поет, не выговаривает — в оркестре. Русский дурак на трубе играет, а он — на скрипке. Вот так». И впервые бесхитростная физиономия его казалась Владу отталкивающей...

В Сызрани состав нагнало известие об освобожде-

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

нии Узловой. В этот вечер дед вернулся со станции под заметным хмельком.

— Хватит, набедовались, — торжественно объявил он с порога, — пришел и на нашу улицу праздник, Узловую взяли, домой поедем.

Сказал и осекся, услышав в ответ вязкую, напряженную тишину: известие не вызвало энтузиазма у его попутчиков.

— Поздравляю, — вяло уронил глава семьи, — счастливого вам пути обратно.

Остальные лишь обреченно опустили глаза: перспектива снова оказаться на морозе, среди многотысячного потока беженцев, штурмующих проходящие эшелоны, не вызывала в них ничего, кроме тягостной тоски.

— Так вместе поедем, Лазарь Михалыч, — попробовал приободрить их дед. — Веселее будет.

— К сожалению, Савелий Ануфриевич, — слабо улыбнулся тот, — это невозможно, у нас другие планы, да, такі другие.

В знак согласия с мужем Роза Яковлевна лишь величественно кивнула.

Прощание было недолгим и молчаливым. Они схлынули из вагона так же стремительно, как и появились. Только Лёвка, чуть задержавшись, протянул Владу руку и сразу же озадачил его:

— А я из-за тебя с бабушкой поссорился.

— Скажешь!..

— Она велела мне помириться с тобой.

— А я что, я ничего...

— Бабушка сказала, что у тебя печать одиночества на лице и что тебе необходимо участие. До свидания, Владик, не обижайся на меня... Не обижаешься?

— Не. — Спазмы перехватили ему горло. — Ни капельки...

— Мы еще сыграем когда-нибудь... До свидания.

Лёва исчез за дверью, сгинул во тьме студеной во-

енной зимы и, как говорится, во времени и пространстве...

Лёвка, Лёвка, его дорожный рыцарь с шахматной доской под мышкой! Где ты теперь, в какой ипостаси присутствуешь на земле, какие дороги топчешь? Урок, преподанный тобой, ему уже не забыть, как не забыть ему и твоей облучающей укоризны. Часто потом в людях, едва ли похожих на тебя, он будет прозревать твои черты и всякий раз при этом в нем ноюще отзовется та еще не оплаченная им вина перед тобой. Но станем надеяться, станем надеяться...

18

Возвращение их было еще более медленным, и до Узловой они добрались, когда первые ручьи уже прорезали потемневший снег. Запах оттаивающего навоза, круто замешанный паровозным дымом, сквозил по городским улицам. Голодное воронье галдело над городом, обозревая окрестности с высоты птичьего полета в поисках гнезда и добычи. Из-за крыш, с поля тянуло волглой прелью и туманом. Весна исподволь подтачивала зимнее царство, обнажая вокруг сквозные рубища войны.

Руин по пути они почти не встретили, если не считать обгоревшего остова элеваторной башни, но отпечаток тлена и опустошения лежал на всем, мимо чего они проходили: в эти недолгие месяцы потаенная дряхлость города как бы враз обнажилась, стала предельно яственной. Эта обстроенная со всех сторон станционным хозяйством деревня вдруг выявила свою природную непрочность. Дома стояли в целости и на прежнем месте, но за темными, в бумажных крестах, глазницами окон жизнь словно бы вымерзла, уступив их стуже и запустению. Дух забвения витал над городом.

Дома Влада ожидало письмо матери. Письмо принесла тетка Клаша — невестка деда, бедовавшая за сте-

ной с двумя детьми от его старшего сына Митяя, который с первого дня мобилизации не подавал о себе вестей. Высокая, размашистая, она чуть не с порога бросила на стол перед свекром давно вскрытый и порядком потрепанный конверт:

— Вот, барыня твоя прислала, выблядка своего назад просит. — Кровь викингов — дед ее был немцем — временами сказывалась в ней предельным лаконизмом формулировок. — У них бламанже простыло, кушать некому, сынка дорогого дожидаются. — Но не выдержала тона, перешла на крик. — Я тут с двумя маюсь, отрубя и те — по престольным праздничкам, а помочи ниоткуда, хоть вешайся. Всё ей, всё ей норовишь, московской своей раскрасавице да выблядкам ее. А мои тебе вроде и не внуки, обсевки какие, сидишь на своем капитале как сыч, любимчику, головастику своему бережешь, думаешь, отблагодарит! Отблагодарит он тебя, как же, держи карман шире! Вернется Митька, всё выложу...

Дед лишь повел в ее сторону усталым глазом, и та мгновенно осеклась и слиняла: искушать судьбу здесь — тетка это знала по опыту — было себе дороже.

— Давайте, папаня, постирушку какую соберу, — как ни в чем не бывало, без перехода засуетилась она. — Снимай-ка, Владька, свои монатки, вошь, видно, совсем заела...

— Не тарахти, — хмуро оборвал он ее, — ребенку спать нужно. Потом зайду — поговорим.

Тетка с безропотной покорностью тут же исчезла, а дед, водрузив очки на нос, принялся за письмо. Влад не спускал со старика напряженных глаз, и заячье сердце его при этом билось учащенно и томительно: в руках у деда шелестела тетрадными листочками предназначенная ему судьба.

Стенные часы мерно отсчитывали тишину. Привычно пахло настоем сушёной малины, аромат которой так и не выветрился под натиском запустения и без-

людыя. И эти ярко кумачевые крылышки герани на фоне ворсистых от инея окон! Нет, он не мог и не хотел себе представить своего возвращения в Москву! Пусть они провалятся там все пропадом, вместе с их давно опостылевшей ему кухонной колготней и семейной междоусобицей!

— Придется ехать, парень. — С каждым его словом паническое опустошение заполняло Влада. — Сестренка у тебя объявилась.

Но даже эта новость не вывела Влада из горестного оцепенения. Ему было не до этого. Мысленно он уже находился там, среди дворового царства крика и ругани, в чадном кошмаре их единственной комнаты. Смилюйся над ним, Господи!

— Да? — машинально сказал он, не замечая собственных слез. — Большая?

— Ладно, ложись. — Стаскивая с Влада валенки, дед виновато отводил от него глаза: старик знал, чувствовал, что творится сейчас на душе у внука, и оттого никак не мог смирить дрожь своих рук. — Утро вечера мудренее... Ну, ну, будет... Как маленький, ей-Богу... Горе мне с тобой, парень... Ну, иди сюда...

Дед поднял его на руки, и тут Влад дал себе волю. Уткнувшись старику в плечо, он безудержно отдался своему горю. К нему, сквозь его плач, еле пробивались увещевания деда:

— Ну будет, будет. — Голос его глух и пресекался. — Я тоже ведь не железный, возьму и разревусь. Вот и будем реветь вдвоем как две белуги, куда это годится? Летом опять приедешь, в лес к тетке Любе подадимся, грибов соберем, ешь — не хочу... Ну, ну...

От старенькой гимнастерки деда тянуло махоркой и потом, жёсткая щетина его тихо скреблась о Владов висок, и тот, забываясь тяжелым сном, благодарно прижимался к нему: детские беды недолговечны. И снился Владу лес перед домом тетки Любы: звонкие свечки строевых сосен, несмолкаемая перекличка галок над

ними и теплая паутинка тропок, стекающих в зеленый сумрак. И куда Влад ни оборачивался, грибы обступали его со всех сторон. Красные подосиновики, дымчато голубые сыроежки, загорелые боровики, покачивая крепкими шляпками, плыли ему под ноги, через заросли осота и повилики. «Ну как, — гудел над ним хриплый бас деда, — я же тебе говорил, а ты плакал!» «Это я понарошку, — смеялся он в ответ. — Я и сам знал!» Сосны празднично кружились над головой, и небо сквозь них казалось игрушечным...

Когда Влад проснулся, деда не было, а у печи тетка Клаша орудовала ухватами. Комната словно бы ожила, вбирая в себя тепло раскаленного кирпича, на оконных стеклах пропотели первые плешки, герань заметно повеселела, паучьи сети по углам распружинисто расправились. Человеческий дух властно утверждал себя среди временной заброшенности.

Пробуждение племянника тетка Клаша встретила довольно миролюбиво.

— Жив? — подбоченившись, насмешливо осклабилась она. — Не растаял? — Но тут же поспешила сбавить тон. — Обиделся, видать, на тетку? Ты не обращай внимания, я теперь злее чёрта, такая жизнь!

— Я ничего...

— Трескать хочешь?

— А дедка где?

— Куда твой дедка денется! В депо пошел, тряхомудки свои конторские сдавать. Ему евоная партейная совесть прохлаждаться не позволяить, день и ночь работал бы, да ходу не дают. Правда, всей и работы, что языком трепать, а всё занятие... Вон лучше смотри — твоя команда тебя дожидается, аж слюни текуть.

Она кивнула куда-то за печку, и почти мгновенно, словно только и ожидая приказа объявиться, из-за ее спины показались двое стриженных наголо ребят в одинаковых кацавейках, так что даже и не разберешь с первого взгляда, где мальчик, а где девочка.

— Мы тут, — чуть ли не хором сказали они и робко выдвинулись вперед. — Здравствуй...

Славка, Славка, Марго, Марга, Маргарита! Помните ли вы эти единственные рваные валенки на троих, эти оладьи из крахмала прелой картошки, этот пир богов над чугуном крапивного варева! До отъезда в Москву у Влада оставалось достаточно времени, чтобы съесть вместе с ними тот самый обязательный пуд соли, какой необходим для нерасторжимого уже родства. Разве мог он предположить тогда, что Славке, с которым они проведут под истлевшим от их собственной мочи одеялом не одну голодную ночь, выпадет пройти по тем же самым лагерным маршрутам, что и ему самому, а Марга-Маргаритка, хрупкая бабочка с льняными крыльями вопрошающих бровей, превратится в бесцветную гору сала и самодовольства, тупо восседающую на фибровых сундуках с синтетическим добром! Встретив сестру после тридцати, Влад, благоговейно влюбленный в нее и не забывший давней привязанности в своих одиссеях, лишь снисходительно посочувствует ее избраннику. И только тетка Клаша, одна только бурно неувядающая тетка Клаша, даже спустя целый геологический период останется всё той же ярой воительницей со всем ополчившимся против нее светом. Да, есть женщины в русских селеньях!

— Держи, — вручила она на прощание Владу узелок с печёной картошкой. — Останется — своих угости, пускай твоя мама-мадама нашего крембруле попробует.

И по привычке приложила кончик платка к сухим глазам.

— Летом приедешь? — шмыгнул носом Славка. — К лету немцев разобьют — папанька твой вернется.

Марга, переминаясь с ноги на ногу, тоже протянула ему потную ладонь:

— И наш папанька тоже придет, на сенокос в Торбеево поедет.

Дед хмуро поторопил:

— Ну, ну, будет, а то поспеем к третьему звонку...

Влад словно чувствовал, что этот путь до вокзала — его последняя дорога с дедом. И без того тяжелое небо казалось ему еще ниже и пасмурней. Мир вокруг него сузился до размеров пристанционной улицы, медленно, как воронка, втягивающей его в свою с поднятым шлагбаумом в самом центре горловину. У Влада было такое ощущение, будто после каждого сделанного им шага земля позади него обваливается, образуя непроходимую пропасть. Он выламывался из привычной среды. Он уходил из собственного детства. Он не смотрел по сторонам и не оборачивался. Он уже знал, что возврата сюда ему больше нет. Не буди того, что отмечалось, и не тронь того...

Всю дорогу они шли молча, и лишь на платформе, перед ступеньками вагона, дед порывисто прижал его голову к своему бедру:

— Не забывай деда... Дед уже старый совсем...

В ответ Влад не мог даже заплакать, потому что состоял сейчас из одних слез: прикоснись, и он стечет в землю весь, целиком, без остатка. Прости его, Господи, но в эту минуту ему не хотелось жить!

Когда поезд тронулся, сверху, сквозь сырое месиво облаков пробилась робкая полоса солнечного света, захватив согбенную фигуру деда в свой фокус. И это бергмановское видение — одинокий старик среди случайного солнца — вечным стоп-кадром запечатлелось в нем навсегда, на всю его жизнь и последовало с ним за ее видимые пределы...

Прости меня, прости меня, прости!

Весна в Москве выдалась на редкость пасмурной и зябкой. Зелень в Сокольниках проклевывалась сквозь ночные заморозки и волглые ветры дня. По на-

бухшим карнизам взъерошенными комочками жались голодные воробьи. Еще с осени наглухо заколоченные окна сыро таращились в мир переkreщенными крест-накрест стеклами. В устойчиво затененных местах снег лежал чуть не до середины мая.

— Вот погодка, — ворчал дядя Саша, кроша ломом снежные залежи, — только Гитлера хоронить. Цельными днями — как каторжный, а пища нынче сам знаешь, какая, на ей с жиру не взбесишься, а у mine желудок, как дырявый мешок, пайковых харчей не держит, одной сечкой на двор хожу, едри твою в корень.

С тех пор как Влад вернулся домой, жизнь его в семье складывалась через пень-колоду. Он пошел было в четвертый класс, но кое-как протянув меньше четверти, устроился учеником столяра на деревообделочный завод, где едва выдержал до конца года. Затем последовали: переплетный цех, мастерская папье-маше, кондитерская фабрика. Карамельное дело пришлось ему по душе. Приятно было сознавать себя обитателем крохотного островка сладкого изобилия среди серого океана военной бесхлебицы. Прикрепленный к «штучникам», он с распирающим грудь самоуважением следил, как из-под его рук тянется горячая ленточка ликерного сорта «Бенедиктин» или «Героям Арктики». Уходя с работы, он намеренно не счищал с подошв прилипшую к ним карамельную массу: человечество обязано было знать своих счастливицев. Капризная фортуна слегка приоткрыла перед ним завесу иного мира, иного существования.

Но счастье Влада оказалось недолгим. Однажды утром он не нашел своего табеля в контрольной ячейке. Сердце в нем на мгновение сократилось до размеров микроскопической льдинки и тут же взбухло, словно огненный шар, заполняя его обморочным зноем. Скудная явь снова возвращала Влада в его прежнее состояние. Перебиты, поломаны крылья. Шел по ули-

це малютка, посинел и весь дрожал. Гуд бай, малыш!

— Господи, за что же мне это такое наказание! — трясясь от негодования, причитала мать. — До каких пор ты будешь тянуть из меня жилы и пить мою кровь? — Насчет жил и крови она явно преувеличивала, но по поводу всего остального ей можно было действительно посочувствовать: Влад далеко не соответствовал идеалам Матери Прекраснейшего из Государств. — Ты скоро вгонишь меня в гроб раньше времени, негодяй! Или ты возьмешься за ум, или я сдам тебя в детколонию. Сил моих больше нет!

Тетка, сурово поджав губы, молчала. Ее неприязнь к Владу уравнивалась сейчас торжеством над зловкой: мол, каков поп, таков и приход, что посеешь, то и пожнешь. Рождение племянницы заметно умиротворило ее, у тетки была материнская слабость к девочкам, но для него желчи в ней не убавилось, скорее наоборот, лишь возросло в результате, как говорится, простого сопоставления. Что может сравниться с Матильдой моей! «Вот два изображения: вот и вот».

Спасением Влада в таких случаях была улица. Она и впрямь пролегла через его сердце, незабвенная Митьковка! Давно не гремят по твоему булыжнику могучие копыта ломовых битюгов, смолкла в твоих дворах перекличка горластых стекольщиков и визг искрометных точил, пошло на снос твое деревянное, в разных кружевах царство, но горький сон о тебе ему уже не избыть, не вытравить из себя никакими видениями райских далей и кущ. Зигзагообразно отплескиваясь от городской магистрали, улица концом своим упиралась в периферийные ворота Сокольнического парка, где местная ребятня проводила основную часть свободного времени. Сокольники были их Меккой, Землей Обетованной, Тайгою и Патагонией, Клондайком и Коло rado. Здесь они постигали трудную науку жить своим умом, приобщались к Торжественной Тайне Табака, Великому Волшебству Вина, Лжи Легкой Любви. От-

сюда, вооруженные житейским и мужским опытом, они уходили в большой мир, в котором их уже ждали казармы и концлагеря, стукачи и вербовщики, чистые девочки и вокзальные бляди, надежды и разочарования, одинокие могилы и братские кладбища. До свиданья, мама, не горюй!

У Влада в Сокольниках имелись свои, одному ему принадлежащие укрытия и закоулки. В рейдах за желудевыми шляпками и майскими жуками он облазил едва ли не каждую пядь, вдоль и поперек исплавал все здешние пруды, держал в памяти самые потаенные стёжки. Когда ему становилось особенно худо, он забирался в траншею заброшенного тира за детским городком и там в одиночестве скорбел о несовершенствах мира и собственной незадачливой судьбе. С тех отмеченных зовом плоти лет слова «Оленьи пруды», «Майский проспект», «Ширяево поле», случайно настигавшие его в людской толчее, звучали для него как пароль, знак родства, символ понимания и надежности. Везде и всюду дым родной окраины будет сладко кружить ему голову.

С начала войны улица стала для ее обитателей и одним из основных источников существования. Прямо через дорогу, за жиденьким рядом двухэтажных деревянных коробок, располагалась товарная станция Митьково с прилегающими к ней дровяным складом и овощной базой. Они-то, эти две точки, и кормили окраину. Их инвалидной охране было не под силу выдержать круглосуточную осаду прожорливой и бесстрашной, как саранча, уличной шпаны. Дрова и уголь со склада дымились во всех временках Митьковки, а картошка базы служила основой ее существования. С утра до позднего вечера сновал Влад в челночных операциях между точкой снабжения и потребителем. Имея в доме постоянных заказчиков, он не мог пожаловаться на жизнь, но сравнительное это благополучие доставалось ему нелегко. Каждое полено, каждый клубень картошки

были оплачены его ужасом перед скорой поимкой. Недаром всю его последующую жизнь ему станет постоянно сниться погоня.

Слава отпетой голи, будущего завсегдатая отечественных тюрем прочно укрепилась за ним во дворе. Дворовые кумушки только головой покачивали да вздыхали, глядя ему вслед, а он гордо шел сквозь обжигающий ветер собственного страха, и вещей гром Уголовного Кодекса гремел над его головой. Орленок, орленок! Идущие на смерть приветствуют тебя!

Федор Вайнтрауб с четвертого этажа, тыловой снабженец в спасительных погонах интендантского старшины, сгружая во дворе очередную партию краденого на вверенном ему складе имущества, неизменно встречал Влада одним и тем же вопросом:

— Всё ворует, Самсонов?

Дядя Саша, наоборот, одобрял:

— Бери, раз плохо лежит, Владька. Все воруют, а мы что — не люди? Вор нынче тоже специальность.

Старуха Дурова, глядя на него, горестно печалилась:

— С такими задатками — и уже жулик. Что будет с тобою дальше? Уму непостижимо!

Чекист Никифоров не скрывал своих намерений на его счет:

— Дела, дела, всё руки до тебя не доходят, а пора бы тебя привести к общему знаменателю, в колонии тебе самое место.

Влад с этим решительно не соглашался, у него имелись другие планы на будущее. Только он не мог бы объяснить даже самому себе, в чем они, эти планы, состояли, но полное их несовпадение с никифоровскими было для него очевидным. Он знал, чувствовал, что долго так продолжаться не может, что в ближайшее время судьба его должна сделать крутой поворот и что впереди у него — гадай, не гадай — дальняя и долгая дорога.

Дома Влада только терпели, не более того. Мать, вялая и заметно опустившаяся, принимала его добычу как должное, ни о чем не спрашивая и ничем не интересуясь. Тетка молчаливо хмурилась, но его вклад в их скудное хозяйство, которое теперь полностью свалилось ей на плечи, вынуждал ее смиряться с неизбежностью. Она даже несколько подобрела к нему: нужда обрекает на сосуществование.

Лишь кухонный ад за дверью сделался еще изощренней и злее. Катька-дурочка, водрузив на обмотанную тряпьем голову банную шайку, носилась по коридору с яростными проклятьями:

— Хватит забивать мне гвозди в голову! Черти драные, дайте человеку покой! Ненавижу вас, окаянных, чтоб вы все передохли! Караул, убивают! Спасите меня, сироту несчастную!

Влад только злорадно посмеивался, прислушиваясь к ее тирадам: вольно дурочке тешиться. Мог ли он тогда подумать, что ровно через пятнадцать лет ему доведется встретиться с ней под одной крышей, в третьем корпусе Троицкой больницы, или как ту еще называют — Столбовой. Она не узнает его и пройдет мимо, а он еще долго будет смотреть ей вслед, замирающим сердцем обращаясь в прошлое. Гаси, гаси свои векселя, мой милый, расплачивайся, пришла пора!..

Затем наступал черед дуэта: тетя Люба — дядя Ваня. Начинал он. Начинал издалека, словно примериваясь и прикидывая, во что ему обойдется предстоящая баталия, но постепенно, с каждой новой выпитой рюмкой речь его крепла, наливалась металлом и матерщиной:

— Что ты за человек такой есть, Люба? Ходишь, прости Господи, как лахудра какая, в драной затрапезе, ни виду в тебе нету, ни завлекательности. Сходила бы в палихмахтерскую, перманент навела, маникюр опять же, чтоб с тобой пройтись было не совестно, а то ведь смотреть тошно, туды твою растуды. Тебя,

стерьву, только на огород заместо пугала, мать твою перемать. Навязалась, холява, на мою голову, нарожала мне паразитов, один как лягушка, другой и вовсе урод, слюни текут. Тьфу!

Та отзывалась сразу же, едва он умолкал, и пронзительный крик ее, прокатившись по квартире, выплескивался во двор:

— Нажрался, ирод проклятый! На мамзелей кобеля потянуло, перманен ему подавай. На себя посмотри, чёрт шелудивый! Рожа кирпича просит, один глаз за другим гоняется. Совесть бы поимел детей своих хаить, слава Богу; не в тебя пошли, кому хошь покажи, красавчики!..

Эх, тетя Люба, тетя Люба, знала бы ты, как придется тебе умирать в собесовской богадельне, в двух трамвайных остановках от дома, а твои «красавчики» так и не удосужатся отвалиться от воскресного стола, чтобы пойти похоронить тебя. Напрасно посыльная Дома престарелых станет умолять их хоть взглянуть на погребение. У старшего твоего — Бориса — только и найдется силы, чтобы сквозь свинцовый хмель напутствовать тебя:

— Без нас перезимует, закапывай!

Младший же лишь бессловесно промычит в знак согласия...

День для Влада наступал и кончался под многоголосый аккомпанимент за дверью и плач шестимесячной сестры. Она старалась с постоянством, достойным куда лучшего применения. В ее цыплячьих легких таилась такая мощь, что она ухитрялась перекрычать даже вой сирен воздушной тревоги: искусственное молоко, как видно, не способствует душевному равновесию. Первое время он еще пытался ладить с нею, пел, сюсюкал, строил ей смешные, по его мнению, рожи, но в конце концов махнул рукой и, когда становилось уже совсем невмоготу, просто накрывал ее коляску

ватным одеялом и подавался на улицу: спи спокойно, дорогой товарищ!..

Не судите его за это в своем Синайском далеке, Екатерина Алексеевна, все-таки в результате из вас вырос довольно молчаливый и вполне достойный собеседник...

20

Эта книга попалась ему на глаза случайно, среди множества других, поглощаемых им без счета и разбора. «Алексей Свирский», значилось на обложке, «История моей жизни». Впоследствии, перечитав вещь, он ужаснется ее местечковой сентиментальности, многословию и профессиональному убожеству, но из песни слова не выкинешь, именно ей дано было сыграть решающую в его судьбе роль...

Казалось, окна вымазаны серой краской, до того тусклым и невыразительным выдалось утро. Печка чадно дымила, под закопченным потолком стелилась сизая пелена, паутина грузно свисала с облезлых обоев, и вся комната поразительно смахивала на пещеру из учебника зоологии за шестой класс. Зато в книге, лежащей перед Владом, по городам и весям упоенного солнцем Юга бродил налегке маленький еврейский мальчик с жаждой насыщения в обреченных глазах. Мальчик бывал бит, голодал, терпел обиды, но от этого извилистый путь его не терял обаяния прямоты и праздничности. Такова, наверное, первая, но далеко, как потом оказалось, не окончательная цена Свободы.

Решение пришло внезапно и сразу подхватило и понесло его. Довольно с него этого дыма, этих концертов за дверью, этих котлет из картофельных очисток, приправленных едва скрываемой неприязнью тетки и вялым равнодушием матери! Мир велик, и ему найдется в нем место! «Что я — привязанный к ним, что ли? — горел он, лихорадочно бросая в мешок всё, что по-

падалось под руку: свои обноски, материну юбку, запас семейного мыла. — Авось не пропадем!»

Сборы его прервала неожиданно вернувшаяся с работы тетка. Одного взгляда ей было достаточно, чтобы оценить обстановку.

— Куда собрался? — Смутное лицо ее сурово отвердело. — Может, и меня с собой возьмешь?

— Я... Никуда...

— Так, мальчик, так, золотой, воли захотелось? Только зачем же вольному казаку чужое мыло? Или: мне хорошо, а вы тут горите синим пламенем, так что ли?..

Помнишь ли ты о том нашем коротком разговоре, Марья Михайловна, в то квелое утро запоздалой весны? Наверно, не до того тебе было в твоей ох какой непростой жизни. Но он-то запомнил, зарубил в памяти в сердцах оброненную тобой истину: чужим добром Свободы не покупают...

На следующий день сестру унесли к соседям, а Влад был раздет до трусов и заперт на замок. Но раз загоревшись, он уже не останавливался на полпути. Долго ему думать не пришлось. В нижнем ящике шкафа, где матерью бережно хранилось вышедшее из употребления старье, он откопал тронутый молью плюшевый зимний жакет, пару рваных шелковых чулок и парусиновые туфли на низком каблуке. Всё это и составило его первую дорожную экипировку. Выбравшись через окно во двор, он первым делом совершил рейд на товарную станцию, изъяс оттуда свое последнее березовое полено, которое тут же отнес старухе Дуровой.

Подозрительно оглядев Влада с головы до ног, старуха скептически хмыкнула:

— Хорош, нечего сказать! — Она, видно, догадалась, что здесь к чему, но виду не подала, отсчитала ему три пятерки и, обращаясь в пространство, задумчиво вздохнула. — Что ж, может, это и к лучшему,

никто не знает своей судьбы...

Так оно, наверное, и есть, Наталья Николаевна, так оно и есть. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Он еще пока не утонул и помнит вас и ваше напутствие. Жаль только, после его возвращения вы так и не поверили до конца, что ему удалось сохранить свою душу и вложить ее в стоящее дело...

Путь Влада от Москвы начался в груженной до верху углярке, под пронзительно колючим ветром, в компании пригородных барыг, направлявшихся в Моршанск за махоркой. Своим видом он доставил им немало веселых минут. Они от души потешались над обмундировкой двенадцатилетнего путешественника:

— Вот пацан приобарахлился, как с модной картинки!

— И чулки фельдиперсовые!

— Вам не сквозит, граф, через ваши кальсончики?

— На курорт собрался...

— А где же ваша шляпка, граф?

— Картина, достойная кисти художника.

— Костюм-люкс!..

О, загадочная русская душа, кладезь мудрости и великодушия, источник всяческих добродетелей! Если бы ему тогда автомат в руки, он бы перестрелял бы их, как бешеных собак. Прости меня, Господи!..

Он сам не знал, куда его несет, он безвольно отдался людскому потоку, и тот выволок Влада на станцию Нижний Чир, что затерялась между Донецком и Сталинградом. Выволок и оставил под вокзальной лавкой ожидать смерти или лучших времен. Там и нашла его одна добрая душа, уборщица, которой он сплёл на ходу байку о погибших родителях и своем сиротском положении. Она подарила ему — ей больше нечего было дарить — валяные опорки и, пользуясь связями среди проводниц, посадила его на сталинградский поезд.

Да святится имя твое, женщина!..

Лёжа на самом верху у отопительной трубы в бит-

ком набитом вагоне, Влад впервые за многие дни по-настоящему отогрелся. Внизу шелестели давно примелькавшиеся ему слова о войне, о хлебе, о болезнях голодной поры. Закрыв глаза, он мог подумать, что никуда еще и не уезжал из дому, а лежит сейчас в своем углу, в их комнате в Сокольниках, где мать обсуждает с соседками общее жите-бытие. Но снилась ему дорога и обледенелые провода над ней...

Проснулся Влад в опустевшем вагоне, осиянном утренним солнцем. Внизу молоденький солдат — веснушки от уха до уха, рот мягкий и мокрый, как у теленка — развлекал двух присмиривших девушек рассказом о своих фронтовых подвигах:

— Ползу, кругом грохот стоит, не приведи Господи, пули как осы свистят, ну, думаю...

Да, да, именно в это самое мгновение, прости его, парень, Владу этого не забыть никогда, он почувствовал у себя под ногой что-то твердое, обернутое в легкую материю: то ли узелок, то ли сверток. Сердце его учащенно и удушливо зашлось, ладони сделались мокрыми. Сен, Сен, открой дверь! Алладин, где твоя волшебная лампа? Не счесть алмазов в каменных пещерах!

Осторожно действуя ступнями, Влад подтянул находку к себе, дрожащей от возбуждения рукой сунул ее за пазуху и, соскользнув вниз, прошмыгнул в туалет.

Боже мой, он никогда еще не видел столько денег сразу! Новенькие, словно только что из печатной машины, спрессованные в тугую пачку сторублевки обожгли ему пальцы. Их было ровно сто. Десять тысяч рублей. Даже по тем временам это составляло внушительный капитал. Тут же находился и бумажник, в котором вместе с рублевой мелочью он обнаружил паспорт, военный билет и пачку разномастных справок. Нет, Влад не думал ни о чем, спуская документы в толчок. Ему было не до того, чтобы думать о том, кого

он обездолил. Он даже не поинтересовался, кого именно. Он спешил отделаться от улик. Но он не испытывал и греховного торжества. В эту минуту им руководил лишь звериный инстинкт добычи и самосохранения. Ах, как он поплатится за это потом, вспоминая тот день и смертный соблазн тех денег! Но легче ли жертве от того, что виновник ее беды наконец-то раскаялся? Возьми его жизнь, родимый, если только после этого ты сочтешь себя отмищенным! Больше у него ничего нет.

На сталинградской толкучке сорок третьего года, в скопище нищеты и голода, Влад приобрел зимнее пальто, сапоги, давнишней носки лыжный костюм и совершенно ненужные ему часы-луковицу «Пауль Буре» за тысячу двести рублей. Этой же ночью в потной вокзальной свалке к нему подкатился глазастый малый, чуть постарше его, в грязной, но ладно, по фигуре скроенной шинели:

— Куда канаешь?

— В Харьков, к тетке, — привычно соврал Влад, отодвигаясь от любопытного соседа. — Поезда жду.

— Брось травить. — Тот понимающе осклабился. — У меня глаз — ватерпас, меня не проведешь, я сын полка, разведчиком был. В твоём Харькове ни одной тетки не осталось, одни племянницы. Махнем лучше на юг вместе, там теперь лафа, цветет всё.

Выпуклые глаза соседа загадочно мерцали в полутьме еле освещенного помещения, многообещающе подмигивая ему. И Влад, отдаваясь их веселой власти, неожиданно для себя согласился:

— Махнем...

Не один детприемник обживет Влад по дороге, не одну милицейскую каталажку изучит, прежде чем доберется до цели, но когда этот самый Юг распахнется перед ним во всей мощи своей синевы и зелени, он не пожалеет о пройденном...

На Юг, на Юг, на Юг!

Сверху, со стороны Зеленого Мыса, Батуми казался многофигурным тортом, плавающим в густом сиреневом желе. Влад плелся вдоль берега к струящемуся вдали городу сквозь вязкий зной августовского полдня, и только крик чаек сопровождал его в этом его пути. Море распластывалось до самого горизонта зеленое и ровное, как огромный бильярдный стол. Он еще не знал, что ожидало его там, впереди, но слабый уголек надежды на хлеб и хоть какой-нибудь приют всё же теплился в нем, и только это руководило им и заставляло двигаться. Влад решился на этот последний пеший рывок к цели своего путешествия после того, как его сняли с поезда в Кобулету и чуть было не отправили обратно в сторону Самтреды, благо милицейский дежурный оказался ленивее собственного намерения и в конце концов предложил ему убраться на все четыре стороны, не задерживаясь в районе этого участка.

Проделав извилистый путь от Москвы до Закавказья, Влад твердо усвоил азбучные правила общения с властью, он не заставил старшину линейной милиции повторять свое высокое указание дважды — через полчаса его на подопечной ему территории уже не было.

Город в зыбучем мареве величаво плыл ему навстречу, охватывая его сначала полукольцом нефтеперегонного завода, затем — отрезая от моря стеной порта и, наконец, распахивая перед ним разноярусный ворот тенистой улицы, угол которой начинался с базара...

Господи, батумский базар сорок пятого года! Они часто сняты мне по ночам, эти соевые лепешки, эти чадолобиани, это кулинарное царство фасоли и кукурузы. Я часто вздрагиваю на улице от запаха фруктовой гнили, и радужные круги расплываются у меня перед глазами: мне столько пришлось ее поглотить,

что теперь, в пору сервиса и стерильности, и половины того хватило бы, чтобы свести на нет город средних размеров или втравить в хронический понос целое людское поколение...

Базар кормил Влада до конца лета, до первых дождей. С наступлением глубокой осени, когда с моря потянуло холодом и туманами, жизнь на толкучке сделалась тише и бесцветней. Беспризорное воинство в большинстве своем разбрелось на зиму по детприемникам и колониям, чтобы с первыми днями весны снова обрушиться на город прожорливой саранчой. С ночевками день ото дня становилось всё труднее, надежные летом места — пустые пульманы у нефтеперегонного, темные закутки вокзала, укромные парковые скамейки — незащитно обнажились, со всех сторон открытые блюдящему порядок взгляду постовых.

Последние ночи Влад провел в лучших традициях бродяжьего фольклора: на берегу под лодкой. Здесь его и засёк случайный милиционер, обходивший дозором приморский участок. Кончик милицейского сапога тихонько, но требовательно прошелся по лодочной обшивке:

— Модьяк, бичо... Чкари!*

Жилище Влада оказалось классической ловушкой, бежать было некуда, приходилось сдаваться на милость удачливого ловца. Он вылез и покорно поплелся впереди своего бдительного стража. Тот молча топал за ним, изредка осторожными тычками в спину направляя его в нужную сторону. Но — странное дело! — они прошли горотдел и привокзальную дежурку, а сопровождающий всё еще подталкивал и подталкивал Влада вперед. Центр давно остался позади, глухая окраина накрыла их своей кромешностью, и только где-то среди этой тьмы они остановились, и милиционер, позвякав кольцом невидимой калитки, сразу же разбудил тиши-

* Иди сюда, парень... Быстро! (груз). — В. М.

ну за оградой маячащего в ночи дома. Сначала там за-тепился мерцающий свет, затем по гравию дорожки зашуршали шаги, и тут же голос — низкий, с хрипотцой:

— Ра унда?*

— Батоно**...

Звякнула цепь, калитка открылась, постовой подтолкнул Влада в ее провал, и два силуэта доверительно сдвинулись позади него. Между ними отшелестел короткий разговор, после чего милиционер канул в ночи, а хозяин двинулся к дому:

— Пошли со мной, парень.

С трепетом и надеждой Влад следом за ним вошел в нижнюю часть особняка, освещенную прикрепленной к стене керосиновой лампой, — нечто среднее между кладовкой и летним жильем: сваленные в кучу одеяла и матрацы под гирляндами луковых связок и кукурузных початков, кое-какой садовый инструмент по углам, запах плотный, пряный, устойчивый.

Хозяин — низкорослый парень лет тридцати с небольшим, в майке-сетке поверх волосатого торса — некоторое время внимательно изучал Влада выпуклыми линзами темных, с желтизной внутри, глаз, потом спросил коротко и дружелюбно:

— Есть хочешь?

Вместо ответа Влад только сглотнул слюну. Хозяин вышел за досчатую перегородку и вскоре вернулся с миской лобio, лепешкой и банкой мацони в руках, поставил принесенное на тумбочку перед Владом и всё так же дружелюбно обронил:

— Ешь.

Пока Влад жадно роскошествовал над его дарами, он деловито выпростал из общей кучи матрац и одеяло,

* Что надо? (груз.) — В. М.

** Почтительное обращение (груз.) — В. М.

расстелил их в углу и снова оценивающе уставился в сторону гостя:

— Откуда ты, парень?

— Из Москвы.

— Сколько лет?

— Четырнадцать.

— Отец-мать есть?

— Не, — привычно уже соврал Влад. — В войну убитые.

— Слушай сюда, парень. — Грузин говорил почти без акцента и оттого, наверное, казался Владу невсамделишным, ряженым. — У меня есть для тебя работа. Есть будешь, спать будешь, не пропадешь, платить тоже буду. Завтра в деревню поедем, там расскажу, что делать надо. Зовут меня Бондо. Бондо, понял? Борис по-вашему. — Уже задув лампу, от двери спросил: — Ночью боишься?

— Не.

— Это хорошо.

И ушел, растворился во тьме...

Впервые за много месяцев Влад засыпал в надежной тишине жилого дома. Ему, конечно, неведомо было, что это только короткая передышка, милостивая отсрочка свыше в преддверии куда больших испытаний, чем те, которые остались у него позади. Наверное, поэтому сны его были легки и безмятежны, а пробуждение мгновенно и празднично.

22

Бондо снова гулял. Гулял широко, яростно, напропалую. Он гулял так всякий раз после удачного дела. Влад давно привык к этим загулам и к тому, что ему приходилось быть их невольным, но обязательным участником. Одному Богу известно, что заставляло грузина таскать мальчишку за собой по всем городским и пригородным духанам, но стоило только легким бесам

гульбы дунуть над ним в призывные трубы, как он тут же извлекал своего юного помощника из постоянного убежища в деревне, усаживал рядом с собой в самый дорогой батумский фазтон и они отправлялись пересчитывать лучшие подвалы города и окрестностей, и повсюду их сопровождала шальная музыка записных зурначей и одобрительные ухмылки постовых и духанщиков:

— Бондо гуляет!

— Умеет пожить парень.

— Бондо — человек...

— Не сносить ему головы!

— Э, Бондо тоже не дурак, у него вся милиция в кармане.

— Дай ему Бог здоровья — широкая душа!

Прошел почти год с той ночи, когда они впервые встретились, и за это время Влад по привычке к блаженным капризам своего хозяина. Да и не только к ним, но еще и ко многому-многому другому.

Вначале был только страх. Страх вязкий, оглушающий, панический. Страх перед ночной водой среди гор, перед предательской тишью в береговых зарослях, перед неизвестностью на той стороне. Но постепенно ежемесячные вылазки за кордон сделались для Влада неприятным, но обыденным делом. У него был напарник Никола Ластик, ленивый, неповоротливый малый одного с ним возраста, со смутным, будто навсегда заспанным лицом — ком едва сформированного теста с янтарными изюминами веснушек от уха до уха. Ластик просыпался только затем, чтобы поесть, справить естественную нужду и совершить очередной поход через границу. За всё время знакомства они едва ли высказали друг другу более двух слов кряду. Бондо подобрал Николу еще года два тому и с тех пор словно бы забыл о нем, препоручив его заботам своего никуда не выезжавшего из деревни помощника Гии Шанавы. Лишь в пья-

ном угаре он разражался иногда по его адресу снисходительной бранью:

— О, Ластик, момадзагло*, разве мать тебя родила! Тебя родила лень от прохожего пожарника или от кин-то. Бог послал мне тебя, чтобы ты не умер во сне от голода. Скажи, зачем ты живешь, Ластик, зачем зря коптишь небо? Если ты один раз по-настоящему сходишь на двор, от тебя, дорогой, ничего не останется...

Никола лишь сонно посапывал в ответ и тотчас после ухода хозяина вновь заваливался на бок.

В загулах Бондо, сквозь дымку щедрого радушия, всегда чувствовались надрыв и печаль. Казалось, хмельной скороговоркой и хохотом он силился заглушить в себе нечто такое, от чего, если остаться с этим наедине, можно сойти с ума. Порою в самый разгар застолья лицо его омрачалось тенью, облачком, призрачным бликом воспоминания, и он мертвенно склонялся в сторону Влада:

— Знаю, парень, сдохну как собака. Все забудут Бондо. И ты забудешь, и Никола, и Гия тоже. Все, все меня забудут. Сгнию в тюремном подвале с пулей в затылке. Все предадут, все! Один человек не предаст, Ашхен не предаст. И не забудет тоже. Она меня любит, Ашхен. У нее золотое сердце... Поехали к Ашхен!

Влад с облегчением вздыхал: это означало конец. Конец пьяным разъездам, кутежу и вынужденной бессоннице. Бегство Бондо к Ашхен, известной в городе вдове-портнихе, предвещало скорую и долгую передышку. В крохотной комнате ее ухоженного жилища хозяин пластом валился на постель за пологом, и покорная армянка с неделю отпаивала его там отварами собственного изготовления...

Много лет пройдет, прежде чем Влад познает тяжкую муку запойного похмелья, но, познав ее, он уже будет безвольно тянуться к ней сквозь египетские ла-

* Грузинское ругательство. — В. М.

биринты забытья и делирия. Он проживет в этом бреде сотни жизней, пропустит через себя неисчислимое множество мгновенных видений, до основания сотрясающих душу, гибельное количество раз испытает ужас обморочных взлетов и падений, и в конце концов однажды, в зрелой половине жизни, ему покажется, что это и есть призрак того ада, той расплаты, тех геенн огненных, которые ждут его за чертой существования. Но, как говорится, всё впереди у нас с тобой, мой друг...

Обиходив утихавшего Бондо, армянка стелила Владу в закутке прихожей, садилась рядом на низкую скамеечку и принималась жаловаться на судьбу:

— Разве это жизнь, Владик! За что Бог наказал меня такой жизнью, за какие грехи? Я никогда мухи не обидела. Где справедливость, Владик? Скажи мне, где? — К сожалению, он и сам не ведал, куда, в какие тартарары запропастилась эта справедливость, избегая общения с неблагодарной явью, и поэтому лишь соболезнующе помалкивал в ответ. — Я люблю его, Владик, но он же смертник! Рано или поздно они его всё равно возьмут и расстреляют, у него три судимости, и все за план*. О, этот проклятый план, кто его только придумал, не будь ему на том свете покоя! Уходи от него, Владик, он не доведет тебя до добра, или ты не знаешь, что за это бывает!

Ему ли было не знать этого! От пяти до десяти, а в повторных случаях — вплоть до высшей меры. Но расчет Бондо был надежен и прост. Лично он никогда не пересекал границы. Влад и Никола в силу своего возраста не рисковали почти ничем. Стрелять в несовершеннолетних по законам погранслужбы воспрещалось, а в случае провала им как беспризорникам грозила лишь детская колония. Транспорт в Батуми осуществлял Шанава. Бондо, при всех его связях, могли, конечно, привлечь за спекуляцию и вовлечение в нее малолеток, но

* План — род опиума (жарг.) — В. М.

план стоил такого риска: одна закрутка шла в духанах по червонцу. И было уже не счесть, сколько этих червонцев, спрессованных в темно-зеленые комочки освобождающего дурмана, пронесли они с той стороны хозяину в начисто выпотрошенных от ваты и залитых «товаром» ячейках своих «рабочих» телогреек!..

Через несколько дней, окончательно опаматовавшись, хозяин вел Влада на базар, сажал его на попутную крестьянскую арбу, и он снова отправлялся в деревню до очередной пьянки и следующего затем похмелья. Прощаясь, Бондо совал ему в карман несколько смятых десятков и, отвернувшись от него осунувшимся лицом, цедил сквозь зубы:

— Передай: скоро буду.

И отходил, терялся в толпе...

Теперь Владу уже трудно представить, где и как закончил земные дни его бывший спаситель и хозяин, знаменитый батумский делец Бондо Шония: в тюремной ли известке с кусочком свинца в голове, на лагерных нарах ли среди студеных широт, или в своей постели на родной окраине. Но где бы это ни случилось, ты не забывай о нем, мой мальчик, не забывай, а если он жив, то пошли ему это свое благодарное «прости»!

23

Темные силуэты гор на фоне звездного неба виделись Владу настолько близкими, что, думалось, до них можно дотянуться рукой и ощутить их каменную шершавость кончиками пальцев. Цепочкой, след в след, впереди Гия, за ним Ластик и в затылок ему Влад, они углублялись сквозь заросли ажины и можжевельника всё дальше и дальше в горы. Ночь со всех сторон обступила их чуткой тишью и духотой. Давно сойдя с тропы, они двигались теперь только волчьим наитием Шанавы. Каждый раз он выводил ребят к месту перехода разными и одному ему известными путями. Замы-

кая шестивие, Влад старался выловить из темноты долгожданный плеск воды, скачущей по камням, но время шло, а мир вокруг оставался всё так же душен и молчалив, и лишь их собственное движение нарушало его покой. Земля дышала, пульсировала, испарялась в ночь тяжелыми и пряными запахами своей щедрой субтропической плоти.

Звук воды возник неожиданно и как бы у самых ног. Влад раздвинул кусты, посмотрел вниз и невольно зажмурился: там, в провальной глубине, в свете звезд жестяно поблескивала и мерцала река — далёкая, недоступная, завораживающая. Хотелось сидеть вот так, с закрытыми глазами, у самого края пропасти и не двигаться, вслушиваясь в робкое поплескивание воды и ощущая кисловатый привкус головокружительной высоты под ногами. Но Гия уже торопил из темноты:

— Чкари, чкари, бичо...

Через минуту они уже сгрудились у знакомого лаза, который другим своим концом выводил их к отверстию замаскированной кустами пещеры над самой водой. Отсюда обычно Гия спускал ребят на веревке в струящееся мелководье вниз.

Теперь роли переменялись: первым в дыру протиснулся Влад. Начальные несколько метров приходилось преодолевать ползком. Затем ход расширялся, можно было подняться на четвереньки, а в самой пещере и встать в полный рост. Здесь пахло слежавшейся пылью, птичьим помётом, прелым тряпьем и мышами. Сквозь ветки маскировочного кустарника перед выходом бодро проклевывались звезды. Река внизу выжидающе лепетала, перекатываясь по камням.

— Держи, — чуть слышно обронил Гия, подавая Владу конец веревки. И тут же — в сторону Ластика: — Держи свою.

Остальное не требовало слов и дополнительных объяснений. Обычная операция была отработана до мелочей и выполнялась почти механически. Влад обя-

зался под мышками достаточно крепко, но, чтобы не стеснять движений, свободно; Гия разобрал маскировку, коротко кивнул ему на прощанье:

— Давай.

Пустота разверзлась под Владом, он мгновенно уперся опорой ступни в каменную стену, и Гия, потихоньку вытравливая веревку, стал равномерно опускать его вниз. Шаг, второй, третий. Еще, еще, еще. И вот уже подошвы погрузились в мелкую воду, с облегчением нащупывая дно под собой: «Уф!»

Главное теперь не смотреть под ноги, а только впереди себя, это — закон, иначе рискуешь поддаться магической тяге воды и соскользнуть по течению. Влад осторожно ступал на осклизлые камни, чувствуя позади прерывистое сопение Ластика. Где-то у середины потока ступни стало поламывать крутым холодом, он прибавил шаг, и вскоре спасительный берег вынес ему навстречу знакомую галечную косу.

Здесь их ждали. Беззвучные тени метнулись к ним и надломились над ними. Всё делалось молча. Им подали заготовленные заранее и плотно набитые «товаром» телогрейки, они сняли свои, сложив их в услужливо подставленные руки, и сразу же, после быстрого переодевания, снова ступили в воду.

Влад уже коснулся каменной поверхности противоположного берега, когда, ниспадая сверху из пещерного провала, на нем скрестились острые лучи ручных фонарей:

— Стой, руки вверх!

Сначала Влад обмер, замороженный ослепляющим светом, не в силах сдвинуться с места, но внезапный и жалобный крик Ластика позади вернул его к действительности:

— Мотай, Владька — а-а-а!..

И тогда Влад плашмя навзничь откинулся в воду и облегченно отдался ее власти. Его несло, волокло, тащило по камням и колдобинам, выстрелы и собачий лай

он слышал словно бы через стену — глухо и отдаленно. Ощутив, наконец, под рукою сухую прохладу берегового галечника, Влад на некоторое время замер, заполненный колокольным гулом пережитого.

Потом он бежал. Бежал, спотыкаясь и падая, раздирая в кровь лицо о колючие заросли и сбрасывая на ходу груз отягощавших его одежд. Бежал быстрее лани. Звериной узкою тропой. Но только не ожил он, волю почуя, а еще больше съезжился и помертвел. Влад не хотел голодной воли и боялся ее.

Ему еще доведется бегать. И не раз. Но потом, когда он впервые останется наедине с собой и у него будет время подумать, ему откроется, что отнюдь не жажда свободы двигала им в этих прорывах из тьмы, а преходящая страсть утоления плоти.

Память, к счастью, живет Божьими законами, мой друг...

24

Тунг. Магия этого звучного слова завораживала Влада. Будто звонкие молоточки бьют в невидимый бубен: тунг, тунг, тунг! Но слово это имело еще и запах — душный и обволакивающий. И цвет круто замешанной зелени с темным отливом. И форму: нечто среднее между инжиром и луковицей. Тунг, тунг, тунг! Ровные шпалеры развесистых, наподобие яблонь, деревьев, сплошь увешанных колокольцами странных плодов. А где-то посредине этого маслянистого воинства — ослепительной белизны коробки центральной усадьбы с желтыми ульями сушилок на отлете.

В джиханджурском тунговом совхозе, куда Влада, после долгих мытарств у побережья, занесла Судьба или Случай — как вам больше нравится, он мало-помалу пришел в себя и отдышался. Сначала его определили пасти ишаков, целое стадо в четырнадцать низкорослых одров, но если к вечеру ему удавалось пригнать на конный двор хотя бы трех из них, он возвращался

в общежитие победителем. С утра, едва покинув стойло, они спешили разбрестись в разные стороны, и никакая сила не могла заставить их собраться вместе. Упрямый индивидуализм — это единственное, что перешло к ним от человека. В остальном же каждый из них был живым опровержением теории условных рефлексов. Эти рефлексy не прививались ослаm, у ослoв не было в них нужды.

Влад гонялся за ишаками по плантации, обдирая босые ноги о колючки и камни, ругался и плакал, но делу это не помогало; и под вечер он возвращался на усадьбу всё с тем же результатом. Завхоз Гогоберидзе — болезненно толстый человек с буденовскими усами — всякий раз при встрече угрожающе покачивал у его носа массивным пальцем:

— Э, джипкир, момадзагло! Скоро всех моих ишаков сожрут шакалы. Куда ты смотришь во время работы? Виноград смотришь? Инжир смотришь? Кто будет смотреть ишаков? Я или директор Леван Автандилович, дай ему Бог здоровья и долгих лет? Я больной человек, бичо, я за себя не отвечаю, у меня не выдержит сердце, вот до чего ты меня довел...

В конце концов стало ясно, что пастуха из Влада не получится, и его отдали на выучку в совхозную столовую к форсунщику Ивану Остапенке. Пожилой мрачный хохол с каким-то непонятным орденом на лацкане замызганной робы принял нового ученика хмуро и настороженно:

— Чего они там себе думают? Я чего, нянька, что ли? Чего, у меня других делов нету? Ишь вон, кожа да кости. Какой из тебя работник! Только мазут зазря изводить. Опять же по технике безопасности пацанам у форсунки не допускается... Ну становись, побачимо, чего ты наработаешь, горе перекатное...

Как Влад боялся ее, этой форсунки! Страх перед всем, что связано с машиной, механизмом, техникой и сопряженным с ними стогранием, сохранится в нем с

тех пор на всю последующую жизнь. Она взбесилась сразу, едва лишь его робкие пальцы коснулись ее. Она то заливала испод парусным пламенем, то рассыпалась фейерверком искр, то фыркала вхолостую. Ее прожорливость не знала предела, он лил и лил в нее, в ее ненасытную пасть полные ведра нефти, но она постоянно требовала еще и еще. Он ходил по усадьбе с ног до головы облитый мазутом, с тоской вспоминая о симпатичных упрямяцах со скотного двора. В часы недолгого перерыва между тремя и пятью часами, когда столовая затихала в послеобеденной дремоте, к нему под навес заглядывал Остапенко и, угрюмо оглядев следы неравного побоища вокруг форсунки, присаживался рядом:

— Чего они там себе думают! Не твое это дело, малый, тебе еще в школу ходить надо, а не с мазутом по форсункам лазить. Пропадешь ты тут ни за понюх. За то ли мы в семнадцатом году кровь проливали, чтобы пацаны наши опять с малолетства в ярмо впрягались! Не доби́ли мы тогда всех, не доби́ли. Эх, да что там балакать! На́ вот, ешь...

Он доставал из кармана и протягивал Владу несколько теплых, в пролежнях, груш и сразу же отворачивался, натягивая заношенную кепку на самые глаза. Нелепый орден его при этом заметно выпячивался в сторону собеседника.

Однажды Влад все-таки решился — спросил его:

— А за что тебе, Иван Кириллыч, орден дали? Ты разве воевал в гражданскую?

— Эх ты, кутя... Нас, «арсенальцев», мабуть, и осталось душ пять по всей земле с цею бляхой. Воевал! Скрозь прошел я ту войну, будь она неладна. — Он смежил веки и затянул вполголоса тоненьким фальцетом: — Слухай, товарищ, война началась, бросай свое дело, на фронт собирайся... Зачем только городьбу городили, еще хуже стало...

В проеме кухонной двери появлялась тощая фигу-

ра шефа-повара Реваза Габунии с неизменным черпаком за поясом засаленного фартука:

— Вай, вай, Иван, опять парню голову морочишь?

— Держа руки за спиной, он покачивался с пяток на носки и беззлобно скалился. — Бог с тебя спросит, Иван.

— Никакого Бога нету. — Тот скушнел, куксился, замыкался в себе. — Бабы сказки.

— Вай, вай, Иван! — продолжал лениво издеваться Габуния. — Что ты говоришь, Бог разразит тебя на этом месте!

Ревазу в общем-то не было никакого дела ни до Бога, ни до дьявола. Шеф сам совмещал в себе две эти ипостаси, во всяком случае, в пределах совхозной столовой, но возможность подразнить форсунщика, да еще в чьем-то присутствии, оживляла его увядшую в кухонной ругани душу, и он отводил ее сейчас радостно и самозабвенно. Поваром Габуния сделался случайно, так сказать, иронией судьбы. По призванию же он был вор. Он крал, словно находясь в каком-то вдохновенном трансе. Крал нагло, открыто, жадно всё, что попадало ему под руку. Если на два чана макарон или стручкового лобio, составлявших поочередно ежедневное меню столовой, полагалось две трехкилограммовые банки лендлизовского маргарина, то полторы из них, как закон, оказывались добычей Реваза. Но он не брезговал и мелочами. Миска, ложка, даровой кружок от плиты, кабачок с плантации, новый фартук бесшумным ручейком устремлялись в снятый им на окраине усадьбы дом. Словно опустошающий ураган пронесся он сквозь кухни большинства харчевен побережья от Батуми до Натанеби, прежде чем, устав от ревизий и допросов, осел, наконец, в заштатном совхозе, где его воровской фантазии открылось самое широкое поле деятельности. Грошова ценность краденого восполнялась полной безнаказанностью. И Габуния развернулся здесь во всю мощь своего почти маниакального дарования. Но мятежная душа его жаждала еще и эстетических радостей, отчего

старый форсунщик подвернулся ему как нельзя кстати. Дошлый шеф без труда нащупал в нем слабую струнку и с тех пор постоянно играл на ней, умело растягивая удовольствие...

— Чому вас в школе только учили, — угрюмо бубнил Иван себе под нос. — Еще скажи — земля на трех китах стоит.

— Бог, Он всё видит, Иван, и всё слышит, — не унимался шеф. — Зажарят тебя черти в аду, как шашлык.

— Чертей тоже нету.

— Есть, Ванья, есть, сам видел.

— С похмелья чего не увидишь.

— Я не пью, Ванья, ты же знаешь.

— Где ж ты их видел тогда?

— Где я их видел, там уже нет, — хитро подмигивал ему повар. — Они к тебе сами в гости придут, Иван, вот увидишь.

— Тьфу на тебя, тёмный ты человек, — вставал форсунщик, подаваясь прочь. — Нету Бога и чёрта твоего тоже нету.

— Есть, Ванья, есть, — сопровождал его победительный хохоток шефа. — И Бог есть. И чёрт есть.

— Дурак ты, — уже скрываясь за углом, огрызнулся хохол, — и вор тоже.

— Вай, вай, Иван, — неслось ему вдогонку, — грех тебе так говорить, сам откуда груши носишь? — Всё еще смеясь, он оборачивался к Владу. — Зажигай машину, парень, ужин варить будем...

Жизнь Влада скрашивали только книги, небольшие и никем не тронутые залежи которых он открыл в промышленном канцелярском шкафу красного уголка. Разрозненные тома Брокгауза и Ефрона соседствовали здесь с «Казачками» Толстого и брошюрами партийно-государственных постановлений; «Братья Карамазовы» мирно жили около «Вопросов ленинизма», а «Витязь в тигровой шкуре» не стеснялся близо-

стью сельскохозяйственной методики. Влад глотал всё подряд, и в голове его вскоре причудливо смешалось множество понятий на буквы «Е» и «З», логическая ворожба Великого Инквизитора и стальные постулаты о мере ответственности сына за отца, пьяные излияния Ерошки и правила ухода за цитрусовыми. И через всё это, как шампур, пронзалась царственная чеканка певучих волшебств Руставели: «Воск сродни огню и ярко пламенеет, в нем сгорая, а в воде мгновенно стынет, как закатный луч в ночи. Если сам познаешь горе, то понятней боль чужая. Так пойми: и я сгораю, как сгорает воск свечи».

Сдав смену, Влад спешил скрыться в сухой, но прохладной полутьме клубной комнаты и там, раскрыв очередной переплет, погружался в мир иллюзорных страстей и отвлеченных истин. За этим занятием его и застал однажды заведующий совхозным карточным бюро Давид Хухашвили, молодой горбатый грузин с печальными, как у больной собаки, глазами:

— Ты грамотный, бичо? — удивился он, посветив в сторону Влада замученным взглядом. — Писать тоже умеешь?

— Умею. — Дрогнуло в нем сердце: незримое перо фортуны овеяло его освежающим ветерком ожидания и надежды. — Я четыре класса учился, в пятый перешел.

— У меня есть для тебя работа. Сочинения хорошо писал?

— Писал. — Сочинениями Влад покориł сердца всех словесников, через руки которых он прошел за короткие годы своего учения. — Всегда пять ставили... Даже пять с плюсом.

— Пошли...

Огромная дистанция проляжет между этой случайной встречей и тем днем, когда он впервые узрит почти те же черты в облике совсем иного человека, только чуть более строгие и земные. Человек этот вла-

стно войдет в его жизнь и надолго станет для него единственным существом вокруг, которому он доверится сразу и безоглядно. Она будет непростой — их долгая дружба. В общем, «если один говорил из них «да», «нет» говорил другой». Четыре восточных крови, замешанных арбатским воспитанием одного и славянская уязвленность другого сделают свое дело. Ей еще ковылять и ковылять, тащиться и тащиться — этой дружбе, по камням и колдобинам взаимных обид, нянча в себе собственную гибель, но финал уже близок, одной благодарностью она не удержится. Да и что может удержаться одной благодарностью! Словом: Булат мне друг, но истина дороже...

Новая работа разбудила в душе Влада потенциального сочинителя. Это был, пожалуй, первый опыт его свободной фантазии. В сенокосную пору совхоз нанимал на стороне бригаду армянских шабашников. По неписаным законам тех лет на каждого работоспособного из них полагалось три хлебные карточки, на других условиях они просто не договаривались. Но для этого ежегодно требовался человек, который мог бы заняться чернильным производством двойного количества мертвых душ, к чему сам заведующий был психологически неспособен. Влад стал его спасением и надеждой. С утра до вечера просиживал парень в обрешеченной со всех сторон комнатёнке Давида, вдохновенно глядя в потолок и беззвучно шевеля губами: «Карапетян Аветик Гургенович... Довлатян Степан Аршакович... Акопян Сурен Карапетович... Ованесян Ованес Акопович...» Муза суровой прозы овевала его своим радужным опахалом, и нетерпеливый Пегас бодро стучал копытами где-то у самого крыльца. Шестикрылый серафим уже рассекал ему грудь, чтобы вынуть у него сердце и вставить туда пылающий огнем уголь. И его ушей коснулось неба содроганье и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней ло-

зы прозябанье. И вещей глагол в нем уже готов был жечь.

Жизнь Влада заметно изменилась к лучшему. Вскоре он содрал с себя и выбросил дарёную Ревазом Габунией и вконец завшивевшую шерстяную фуфайку, обзаведясь благодаря стараниям заведующего новенькой сатиновой спецовкой, затем перебрался в отдельную комнату общежития, благо их пустовало там больше десятка, а к исходу сезона смог даже позволить себе роскошь выменять на хлеб почти новые спортивные тапочки. В свободное время он подряжался ходить через перевал в селение за фруктами для совхозных итеэровцев, что тоже приносило ему известную прибыль. Жить становилось лучше, жить становилось веселей.

Когда же пора сенокоса пошла на убыль и гроза возвращения к ненавистой форсунке вновь замаячила перед ним, Давид сам вызвал на решающий разговор своего расторопного помощника:

— Учиться тебе надо, бичо. — Скорбные глаза на его скульптурном лице жили отдельно какой-то собственной потаенной жизнью. — Поезжай в Тбилиси, справку я тебе достану. — Он страдальчески облучил Влада обреченной улыбкой. — Большим человеком будешь, это я тебе говорю...

Эта первая похвала — пророчество его сочинительскому дару — окрылила Влада и заполнила в нем сердце чувством благодарной признательности к великодушному горбуну:

— Спасибо, Давид Анзорч... Если бы не вы...

По тем временам достать справку об увольнении из совхоза, где каждые рабочие руки числились на вес золота, было делом нелегким даже для заведующего карточным бюро, но тот правдами и неправдами заставил директора поступиться законом и подписать Владу «вольную», а после сам проводил парня к ближайшему перекрестку.

— Вот этой дорогой прямо дойдешь до Очхамури, к вечернему успеешь. — В густеющих сумерках свечи эвкалиптов выглядели еще прямее и торжественнее, чем обычно. Небо вдали над невидимым отсюда морем смутно и вязко плавилось в отраженном свете воды. Проселок чуть слышно гудел, выдыхая ввысь дневное тепло. — Напиши Давиду, когда устроишься.

— Напишу... Обязательно.

Нет, Влад так и не написал ему ни тогда, ни после. Но часто потом во сне или бреду возникала в отдаленном уголке его памяти приземистая фигурка гнома с тоскующими глазами, и эти сумерки, и это небо над морем, и эта выдыхающая день дорога.

Прости ему, Давид, его неблагодарность, он запла-тил и за нее!..

Тбилиси! Множество городов доведется увидеть Владу потом и в большинстве оставить часть своей судьбы, надежду, работу, женщину, но ни один из них не войдет в него так резко и болезненно, как этот. Снова и снова он будет возвращаться туда только затем, чтобы еще и еще раз почувствовать горестный привкус первого свидания. Приняв Влада вначале словно худшего из пасынков, этот город сторицей одарит его затем теплом и гостеприимством, но доверие между ними уже не возникнет, навсегда отравленное той изначальной неприязнью. Он будет мерзнуть и мокнуть в лабиринтах Навтлуги, неметь и глохнуть от голода и малярии под отвесными берегами Куры, еще не ведая, что где-то совсем рядом, в одиночке внутренней тюрьмы в эти же дни мечется в ожидании приговора его будущий поводырь по здешним местам Шура Цыбулевский, а у предстоящего друга, пока что студента Булата Окуджавы, складывается первая песня: «Неистов и упрям, гори, костер, гори. На смену декаблям приходят январь»...

«Он уходил, а там глубоко уже вещал ему закат к земле, оставленной далеко, его таинственный возврат»...

Холода погнали Влада дальше к солнцу — в Баку, где мимо пристаней и багировских застенков уже бежал в школу трогательный гигант Володя Левин, с которым впоследствии надолго сведет его газетная толчея. И затем — морем — в неостывающие пески Средней Азии.

На бакинском причале, в ожидании парохода, он продиктовал случайному попутчику письмо к матери:

«Уважаемая Федосья Савельевна, ваш сынок Владик Самсонов умер у меня на руках по дороге из Тбилиси в Баку от голода и лишений...»

Влад диктовал, и слезы жалости к самому себе сжимали ему горло. Ах, как он любил красивые слова!

25

Она еще и не грезилась ему, его Галилея, но, сам того не подозревая, он уже шел к ней, петляя по лабиринту российских дорог, через бродяжки малины и пересылки, под милицейский свист и конвойные окрики, сквозь песни этапов и сторожевой лай. Он шел, оставляя за собой города и годы, колонии и детприемники, дактилоскопические отпечатки и подписки о выезде, встречи, обиды, разочарования. Нет, он затем не пожалеет о прошлом, каждый несет свой крест, но не раз, в минуты, когда нестерпимая мука обожжет ему горло и небо покажется ему с овчинку, он возопиет, обращая глаза ввысь:

— За что?

В такие минуты что-то, он не поймет тогда еще,

что именно, будет поднимать его с земли и вести дальше, вопреки тьме и отчаянью. Впоследствии, через много лет, он постигнет, что это и было ему наградой свыше, авансом в счет будущего, даром Любви и Прощения.

Сколько раз бесценный дар этот спасал его на долгих дорогах!

Помнится, в Кутаиси хмурой дождливой осенью, лежа с переломанными в облаве ключицами на крыше городской уборной, среди собственных нечистот, заеденный вшами и голодом, он уже было поставит на себе крест и отчаится, и слабые губы ему сведет проклятье, и пальцы его ожесточенно сожмутся в кулак, но угрожающе поднять руку он так и не успеет. В последнее мгновение в проеме фронтона появится перед ним скуластое лицо заезжего карманника Миши Мишадибекова: два глаза-буравчика под новенькой малокозыркой.

— Загибаешься? — спросит гость и перекинет свое маленькое ловкое тело вовнутрь его логова. — Ну, ну...

Сил ответить у него уже не останется.

Много дней и ночей отдежурит неприкаянный татарин около Влада, прежде чем тот поднимется и осознает, что выжил. Кто, какая сила, чья воля заставит или обяжет обойденного судьбой вора нянчиться со случайным бродяжкой, доставать ему пропитание и менять под ним тряпье? Когда-нибудь он задаст себе этот вопрос и, сам ответив на него, мысленно отнесется в прошлое:

«Мне больше нечем отблагодарить тебя, Миша, кроме этих нескольких слов о тебе. Я был бы действительно счастлив, если бы ты услышал их. Нет, я не тешу себя надеждой уплатить ими свой долг тебе — этому нет цены, но мне стало бы много проще жить на земле и легче нести мою ношу».

Так, по каплям, по крохам станет собирать он свою

потерянную когда-то Веру, с тем, чтобы однажды, ощутив Ее зов, попробовать всё снова, с чистого листа, от нулевой отметки. Но это будет потом. А пока...

Прости меня, парень, но это только начало, только начало, не более того, главное у тебя впереди!

Пойдем же дальше.

Конец первой части

КИРПИЧНОЕ

Пускай красуется и хвалится рекордом
Истории глухой тяжеловес, —
Секрет открылся: в этом мире гордом
Есть громкие дела, но нет чудес.

Нам снилась пена, пенье, пропилеи
И толп торжественных таинственный восход,
А утром ждали нас добротные затеи,
Кирпичной совести надежный оборот.

Да будет так! Мы маскам двуязычным
Своей души не отдадим в наем,
Но в поте и в слезах свой груз кирпичный
Как все, как все на площадь понесем.

**
*

Полуоткрыли.
Хватило сил.
За бури были
Перевалил.

С таких недугов,
С таких потерь
Ты в сердце друга
И в рай поверь.

С такого бденья,
С таких обид
Уже решение
Судьбы гремит.

И наши души
С таких утрат
Какие суши
Не озарят?

И без тревоги
Бредя домой,
Дотянешь ноги
Уже другой.

СОСЕДИ

Светил движенье
На небесах,
И кошек пенье
На чердаках.

Был тёмн свет и день жесток,
А небо розовело,
Когда она сняла платок
И ужин ела.

Да, мир темнел, пока она
Сидела чинно,
К самой себе пригвождена
Безвинно.

И полночь встала в полный рост,
И мир смотрел постыло.
Он был лишь на минуту прост,
Когда кота кормила.

И мир был глух, вздохнув, когда
Под шубкой задремала,
Когда, склонясь над ней, звезда
Бесплодная сияла.

Котов движенье
На чердаках,
И звезд круженье
На небесах.

ГОРА

Та гора была как гром!
М. Цветаева

Из моей груди — твоего двора —
Как гром в ночи поднялась гора.
И эта гора была черна, как боль
(Милая, душу мою уволь).
Ведь твоей любви не добры дары —
Ей не разрушить моей горы,
И нам с тобой уж не видать добра —
Наш дом раздавит моя гора.
Она притаится, как смерть у одра.
В глаза сверкнет удар топора.
И наша любовь — мой звон, мой сон —
Канет в безмозглую бездну времен.

Подушки. Порошки без толка...
И вдруг... Иль это Бог принес?
Неизъяснимый запах елки,
Знакомый до последних слез.

НОЧЬЮ

Бродила полночь пустырем
И, чтобы всё кругом поблёкло,
Своим свинцовым костылем
Она постукивала в стёкла.

И подступающая даль
Повисла черным одеялом,
Когда заученное «да»
Ты через силу повторяла.

На лестницах не счёл никто
Кошачье горе и порочье,
А чердаки таили то,
Что за спиной бывает ночью.

И ветер выл печной пароль,
Бросая нам тоску чужую...
И жизнь была черна как боль... —
Но эту боль не разлюблю я.

Барак № 23

УТРО

Уже прокрался осторожный день
По диким крышам в комнатную мглу.
Голубоватый глаз в окно пугливо глянул,
И черный бык поголубел в углу.

Когда же там, на дне пустынных улиц,
Загрохотал предутренний обоз,
И стены дрогнули, и лампа зазвенела,
А красный глаз на потолке пророс, —

Тогда, расправив розовые крылья,
Громады туч раскидывая врозь,
На озаренный город с горизонта
Торжественное солнце понеслось.

Путем взаимной переписки

Повесть

1

В наш авиационный истребительный полк пришло письмо. На конверте, после названия города и номера части, значилось: «первому попавшему». Таковым оказался писарь и почтальон Казик Иванов, который, однако, письмом не воспользовался, а передал его аэродромному каптёрщику младшему сержанту Ивану Алтыннику, известному любителю «заочной» переписки.

Письмо было коротким. Некая Людмила Сырова, фельдшер со станции Кирзавод, предлагала неизвестному адресату «взаимную переписку с целью дальнейшего личного знакомства». Вместе с письмом в конверт была вложена фотография размером 3 x 4 с белым уголком для печати. Фотография была старая, нечёткая, но Алтынник опытным взглядом всё же разглядел на ней девушку лет двадцати — двадцати двух с косичками, аккуратно уложенными вокруг головы.

Письмо Алтынник положил в стоявший под кроватью посылочный ящик, где у него уже хранилось несметное количество писем от всех заочниц (числом около сотни), а фотографию спрятал в альбом, но прежде написал на обратной стороне мелкими буквами: «Сырова Людмила, ст. Кирзавод, Медик, г. рождения — ?» Потом достал из того же альбома свою фотокарточку — размером 9 x 12, где он был изображен в диагональном кителе, со значком классного специалиста (чужим), и в такой позе, как будто именно в момент фотографирования он сочинял стихи или же размышлял над загадками мироздания.

Фотографию эту положил он на тумбочку перед собой и принялся за ответ. Надо сразу сказать, что своими изображениями Алтынник особенно не разбрасывался. Бывало и так, что для смеху вкладывал в конверт фотографию, сорванную с доски отличников учебно-боевой и политической подготовки. Но над Людмилой Сыровой подшучивать не захотелось — она произвела на него хорошее впечатление. К тому же некоторый запас карточек у него еще был.

2

Писание писем было для Алтынника второй, а, может быть, даже первой профессией. Во всяком случае, этому делу он отдавал времени гораздо больше, чем основным служебным обязанностям. Где бы он ни находился — в каптёрке, в казарме или в наряде, как только выдавалась свободная минута, пристроится, бывало, на тумбочке, на бочке с гидросмесью, на плоскости самолета — на чём попало, и давай лепить букву к букве, строку к строке своим замысловатым кудрявым почерком, которым весьма гордился и был уверен, что многими своими успехами (заочными) у женщин в значительной степени обязан ему.

Писал он легко и быстро. Одно слово тянуло за собой другое, Алтынник едва успевал запечатлеть его на бумаге и при этом размахивал свободной рукой, бормотал что-то под нос, вскрикивал, всхлипывал, мотал головой и только изредка останавливался, чтобы потереть занемевшую руку, перевести дух и лишний раз подивиться, откуда в одном человеке может быть столько таланту. Вот только никогда не знал он, где и какой ставить знак препинания, но это обстоятельство его мало смущало, и он эти знаки разбрасывал наобум, по возможности равномерно.

Взявшись за письмо Людмиле Сыровой, передавая ей, как обычно, «чистосердечный пламенный привет и

массу наилучших пожеланий в вашей молодой и цветущей жизни», Алтынник, не теряя даром времени и чернил, перешел к деловой части:

«Письмо ваше, Люда, я получил через нашего почтальона Иванова Казимира, который дал мне его и сказал: ты, Иван, давно хотел переписываться с хорошей девушкой и вот я даю тебе письмо и адрес, а почему даю тебе, а не другому, потому что ты самый грамотный из рядового и сержантского состава, хотя и не имеешь высшего законченного образования. Я тогда распечатал письмо ваше и фото и личность ваша мне, Люда, очень понравилась, как в смысле общего очертания, так и отдельные части наружности, например: глаза, нос, щечки, губки и т. д. К сожалению, фото вы прислали маленькое, на нем ваш облик рассмотреть внимательно трудно, так что если будет такой момент и возможность, пришлите большое, я вам свое высылаю. Если же не хотите прислать в полный рост, то пришлите хотя бы в полроста, а что касается красивой фигуры, Люда, то на это я не смотрю, потому что красота и фигура, такие качества человека, которые могут быть утеряны в дальнейшей жизни, а я смотрю на ум, характер человека...»

Дальше Алтынник подробно описал свою жизнь, и по этому описанию выходило, что автор письма — круглый сирота, воспитывался в детском доме у чужих людей, с детства привык к лишениям, унижениям и физическому труду.

Всё это у него получалось складно да гладко, хотя и не имело никакого отношения к его действительной биографии, ибо жил он не хуже многих, воспитывался в нормальной рабочей семье и во время войны отец его даже не был на фронте, потому что болел бронхиальной астмой. В прошлом году отец умер, но мать и поныне была жива и здорова, работала на заводе формовщицей, правда, в эту осень собиралась уже

на пенсию в сорок пять лет из-за вредности производства.

Но сказать, что Алтынник врал, было бы не совсем справедливо, просто давал он волю своей руке, зная, что она его не подведет, и она действительно не подводила. Перед потрясенным автором во всей своей широте разворачивалась картина такого несчастного, лишенного радостей детства, что ему до слез становилось жалко себя самого и ему искренне хотелось, «чтобы после стольких, Люда, мучений и терпения всевозможных обид от злых людей, которые, Люда, еще встречаются и в нашей стране, найти самостоятельную девушку, работающую и с веселым характером, не с умыслом, чтобы над ней подшутить или же посмеяться, а совсем с другой целью: или замужество или женитьба после непродолжительного знакомства».

Что Людмила Сырова из этого письма поняла, трудно сказать, но ждать себя не заставила, и ответ от нее пришел ровно через столько времени, сколько понадобилось почте, чтобы пройти от места расположения части до станции Кирзавод и обратно.

Переписка завязалась.

Алтынник, получая письма от новой своей знакомой, всегда внимательно их прочитывал да еще подчеркивал красным карандашиком сообщения о том, что у Люды есть свой дом, огород, корова, что она (Людмила, а не корова) любит петь, танцевать, уважает веселое общество, может и сама пошутить и посмеяться, когда шутят другие. Красным карандашом Алтынник пользовался и при переписке с другими своими корреспондентками. Полученные сведения выписывал на отдельные карточки, а потом раскладывал, сопоставлял. И не для какой-то корысти, а потому, что любил в каждом деле порядок. Всерьез он не рассчитывал ни с кем из этих заочниц встретиться и вел всю эту переписку просто так, от нечего делать.

И, вероятно, он никогда бы не встретился с Люд-

милой Сыровой, если бы вдруг поздней осенью не вызвал его к себе командир эскадрильи майор Ишты-Шмишты.

Ишты-Шмишты была не двойная румынская фамилия, а прозвище майора Задачаина, который все свои сильные чувства — радости, огорчения, удивления или гнева — выражал превратившимся в прозвище словосочетанием: «Ишь, ты! Шмишь, ты!»

С майором Ишты-Шмишты мы еще познакомимся ближе. Пока скажу только, что майор приказал Алтыннику немедленно отправляться в командировку за получением аэродромного имущества.

И как ни странно, станция Кирзавод была по той самой дороге, по которой должен был ехать Алтынник. Впрочем, странного в этом было немного, потому что заочные подруги нашего героя жили по всем без исключения железным, шоссейным и частично проселочным дорогам, и неизвестно, что сулила ему любая другая из этих дорог.

Но ему выпала эта.

По этой же дороге, через два пролета от станции Кирзавод была еще одна станция, и там тоже жила заочница — Наташа. Иван на всякий случай дал телеграммы обоим.

3

В Москве была у него пересадка. Никогда раньше в столице он не бывал, хотя и надеялся, и теперь наметил обязательно сходить в Мавзолей и посетить, если успеет, Третьяковскую галерею. В галерею он не попал, зато съездил на сельскохозяйственную выставку и даже сфотографировался на фоне фонтана «Золотой колос».

Погода была противная. Сыпал мелкий дождь, и дул ветер. Алтынник мотался из одного конца города в другой то на троллейбусе, то на метро и к концу дня настолько свыкся с эскалатором, что уже не прыгал с

него с вытаращенными глазами, боясь, что утянет в щель, а сходил свободно и даже небрежно, как заправский москвич.

4

Устроился Алтынник на третьей полке, потому что солдату срочной службы, хоть бы он даже ехал до Владивостока, плацкартных мест по литеру не положено. Еще, спасибо, проводник попался хороший, разрешил взять свободный матрац без простыней и подушки. Но подушка Алтыннику была не нужна, у него был мягкий чемодан польского производства. Этот чемодан Алтынник очень выгодно выменял у старшины Ефремовского на старые хромовые сапоги без головок. К слову сказать, у старшины тоже было свое прозвище — его звали де Голлем за высокий рост и внешнее сходство.

Хотя проводник и обещал его разбудить, Алтынник не понадеялся и всё ворочался на своей верхней полке, боясь проспать, и жег спички, чтобы посмотреть на часы, и спавшая внизу толстая тетка с ребенком, думая, что Алтынник курит, демонстративно вздыхала:

— О-ох!

А Алтынник ее передразнивал и тоже делал так:

— О-ох!

Он не курил. Он думал. Он обдумывал свою предстоящую встречу. Хорошо, если Людмила придет встречать и он ее сразу узнает. А если будет много народу и он ее в толпе не найдет или вовсе она не выйдет, а он слезет с поезда? Потом пока дождешься следующего. Но, допустим, она придет и сразу они узнают друг друга, тогда как с ней встречаться? За руку поздороваться или обниматься? Этого Алтынник не знал.

В казарме после отбоя, когда заходил разговор про женщин, Алтынник выступал как крупнейший знаток вопроса. Ни у кого из его слушателей не возникало

сомнения, что уж кто-кто, а Алтынник всё знает про женщин. Где что у них как устроено и что с ними нужно делать. Но если сказать правду, то до сих пор никаких иных отношений с женщинами, кроме заочных, у него не было.

Была у него перед армией одна девчонка — жила в соседнем дворе. Она занималась художественной гимнастикой и носила очки, что Алтынника особенно подкупало. Он ходил с ней два раза в кино и четыре раза стоял в подъезде. Говорили на разные посторонние темы, а он всё думал, как бы к ней подступиться, и однажды набрался храбрости и сказал:

— Знаешь, Галка, я чего тебя хочу спросить?

— Чего? — спросила она.

— Только ты не обидишься?

— А чего?

— Нет, ты скажи — не обидишься?

— Я ж не знаю, что ты хочешь сказать, — уклонялась она.

— Ну, в общем, я тебя хочу спросить, ну, это... ну... — он набрал полные легкие воздухом и ляпнул: — Можно, я тебя поцелую?

Она отодвинулась в угол и спросила испуганно:

— А зачем?

А он не знал, зачем. Он думал, что так нужно.

Спустя некоторое время она вышла замуж за демобилизованного моряка, и уж, наверное, он ей всё объяснил, потому что ровно через девять месяцев (Алтынник служил уже в армии) мать написала ему, что Галка родила девочку.

Вспоминая Галку и думая о предстоящей встрече с Людмилой, он всё же не выдержал и заснул. Но проводник не подвел и разбудил его, как обещал, в четверть второго. Иван слез, помотал головой, чтобы совсем проснуться, стащил чемодан и пошел к выходу.

Проводник сидел на боковой скамеечке напротив

служебного купе. Перед ним стоял незажженный электрофонарь.

— Что, батя, скоро этот самый Кирзавод? — спросил Алтынник.

— Еще минут десять, — зевнул проводник.

Алтынник сел напротив проводника, небрежно выбросил на столик пачку «Казбека», купленного в Москве.

— Кури, батя, скорей помрешь.

— Некурящий, — отказался проводник.

Алтынник вынул папироску, помял ее, но в вагоне курить было неудобно, а в тамбур выходить не хотелось. Глянул в окно, а там мельтешит что-то белое. Удивился:

— Снег, что ли?

— Снег, — подтвердил проводник.

— Ты смотри, а? В Москве дождь, а тут километров триста проехали, а уже снег. Старшина говорил мне: «Возьми шапку», а я, дурак, пилотку надел. Хорошо еще, что шинелку взял, а то ведь и околеть можно, скажи, батя.

— Да уж, — согласился батя. Он привык поддакивать пассажирам.

Алтынник помолчал, повздыхал, решил поделиться своими сомнениями с проводником.

— Вот, батя, еду я на эту самую станцию Кирзавод, так, а встретят меня или не встретят, не знаю. Если бы это я к матери ехал, так она бы, конечно, встретила. В любое время дня и ночи. А я, батя, к бабе еду. Познакомился с ней путем переписки, так вроде по карточке она ничего, из себя видная, но на личность я ее не видал, ничего сказать не могу. Она вообще-то писала — «приезжай». Я, конечно, и не думал, а тут как раз выпшла командировка, ответственный груз. Кого в командировку? Меня. Ну вот еду. Отбил ей телеграмму — встречай. Получила она телеграмму или нет, я, батя, не знаю, ответа ж не получал. Теперь

возникает другой вопрос, если даже и встретит, она меня первый раз видит в глаза, может не согласиться. Скажет, распишемся, тогда хоть ложкой, а мне, батя, расписываться сейчас ни к чему. Я еще молодой. После службы в техникум пойду, а потом, может, и в институт. Хочу, батя, диплом получить, чтобы в рамке на стенку повесить, пускай каждый видит: у Алтынника — это у меня фамилия такая, Алтынник, — высшее образование. А у меня, батя, через две станции еще одна живет баба — Наташка. Тоже заочница. Ну, та, правда, хроменькая. Сама написала: «Ваня, я должна вас сразу предупредить, что имею физнедостаток, левая нога у меня в результате травмы короче правой на два сантиметра, но если надену чуть повыше каблук, это почти незаметно». Ну, тут заметно или незаметно, а ломаться, я думаю, не должна, потому что хоть какой там каблук ни подставляй, а хроменькая есть хроменькая, никуда не денешься. Хотя я, батя, конечно, не осуждаю и не смеюсь, потому что это с каждым может случиться. Вот, скажем, ты стоишь на перроне, поезд тронулся, ты на ступеньку — рраз! посклизнулся — и лежишь без обеих ног. Но с другой стороны, недостаток свой она должна понимать, я-то хоть и сочувствую, но я не хромой, вó, посмотри, — Алтынник встал и прошел три шага к тамбуру и обратно. — Видишь. Не хромаю. Значит, ты уже будь поскромнее, чего дают, не отказывайся, а то и того не получишь. Ну и вот, значит, батя, не знаю, то ли мне здесь слезать, а она еще неизвестно как будет ломаться, то ли ехать дальше к Наташке, но она вот хромая. Ты как, батя, считаешь?

— Да уж это тебе видней, — сказал проводник. — Я про эти дела давно позабыл. У меня в эту осень внук в школу пошел.

— Да, батя, — посочувствовал Алтынник, — а так на личность ты еще молодой. А я, батя, решил так: до сорока годов проживу, погуляю, а потом сразу — ве-

ревку на шею и с приветом к вам Сергей Есенин.

— Доживи сперва, — усмехнулся проводник. — Помирать никогда не хочется.

— Это я понимаю, — сказал Иван, боясь, что обидел проводника. — Это я для себя только так решил. Думаю, до сорока годов доживу, ну, до сорока пяти от силы, и хватит. А то это, знаешь, всё ходи, мучайся. То поясницу ломит, то ревматизм на погоду болит. Эх...

Алтынник огорченно махнул рукой и, глядя в окно, задумался, попытавшись представить себя жалким и больным стариком, но представить ему это было почти невозможно, и мысли его тут же сбились на другое — он опять заволновался, встретит его или не встретит Людмила. Была ночь с субботы на воскресенье.

5

На станцию Кирзавод поезд прибыл точно по расписанию. Проводник открыл дверь, и на Алтынника, стоявшего в тамбуре с чемоданом, дунуло сырым холодом. Шумел ветер, густо валил и вспыхивал в свете единственного на станции фонаря лохматый снег. Под фонарем стояли дежурный в красной фуражке и маленькая, залепленная снегом фигурка. «Она», — догадался Алтынник. И действительно, фигурка побежала вдоль поезда, шаря по вагонам глазами и отыскивая того, кого ожидала. Алтынник отошел вглубь тамбура и следил за ней одним глазом. Он всё еще колебался.

— Как, батя, советуешь — слезать или не слезать? — в последний раз понадеялся он на проводника.

— Слезай! — махнул рукой проводник и отступил в сторону, освобождая проход.

— Была не была, — решил Алтынник. — Будь здоров, батя, и не кашляй.

И соскочил на мокрый перрон.

Когда они встретились, Алтынник понял, что его

жестоко обманули — фотография, которую хранил он в альбоме, была по крайней мере десятилетней давности.

— Здравствуйте, Ваня, — сказала Людмила, протянув ему руку.

— Здравствуйте. — Поставив чемодан, переминался он с ноги на ногу, переживая сомнения. — Людмила? — спросил он на всякий случай, еще надеясь, что это не она, а, допустим, старшая сестра.

— Ага, — беспечно согласилась она. — У нас часы стали. Ночь, время спросить не у кого. Пришла за час до поезда. Ну, пойдемте. — Она наклонилась к чемодану, как будто хотела взять.

— Сейчас, — сказал Иван и чемодан придержал. И стал быстро соображать, не сесть ли ему, пока не поздно, обратно на поезд.

Дежурный в красной фуражке ударил в колокол. Поезд шумнул тормозами и тронулся медленно, без гудка. Алтынник все еще колебался. Остаться или на ходу вскочить на подножку?

Медленно проплыл мимо последний вагон, и проводник с грохотом опустил откидную площадку. Решать было уже нечего.

— Ладно, пойдем, — вздохнул Иван и нагнулся за чемоданом.

6

Дул ветер, в глаза летел сырой снег, Алтынник шел боком. В правой руке он держал чемодан, а левой прижимал к уху воротник шинели, чтоб не продуло. Дома и заборы неясно чернели по сторонам, нигде ни огня, ни звука, хоть бы собака пролаяла.

Людмила молча шла впереди, ее залепленная снегом спина то исчезала, то вновь возникала перед Алтынником. Поворачивали направо, налево, опять направо. Иногда ему казалось, что они кружат на одном

месте. В какой-то момент стало страшно: мало ли слышал он разговоров, как какого-нибудь доверчивого чудака женщина заводила в темное место, а там... Ведь никто же не знает, что в роскошном его чемодане ничего нет, кроме смены белья да портянок. В крайнем случае можно, конечно, чемодан бросить и дать волю ногам. Но куда побежишь, когда мокро, скользко и незнакомое место? И как назло под ногами ни камня, ни палки.

— Далеко еще? — спросил он подозрительно.

— Нет, недалеко, — ответила Людмила, не оборачиваясь.

— Ну у вас и погодка та еще, — громко сказал Алтынник. Все-таки когда говоришь, не так страшно. — А я ваш адресок товарищу оставил, он утречком должен подскочить. Не возражаете?

Насчет товарища он сейчас только придумал: пусть знает, если что — адрес известен.

— Пожалуйста, — сказала Людмила.

Ее согласие Ивана несколько успокоило, и он не стал излагать следующую придуманную им версию, что, в случае чего, его, Ивана Алтынника, как военнослужащего и необходимого в данный момент стране человека, будут разыскивать всюду и, если что, перероят всю эту вшивую станцию. Потом сообразил, что их же видел вместе дежурный по станции, и это успокоило его окончательно.

Еще раз повернули направо и остановились перед забором из штакетника.

Людмила перекинула руку через забор и звякнула щеколдой.

Скрипнув, отворилась калитка.

— Проходите, — сказала Людмила.

— Собаки нет? — осторожно спросил Алтынник.

— Нет, — сказала Людмила. — В прошлом годе был Тузик, так брат его из ружья застрелил.

— За что же? — удивился Алтынник.

- Ружье новое купил. Хотел проверить.
- И не жалко было?
- Кого? — удивилась Людмила.
- Да Тузика.
- Так это ж собака.

Маленьким кулачком в шерстяной варежке долго она колотила в закрытую дверь, потом, утопая в свежем сугробе, пролезла к окну. Качнулась в сторону занавеска, показалось расплывающееся в темноте чье-то лицо.

- Мама, откройте, — негромко сказала Людмила.

За окном вспыхнул электрический свет. Послышались негромкие, но тяжелые шаги, дверь распахнулась и на пороге появилась крупная старуха в валенках, в нижней полотняной рубаше. В руке она держала зажжённый китайский фонарик.

— Проходите, — еще раз сказала Людмила Алтыннику и сама прошла вперед, показывая дорогу. Старуха, посторонившись, светила фонариком. Тускло сверкнули коромысло и ведро, развешанные на стенах. В нос ударил запах квашеной капусты.

Пройдя через сени, Алтынник очутился в комнате, жарко натопленной и освещенной лампочкой без абажура.

Он поставил чемодан у порога и нерешительно топтался, осматриваясь.

— Раздевайтесь, — предложила Людмила и сама подала пример. Размотала пуховый платок и сняла пальто с серым воротником из искусственного каракуля. Теперь на ней было темное шерстяное платье с глубоким вырезом. Алтынник посмотрел на нее и вздохнул. Там, на перроне, он, пожалуй, ошибся. Карточка была не десятилетней давности, а постарше.

Он повесил шинель на гвоздь возле двери и расправил под ремнем гимнастерку.

Вернулась старуха, положила на табуретку фонарик.

— Мама, познакомьтесь, — сказала Людмила.

Старуха вежливо улыбнулась и протянула Алтыннику черную искривленную руку.

— Иван Алтынник, — громко сказал Иван.

— Чудная фамилия, — не называя себя, покачала головой старуха.

— Чего же в ней чудного? — обиделся Алтынник.

— Фамилия самая обыкновенная, происходит от слова «алтын». Слыхала такое слово?

— Нет, не слыхала, — отказалась старуха.

— Как не слыхала? — изумился Алтынник. — Алтын, в старое время деньги такие были.

— Эх, милый, — вздохнула старуха. — У нас денег не то что в старое время, а и теперь нету.

— Полно вам прибедняться, — возразила Людмила. — Живем не хуже людей. Ваня, наверное, маланец. Правда, Ваня? — она повернулась к Алтыннику и улыбнулась.

— Кто, кто? — не понял Алтынник.

— Маланец.

— Угу, маланец, — согласился Алтынник, чтобы не спорить, хотя всё же не понял, что это значит.

— Ох-хо-хо, — вздохнула старуха и, скинув валенки, полезла на печку.

Положив руки в карманы, Алтынник прошел по комнате, осмотрелся. Комната была самая обыкновенная — деревенская. Вёдра с водой на лавке возле двери, тут же рукомойник, дальше на стене портрет Кагановича, под ним рамочка с налезавшими одна на другую фотографиями. Красноармеец в довоенной форме с треугольничками на петлицах, старик в очках, ребенок на столе голый, масса каких-то людей группами и в одиночку, и среди них кое-где Людмила. Была здесь и та фотография, которую знал Алтынник, и другие, последнего времени. Прислала бы Людмила одну из последних, сейчас бы Алтынник уже обнимался на перроне с хроменькой Наташей.

Продолжая осмотр, наткнулся он на косо повешенное полотенце, где была вышита плоская девушка в трусах, лифчике и с одним глазом. Девушка лежала, задрав ноги, на животе и держала в руках что-то похожее на раскрытую книгу. Подпись под картиной гласила: «На курортах». Алтынник отступил на шаг и прищурил сперва один глаз, потом другой.

— Вы вышивали? — спросил он уважительно.

— Я, — скромно сказала Людмила.

— Ничего, — оценил он. — Так это вообще... — он подумал, но нужного определения не нашел и махнул рукой.

Без интереса скользнул взглядом по темной иконе в углу — религиозные предрассудки не уважал, сквозь полуоткрытую дверь заглянул в горницу, но там было темно. Тут ему послышалось чье-то посапывание за выцветшей ситцевой занавеской, отделявшей пространство между печью, куда залезла старуха, и дверью.

Алтынник резко шагнул к занавеске и отдернул ее. Здесь увидел он белобрысого парня лет четырнадцати, который спал лицом к стене на железной кровати с шишечками.

— Кто это? — Алтынник строго посмотрел на Людмилу.

— Сын, — сказала Людмила и стыдливо потупилась.

— Внуков нет?

— Что вы, — обиделась она, — я еще молодая.

— Юная, — поправил Алтынник, отошел к стоявшему у окна столу, сел и положил локти на скатерть с бледными, вышитыми гладью цветами. Девушка «на курортах» висела на противоположной стене и единственным своим глазом смотрела не в книгу, а на Алтынника. Он достал свой «Казбек» и, не спрашивая разрешения, закурил. Поинтересовался:

— Когда будет следующий поезд?

— У нас только один поезд, на котором вы приехали, — сказала Людмила. — Другие не останавливаются.

— Угу. Так-так. — Он побарабанил по столу пальцами. — И чего ж делать будем? — поднял голову и нахально посмотрел на Людмилу.

Она смешалась и покраснела. «Ишь ты, еще краснеет», — про себя удивился Алтынник.

— Ну, так я спрашиваю: чего делать будем? — повторил он свой вопрос, чувствуя, что сейчас может сказать всё, что хочет.

— Кушать хотите? — не поднимая глаз, тихо спросила Людмила.

— Кушать? — понимающе переспросил Алтынник и посмотрел на часы (было без пяти три). — Чего ж делать? Давайте кушать.

В одну минуту Людмила стащила со стола скатерть, постелила клеенку, и не успел Алтынник оглянуться, на столе стояли пол-литра водки, теплая еще жареная картошка с салом и пироги с грибами.

— Со знакомством, — сказал Алтынник, подняв стакан.

— Со знакомством, — кивнула Людмила.

7

Надеялся Алтынник, что сразу же опьянеет, но выпили всю бутылку, а ему хоть бы хны. Несмотря на то, что с утра ничего не ел, кроме двух пирожков с мясом, купленных на Курском вокзале. Но в груди потеплело и настроение стало лучше. Он снял сапоги, ремень и расстегнул гимнастерку. Чувствовал себя легко, свободно, закусывал с аппетитом и всё благожелательнее поглядывал на Людмилу.

Людмила от водки тоже оживилась, на щеках выступил румянец, глаза блестели. Она уже казалась Алтыннику не такой старой, как при первом взгляде, а

вполне привлекательной. Теперь он не сомневался в том, что хорошо проведет эти сутки в ожидании следующего поезда, а большего он и не хотел. И то, что Людмила была не самой первой молодости, Алтынник теперь расценивал как факт положительный: очень надо ему иметь дело с молоденькими дурочками вроде Галки, которые строят из себя чёрт-те что. Перед ним сидела женщина настоящая, не то что недоросток какой-то, уж она-то знает, зачем люди целуются и что делают после. Губы ее и глаза обещали Алтыннику многое, и он знал совершенно точно, что теперь своего не упустит и таким лопухом, как тогда с Галкой, не будет. И от уверенности в том, что всё будет, как он себе наметил, было ему сейчас весело. Давно уже он умял всю картошку и принялся за пироги, которые показались ему особенно вкусными.

— Пироги ну просто замечательные, — сказал он, чтобы сделать хозяйке приятное и потому, что неудобно было за свой неумеренный аппетит. — А то ведь в армии у нас пища какая: шрапнель, конский рис и кирза. Хоть бы, вот я говорю, сливочного масла дали кусочек солдату, так нет, не положено. А как же. Друзей всех кормим. Но солдат — тоже ведь человек, ты на нем хоть верхом езди, а кусочек маслица дай. От этой кирзы только живот дует, а калорий и витаминов почти никаких. А вот грибы уважаю. Хоть сушеные, хоть свежие. Потому что высокие вкусовые качества — раз! — Алтынник загнул один палец. — И по калорийности не уступают мясу — два!

— Это точно, — подтвердила Людмила. — Мы во время войны, когда голод был, одними грибами спасались. Бывало, пойдешь в лес, наберешь корзинку...

И как начала она с этих грибов, так и пошла дальше, перескакивая с темы на тему, без остановки, рассказывать Алтыннику свою жизнь с того времени, как в сорок четвертом году осенью вышла замуж за парня, работавшего на станции электриком, и прожили они

вместе до декабря, когда его взяли в армию и он успел дойти до самого «Бёрлина» живой и невредимый, но на обратном пути в поезде застудил голову и умер, а она осталась жить для ребенка и никого близко к себе не подпускала, хотя многие добивались, потому что знали ее как женщину самостоятельную, чистую, и ее все уважают, не только соседи, но и по работе, некоторые врачи даже из института приходят и с ней советуются, ведь сколько ни учи, но теория это одно, а практика другое, и ни у одного врача, приходящего из института, такой практики нет и быть не может, тут на станции не то что в большом городе в поликлинике, где есть отдельно хирург и отдельно терапевт или невропатолог, здесь хоть зубы лечить, хоть роды принимать, все бегут к ней, вчера, например, ночью прибежали с другого конца станции, там старуха с печки упала, старухе будет в обед сто лет, а ты поднимайся ночью, беги, потому что народ несознательный, считает, что фельдшера можно поднимать в любое время, сам восемь часов отработал и свободен, а тут никакого внимания, уж лучше рабочим на производстве или бухгалтером, как ее брат Борис, который живет в районном городе двадцать километров отсюда, у него там тоже свой дом, жена Нина и дочка Верушка, которой на прошлой неделе исполнилось два годика, живут, правда, плохо, несмотря на то, что Нинка кончила техникум, но такая неряха — когда в дом ни придешь, всегда грязи по уши, посуда не мыта, не то что за ребенком, за собой следить не умеет, уж она, Людмила, ничего Борису, конечно, не говорит, сам женился, самому жить, но всё же обидно — родной брат, младше ее на три года, вместе росли, а потом, когда она выучилась и ему помогала учиться, каждый месяц пятьдесят рублей посылала, отрывая от себя и ребенка, чего Борис теперь уже не помнит (все люди неблагодарные), приезжает каждое воскресенье домой и хоть бы матери-старухе к дню рождения или на восьмое марта подарил ситцу на платье или сто граммов

конфет, дело не в деньгах, конечно, хотя знает, что фельдшеру много не платят, несмотря на выслугу лет, так он еще, как приедет, требует каждый раз, чтобы она ему пол-литра поставила, мужчина, известно, за пол-литра мать родную продаст, как, например, сосед учитель, который до того допился, что и жена от него ушла, и дети родные отказались, только название одно, что мужчина, а на самом деле настоящее горе, уж лучше век одной вековать, чем с таким связывать свою жизнь...

Алтынник слушал сперва терпеливо и даже поддакивал и охал в подходящих местах, но потом стал морщиться и отвлекаться. Ему давно уже было неинтересно ни ее прошлое, ни будущее, он приехал вовсе не для того, чтобы изучать ее биографию, а совсем для другого дела, на что он и хотел как-нибудь намекнуть, но невозможно было прорваться, она всё сыпала и сыпала на него свои рассказы, как из мешка, один за другим, и всё в такой жалобной интонации, что уже ничего не хочется, а хочется только спать (время позднее), но приходится вежливо таращить глаза, да еще делать вид, что тебе это всё безумно интересно. Но когда речь дошла до учителя, он всё же не выдержал и сказал:

— Извините, Людмила, я вас перебью, но как бы мы бабушку не разбудили.

— Да ничего, над ней хоть из пушки стреляй, — успокоила Людмила, порываясь рассказывать дальше. — Значит, про что это я говорила?

Но Алтынник потерял нить, не помнил и не хотел помнить, про что она говорила. Он хмуро смотрел перед собой и вертел за горлышко пустую бутылку.

— Может, вы еще выпить хотите? — догадалась Людмила.

— А есть?

Хотя, конечно, и хотелось спать, всё же он помнил, зачем сюда приехал, а в распоряжении одни только сутки, и если не сейчас, то когда?

— А как же. — Она пошла в горницу и тут же вернулась с плоским флаконом, широкое горло которого было заткнуто газетой.

— Самогон? — спросил Алтынник.

— Спирт.

— Спирт?

— Я же медик, — улыбнулась Людмила.

— Спирт я люблю, — одобрил Алтынник, хотя чистый спирт ни разу в жизни не пробовал. — Мы у себя пьем ликер «шасси».

— Ликер чего? — не поняла Людмила.

— То есть гидросмесь, — пояснил Алтынник, — которая заливается в стойки шасси. Семьдесят процентов глицерина, двадцать спирта и десять воды.

— И ничего?

— Ничего, — сказал Алтынник. — Правда, потом понос бывает, но вообще-то пить можно.

Разбавили спирт водой, выпили, закусили.

— Да, так я вам про учителя не рассказала, — вспомнила Людмила.

Алтынник посмотрел на нее и попросил:

— Не надо про учителя.

— А про что? — удивилась Людмила.

— А ни про что, — сказал он и вместе со стулом придвинулся к ней. Положил руку ей на плечо. Она ничего. Потянул слегка ее голову к себе. И она без всякого сопротивления вдруг повернулась и впилась в его губы своими.

Это было так ошеломительно, что Алтынник в первый миг растерялся, а потом ринулся навстречу тому, что его ожидало, и дал волю рукам, жалея, что их у него только две, что они короткие и что нельзя ухватить всё сразу. Людмила, не отрываясь от его губ, прижималась к Алтыннику грудью, коленями, вздрагивала и дышала, изображая такую сумасшедшую страсть, как будто сейчас помрет, и вдруг резко его оттолкнула,

так, что он ударился локтем об стол. Алтынник схватился за локоть и удивленно посмотрел на Людмилу.

— Ты... чего? — спросил он, с трудом выдавливая слова, потому что дыхания не хватало.

— Ничего. — Людмила загадочно усмехалась.

Видимо, спирт, наконец, подействовал: Алтынник смотрел на Людмилу и не мог понять, что она хочет.

— Эх ты, герой! — засмеялась она и легонько стукнула его по голове. — Думаешь, если женщина одинокая, так у нее сразу можно всего добиться?

— А разве нельзя? — удивился Алтынник.

— Вам всем только этого и нужно, — вздохнула она. — Все мужики, как собаки, честное слово. Ни поговорить, ничего, только про свое дело и думают.

Алтынник смутился.

— Так мы ж говорили, — неуверенно возразил он и пообещал: — Опосля еще поговорим.

— Дурак, — сказала она и положила голову на стол.

Алтынник задумался. Видно, он сделал что-то не то, потому что Людмила сперва вроде бы поддавалась, а теперь заартачилась. А скорее всего просто дурочку валяла.

Алтынник попытался ее снова обнять, но она его опять оттолкнула и приняла прежнюю позу.

— Людмила, — помолчав, сказал Алтынник. — Ты чего из себя это строишь? Ты же не девочка и должна знать, зачем ты меня приглашала и зачем я к тебе приехал, и не за тем, чтобы над тобой посмеяться или пошутить, а чтоб по-товарищески сделать тебе и себе удовольствие. А если ты из себя будешь девочку строить, то надо было сразу или сказать или намекнуть, потому что время у меня ограничено, сама понимаешь — солдатское положение.

Она молчала. На печи негромко всхрипывала и чмокала губами во сне старуха. Алтынник посмотрел на часы, но спяну не мог разобрать — то ли полови-

на четвертого, то ли двадцать минут шестого. Людмила сидела, положив голову на руки. Иван еще посидел, повздыхал, почесал в голове. Было обидно, что зря потратил столько времени и не выспался.

Нагнувшись, достал он под столом сапог, вынул из него портянку и стал наматывать на ногу. Задача эта оказалась нелегкой, потому что стоило ему задрать ногу, как он терял равновесие и хватался за край стола, чтобы не свалиться с табуретки. В конце концов с этим сапогом он кое-как справился и полез за вторым. Людмила подняла голову и удивленно посмотрела на Алтынника.

— Ты куда собираешься?

Он пожал плечом.

— На станцию.

— Зачем?

— А чего мне здесь делать? Поеду.

— Куда ж ты поедешь? До поезда еще целые сутки.

— Ничего, подожду, — сказал он, принимаясь за второй сапог.

— Обиделся?

Он молчал, сосредоточенно пытаясь попасть ногой в голенище.

— Эх ты, дурачок, дурачок. — Людмила вырвала у него сапог и швырнула обратно под стол. Он только хотел рассердиться, как она схватила его и стала целовать, и он снова всё позабыл, и опять не хватало рук и нечем было дышать.

— Подожди, — шепнула она, — сейчас свет погасу, пойдем в горницу. — Он с трудом от нее отлепился. Он мог подождать, но недолго. Поцеловав его, она на цыпочках прошла к двери и щелкнула выключателем. Свет погас.

Алтынник ждал ее нетерпеливо, чувствуя, как беспорядочно колотится сердце, словно дергают его за веревку. Людмила не возвращалась.

— Людмила! — позвал он шепотом.

— Сейчас, Ваня, — отозвалась она из темноты тоже шепотом.

Он поднялся и, чувствуя, что ноги его не держат, хватался за край стола и таращил глаза в темноту, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Но ничего не увидев, осторожно оторвался от стола и, как был в одном сапоге, направился туда, где по его мнению находилась Людмила.

Он шел бесконечно долго и в конце своего пути напоролся на табуретку, повалил ее, чуть не свалился сам и сильно зашиб колено. Табуретка упала с таким грохотом, что ему показалось: сейчас он поднимет весь дом. И действительно, старуха на печи коротко вскрикнула, но, должно быть, во сне, потому что тут же опять захрапела и зачмокала губами. Он понял, что забрал слишком сильно вправо и пошел дальше, стараясь держаться левее, и наткнулся на какую-то тряпку и догадался, что это занавеска, за которой спал сын Людмилы. Он отшатнулся, но занавеска оказалась и сзади. И слева, и справа. Чтобы освободиться от нее, он стал делать над головой такие движения руками, как будто отбивался от целого роя пчел, запутался окончательно и, не видя иного способа вырваться, дернулся что было сил в сторону. Где-то что-то затрещало, Алтынник рухнул на пол и на этот раз ударился головой. «Господи! — подумал он с тоской, — так я сегодня и вовсе убьюсь». Он попытался подняться, но никаких сил для этого не было. Тогда он пошарил вокруг себя руками, наткнулся на какой-то веник, подложил его под голову и уснул.

Проснулся он от того, что стало больно глазам. Солнце светило прямо ему в лицо сквозь полузамерзшие стекла. Слегка повернув голову, он увидел, что лежит в комнате совершенно ему незнакомой на широкой крова-

ти, и под ним мягкая перина и огромная пуховая подушка. За круглым столом посреди комнаты между окном и зеркальным шкафом сидел парень лет четырнадцати в старой школьной форме. Должно быть, считалось, что парень сейчас делает уроки, на самом же деле он одну за другой зажигал спички, совал их зажжённые в рот, а потом перед зеркалом шкафа выдыхал дым и делал страшные рожи. Алтынник стал за ним следить через зеркало. Парень чиркнул очередной спичкой, раскрыл рот и в этот момент встретился с отраженным в зеркале Алтынником. Он вздрогнул, закрыл рот, а спичку зажал в кулаке и, наверное, обжегся. Потом повернулся, и они оба бесконечно долго разглядывали друг друга.

Парень первый нарушил молчание.

— Мамка побегла в магазин, — сказал он.

— У-у, — промышчал Иван в знак того, что всё ясно, хотя ему ничего не было ясно.

— Ты в каком же классе? — спросил он парнишку.

— В восьмом.

«Ничего себе», — удивился Алтынник. Сам он кончил только семь классов.

— А зовут тебя как?

— Вадик.

— Молодец, — похвалил Алтынник и прикрыл глаза. Побаливала голова. То ли оттого, что он вчера немного перебрал, то ли оттого, что он, кажется, обо что-то вчера ударился. Было у него еще такое ощущение, будто из его памяти выпало какое-то очень важное звено, но он не мог понять, какое именно. Смутно помнилось, вроде он ночью что-то искал, не нашел, улегся на полу. Но как он попал в кровать? И в мозгу его слабо забрезжило воспоминание, что будто бы Людмила подняла его с пола и положила к себе в постель и между ними как будто что-то было, а она его потом спросила:

— Почему же ты говорил, что маланец?

А он спросил:

— Что такое маланец?

— Еврей.

— А почему ж маланец?

— Ну, сказать человеку «еврей» неудобно, — пояснила Людмила.

Теперь никак он не мог припомнить, приснилось ему это всё или было на самом деле. Но думать не хотелось, и он вскоре уснул.

9

Когда он открыл снова глаза, Вадика в комнате уже не было. Решив, что уже поздно, Алтынник встал, надел штаны (они вместе с гимнастеркой висели на спинке стула перед кроватью), сунул ноги без портянок в сапоги и вышел в соседнюю комнату.

Старуха в разорванном под мышками ситцевом платье (нижняя рубаша выглядывала из-под него) стояла спиной к Алтыннику возле печи и, нагнувшись, раздувала самовар. Алтынник подошел к старухе сзади и крикнул в самое ухо:

— Бабка, где тут у вас уборная?

— Ой, батюшки-светы! — вскрикнула старуха и подняла на Алтынника перепуганные глаза. — Ой, напужал-то. Ты чего кричишь?

— Я думал, ты глухая, — махнул рукой Алтынник. Он поморщился. — Ой, бабка, мутит меня что-то и голова вот прямо как чугун, честное слово.

— Похмелиться надо, — сочувственно улыбнулась бабка.

— Что ты, бабка! Какое там — похмелиться. Мне это вино и на глаза не показывай, и так там внутри, как будто крысу проглотил, честное слово. Чего-нибудь бы холодненького испить бы, а, бабка?

— Кваску, — нараспев сказала старуха.

— А холодный? — оживился Алтынник.

— А как же. Чистый лед!

Алтынник обрадовался.

— Давай, бабка, быстрее, не то помру, — заторопил он. Старуха сбегала в сени и вернулась с трехлитровой бутылкой красного свекольного кваса. Алтынник хватил целую кружку.

— У-уу! — загудел он довольно. — Вот это квас! Аж дух зашибает. погоди, бабка, не уноси. Сейчас я сбегаю по малому делу, еще выпью, а то уже некуда, под завязку.

На улице было морозно и солнечно. Жмурясь от слепящего глаза снега, Алтынник пробежал через огород к уборной и обратно, ворвался в избу немножко оживший, выпил еще квасу, попробовал закурить, не пошло — бросил. Поинтересовался у старухи, не пришла ли Людмила.

— Да еще не верталась. — Старуха всё возилась у самовара.

— А Вадик где же?

— Гуляет.

— А ну-ка, бабка, подвинься, я дуну, — сказал Иван и отодвинул бабку плечом.

У него дело пошло лучше, и скоро самовар загудел.

— Вó как надо дуть, — не удержался и похвастал Алтынник. — Три раза дунул — и порядок. У меня, бабка, легкие знаешь какие. Смотри, как грудь раздувается. — Он действительно набрал полную грудь воздуха да еще и выпятил ее до невозможности. — Поняла? Ты, бабка, не смотри, что я росту среднего. Я на гражданке лабухом был. В духовом оркестре учился. На трубе играл. Она маленькая, а играть потяжелше, чем на басу. На басу просто, хотя и здоровый. Знай только щеки раздувай побольше, ума не надо. А на трубе, бабка, губы покрепче сожмешь и вот так делаешь: пу-пу-пу. И звук получается, бабка, чистый, тонкий. Бас, он мычит всё равно что баран: бэ-э, бэ-э, а труба... — Алтынник взял в руки воображаемую тру-

бу и стал перебирать пальцами, словно нажимал клавиши. Но только собрался изобразить он, какой звук издает труба, как во дворе заиграла гармошка и, приблизившись к дому, смолкла. В сенях загрели тяжелые чьи-то шаги. Дверь распахнулась и на пороге появилась фигура огромного мужика в синем зимнем пальто и валенках, подвернутых у колен. На груди у него висела маленькая для его роста гармошка. Алтынник всё еще держал руки, как будто собирался играть на трубе.

Бошедший, не обращая ни на кого внимания и не здороваясь, снял и поставил гармошку на лавку рядом с ведрами, взял в углу веник и стал не спеша обмахивать валенки.

— Ох, погодка хороша, — сказал он, видимо, обращаясь к старухе.

— Один приехал? — спросила старуха.

— Один. Верушка простыла, температурит, ну Нинка с ней и осталась. — Бросив веник на прежнее место, он прошел мимо Алтынника и сел к столу.

— А в прошлое воскресенье чего не приехал?

— А этого хоронили... как его... Ваську Морозова, — сказал он всё в той же своей бесстрастной манере.

— Ай помер? — удивилась старуха.

— Ну. С прорабом своим древесного спирту нажрался. Прораб ослеп на оба глаза, а Васька... в среду это они, значит, выпили, а в четверг утром, Райка евонная рассказывает, на работу сбирался. Нормально все, встал, умылся, завтракать она ему подала. Он сел, всё как положено. «Радио, говорит, надо включить, время проверить». И потянулся к приемнику, а приемник от его так примерно с метр, нет, даже меньше, ну, сантиметров девяносто... Так потянулся он и вдруг как захрипит, да брык со стула. Райка к ему: «Вася, Вася», а Вася уже не живой.

— О Господи! — вздохнула старуха. — Райка-то, чай, убивается?

— Сука, — махнул рукой мужик. — Она ж с этим... с Гришкой-милиционером путалась. Вся улица знала. Да и Васька сам знал. Уж он, бывало, бил ее и к кровати привязывал, никакого внимания. А теперь, конечно, убивается. Невдобно ж перед людьми.

Он прошел мимо Алтынника и сел у стола. Алтынник постоял немного и тоже сел. Исподволь стали друг друга разглядывать. Алтынник заметил, что у мужика много сходства с Людмилой и догадался, что это, наверное, тот самый брат, который убил собаку. Оба неловко молчали. Старуха возилась у печки.

— А это кто? — неожиданно громко спросил мужик у старухи, показывая кивком головы на Алтынника, как будто Алтынник был для него какой-нибудь шкаф или дерево.

— А это к Людке приехал, — равнодушно объяснила старуха.

— Где ж это она его нашла?

— По переписке.

— А-а.

Мужик неожиданно шумно вздохнул, поднялся, шагнул к Алтыннику и протянул ему свою огромную лапу.

Алтынник вздрогнул, посмотрел на мужика снизу вверх.

— Чего? — спросил он, заискивающе улыбаясь.

— Познакомимся, говорю.

— А-а. — Алтынник вскочил, пожал протянутую руку: — Иван.

— Очень приятно. Борис, — назвал себя ответно мужик.

Сели на свои места, постепенно стали нащупывать тему для разговора.

— В отпуск едешь? — спросил Борис.

— В командировку.

— Виатор? — уважительно не то спросил, не то просто отметил для себя Борис. — Я виацию не люблю. Шумит больно. Я служил в войсках связи поваром. Служба хорошая, только старшина вредный был.

Для любого солдата тема старшины неисчерпаема. Людмила вернулась как раз в тот момент, когда Алтынник, ползая по полу на карачках, показывал, как именно старшина де Голль учит молодых солдат мыть полы.

10

Людмила принесла с собой бутылку «кубанской», сели завтракать. Как ни противно было Алтыннику смотреть на водку, пришлось пить. Бабка поставила на стол ту же жареную картошку, крупно нарезанные соленые огурцы и вчерашние пироги с грибами. Людмила села рядом с Иваном, вела она себя так, как будто ничего не случилось. Он искоса поглядывал на нее, пытался и не мог понять, было между ними что или просто ему приснилось.

Борис разлил водку — себе и гостю почти по полному стакану, сестре половинку, а матери самую малость для компании.

Иван этой водкой чуть не захлебнулся, выпил, правда, до дна, но потом стал долго и стыдно кашлять и морщиться.

— Не пошла, — с пониманием отнесся Борис.

— А ты закуси, Ваня, пирожком, — сказала Людмила и подала ему пирог. — Понравились ему твои пироги, — сказала она матери.

— Кому ж они не нравятся, — сказал Борис. — Фирменное блюдо. Вообще у нас, Ваня, жизнь хорошая. Грибов этих самых завал. Вот приезжай летом, возьмем два ружья, пойдем в лес. Грибов наберем, зайцев настреляем.

— Уж ты настреляешь, — засмеялась Людмила. — Ты за всю жизнь, кроме как в Тузика, ни в кого не попал, да и то, потому что он был привязанный.

— Ты ее не слушай, Ваня, — убеждал Борис. — Мы живем хорошо. Овощ свой, мясо — кабана вот скоро зарежем, — свое молоко... Корову видал?

— Нет, — сказал Алтынник, — не видал.

— Пойдем покажу. — Борис вышел из-за стола.

— Да куда ж ты человека тянешь? — возмутилась Людмила. — Чего он — корову не видел?

— Твою не видел, — стоял на своем Борис. — Пойдем, Вань.

Алтыннику идти не хотелось, но и отказываться было вроде бы неудобно. Он встал.

— Борис! — повысила голос Людмила.

— Ну пуцай посмотрит, — не сдавался Борис. — Может, ему интересно. Он же городской. Он, может, корову в жизни своей не видел, на порошковом молоке вырос.

— Ну что пристал к человеку, — поддержала Людмилу старуха, — сядь, тебе говорят.

— Ну, ладно, — сдался Борис. — Давай, Ваня, допьем, а им больше не дадим.

Разлил остатки в два стакана, выпили.

— Мама, вы говорили, что он маланец, а он не маланец, — вдруг сказала Людмила и подмигнула Ивану.

Кровь бросилась Алтыннику в голову. Значит, всё, что ему смутно припоминается, было на самом деле, не приснилось.

— Это он сам тебе сказал? — не поверила бабка.

— А он мне паспорт показывал, — сказала Людмила и бессовестно засмеялась.

Борис намека не понял и сказал:

— А у солдат паспортов не бывает. У них служебные книжки. Ваня, у тебя есть служебная книжка?

— А как же, — сказал Иван. — Вот она. — Он расстегнул правый карман и протянул документ Борису.

Борис взял служебную книжку и стал ее перелистывать. Людмила не удержалась и тоже заглянула через плечо матери.

— А чего это здесь написано? — удивилась она.

— А это размер ног, головы, — объяснил Борис и перелистнул страницу. — Особых отметок нету, — сообщил он и повернулся к Алтыннику. — Чего ж так? Хочешь, сейчас в поссовет пойдем, там Катька секретарем работает, и штампик тебе поставим?

— Еще чего — штампик, — возразил Алтынник. — Дай сюда.

Он забрал служебную книжку и положил на место в карман.

— Мне и без штампа хорошо, — сказал он. — Молодой я еще для штампов.

— Сколько ж тебе годов будет? — поинтересовалась старуха.

— Двадцать три.

— Молодой, — недоверчиво сказала старуха. — Молодой, не молодой, а семьей надо обзаводиться, детишками. Это ж какая радость — детишки.

— Людмила, — сказал Борис, — у тебя спирту нет?

— Нет, — сказала Людмила. — Немного осталось, вчера выпили.

— Поди-ка сюда. — Борис отозвал ее в соседнюю комнату и о чем-то с ней говорил, судя по всему, просил денег, а Людмила отказывала. Потом они вместе вышли.

— Пойдем, Ваня, прогуляемся, — предложил Борис. — Посмотришь на наш поселок, а то ж ночью, небось, ничего не видал.

— Пойдем, — согласился Иван.

В небольшом магазине напротив станции выпили они еще по полстакана водки и по кружке бочкового подогретого пива. Зашли на станцию проверить расписание и выпили там в буфете по стакану красного. На обратном пути завернули опять в магазин, взяли еще по кружке пива. Бутылку «кубанской» Борис записал в левый внутренний карман пальто.

— Вó, Настёнка, — похлопав себя по тому месту, где выпирала бутылка, — сказал Борис продавщице, — грудь побольше, чем у тебя. Еще б сюда бутылку — и можно в самодеятельности бабу играть.

— А чего ж не возьмешь еще? — спросила Настёнка.

— Время не хватает, — пошутил Борис и пошевелил пальцами, словно пересчитывал деньги.

Назад пошли напрямую, по тропинке через какие-то огороды. Тропинка была узкая, левой ногой Алтынник шел нормально, а правой попадал почему-то в сугроб. «Видно, обратно косою», — подумал он безразлично.

Вернувшись, сели опять за стол. Алтынник выпил еще полстакана и после этого помнил себя уже смутно.

Почему-то опять разговор зашел насчет возраста.

— А мне вот скоро тридцать пять годов будет, — сказала Людмила, — а никто мне моих годов не дает. Двадцать шесть, двадцать восемь от силы.

— Еще взамуж десять раз выйдешь, — сказал Борис.

— А у нас Витька Полуденов, — вмешалась в разговор бабка, — со службы пришел, взял за себя Нюрку Крынину, а она на двадцать лет за его старше и с тромя ребятами. И живут меж собой лучше не надо.

Алтынник насторожился. Он понял, куда клонит бабка. Ему стало весело, и он сказал.

— Ишь, бабка хитрюга. Думаешь, я не понимаю,

к чему ты всё это гнешь? А хошь вот я, — он хлопнул ладонью по столу, — на тебе женюсь? — Он повернулся к Борису. — А, Борис? А ты меня будешь звать папой и будешь нам с бабкой платить алименты по старости лет.

Эта мысль показалась ему настолько смешной, что он долго не мог успокоиться и трясся от мелкого, может быть, нервного смеха. Но его никто не поддержал, а наоборот, все трое насупились и недоуменно переглядывались. Поняв, что сказал бабке что-то обидное, он перестал смеяться. Старуха сидела, поджав тонкие губы.

— Что, бабка, обиделась? — удивился Алтынник.

— Ещё б не обижаться, — сказал вдруг Борис. — Нешто можно старому человеку глупости такие говорить?

— Фу ты, ну ты, — огорчился Алтынник. — Что за народ пошел. Мелкий, пузатый, обидчивый. В рожу плюнешь — драться лезет. Я ж пошутил просто. Характер у меня такой веселый: люблю пошутковать, пошутиться. Ты говоришь, этот ваш... как его... взял на двадцать лет старше, а я тебе говорю: давай, мол, бабка, с тобой поженимся. Ну, ты, конечно, не на двадцать годов меня старше, потому что у тебя дочь мне всё равно как мать. А жениться, бабка, мне еще ни к чему. Я, бабка, еще молодой. Двадцать три года. Можно сказать, вся жизнь впереди. Вот армию отслужу, пойду в техникум, после техникума в институт. Инженером, бабка, буду.

Ему вдруг стало так грустно, что захотелось плакать. И говорил он всё это таким тоном, как будто к трудному и тернистому пути инженера его приговорили, и приговор обжалованию не подлежит.

Людмила, сидевшая рядом с Алтынником, на эти его слова реагировала самым неожиданным образом. Она вдруг встала, покраснела и изо всей силы грохнула вилку об стол. Вилка отскочила, ударилась в окон-

ное стекло, но, не разбив его, провалилась на пол между столом и подоконником.

— Ты чего, Людка? — вскочил Борис.

— Ничего, — сказала она и кинулась в соседнюю комнату.

Борис пошел за ней. Бабка молча вздохнула и стала собирать посуду. Алтынник сидел растерянный. В его мозгу всё перемешалось, и он никак не мог понять, что здесь произошло, кого и чем он обидел. Бабка собрала посуду и стала мыть ее возле печки в тазу с теплой водой. За дверью соседней комнаты слышен был глухой голос Бориса, он звучал монотонно размеренно, но ни одного слова разобрать было нельзя, хотя, правда, Алтынник особенно и не пытался. Потом послышался какой-то странный, тонкий, прерывистый звук, как будто по радио передавали сигнал настройки музыкальных инструментов.

— Ну вас! — махнул рукой Алтынник и уронил голову на стол. Но стоило ему только закрыть глаза, как в ту же секунду он вместе со стулом и со столом начинал переворачиваться, он хватался за край стола, рывком поднимал голову — и всё становилось на место.

Дверь из соседней комнаты отворилась, вошел Борис. Он сел за стол на свое место, взял рукой из тарелки кусок огурца и начал жевать.

— Чего там такое? — спросил Алтынник, не потому, что это ему было действительно интересно, а просто как будто бы полагалось.

— Чего ж чего? — Борис развел руками. — Обиделась на тебя Людка.

— С чего это вдруг? — удивился Алтынник.

— Не знаю. — Борис пожал плечами. — Тебе лучше знать. Вчера обещал на ей жениться, а теперь и нос в сторону.

— Кто? я обещал? — еще больше удивился Иван.

— Я, что ли?

— Вот тебе на! — Алтынник подпер голову рукой

и задумался. Неужто вчера по пьянке что-то такое он ляпнул? Да вроде не может этого быть, и на уме такого у него никогда не было.

— Ишь ты, жениться, — бормотал он. — Еще чего. Делать нечего. Да если б я захотел... любая девчонка... У меня на гражданке была восемнадцать лет... Художественной гимнастикой занималась. Очки носила минус три...

Борис молча жевал огурец, не обращая никакого внимания на слова Алтынника, и выбивал пальцами на столе барабанную дробь.

Алтынник посмотрел на него, встал и пошел в соседнюю комнату. Людмила лежала поперек кровати животом вниз и тихонько скулила. Именно этот скулеж и показался Алтыннику похожим на сигнал настройки.

— Э! — Алтынник отодвинул ее ноги в сторону, сел и потряс ее за плечо. Она продолжала скулить на той же ноте.

— Слышь, Людмила, перестань, — дергал ее за плечо Алтынник. — Я это самое... не... не... — язык у него заплетался, — не люблю, когда плачут.

— И-и-и-и-и-и, — выла Людмила.

— Вот тоже еще завела свою музыку! — Алтынник в досаде хлопнул себя по колену. — Слышишь, что ли, Людмила. Ну чего плакать? Ведь можно и по-человечески поговорить. Ты говоришь — жениться я на тебе обещался?

Людмила перестала выть и прислушалась.

— А я вот не помню. И не помню, было у нас чего или не было, честное слово. Потому что пьяный был. Ну, а по пьяному делу, сама знаешь, мало ли чего можно сказать или сделать. Ведь ты, Людмила, взрослая женщина. Ты старше меня, и намного старше, Людмила. Ты, если правду говорить, по существу мне являешься мать.

Услышав последние слова, Людмила выдала та-

кую высокую ноту, что Алтынник схватился за голову.

— Ой, что же это такое! — закричал он. — Людмила, перестань, я тебя прошу, Людмила. Ну, если я тебе обещал, я готов, Людмила, пожалуйста, хоть сейчас, но и ты войди в мое положение, пожалей меня. Я ведь, Людмила, еще молодой, я хочу учиться, повышать свой кругозор. Зачем тебе губить молодую жизнь? Найди себе какого ни то мужичка, подходящего по твоему возрасту, а я еще к семейной жизни не подготовлен, у меня об этом деле никакого понятия...

Не меняя в своей песне ни одной ноты, Людмила поднялась, села на кровати, спустив ноги на пол, и продолжала выть, широко раскрыв рот и бессмысленно пуча глаза в пространство.

Алтынник отбежал в сторону, прижался к стене. Не смолкая ни на секунду, Людмила стала не спеша отрывать от своей кофточки по кусочку кружева, словно лепестки ромашки: любит, не любит. «С ума сошла!» — похолодел Алтынник. Он выскочил в соседнюю комнату. Борис по-прежнему сидел за столом, но теперь он жевал пирог.

— Борис! — закричал Алтынник.

— Чего? — равнодушно спросил Борис.

— Людмиле плохо. Воды!

— Вон налей, — Борис невозмутимо показал глазами на графин.

У Ивана тряслись руки, и половину воды он пролил мимо стакана. Со стаканом вернулся в горницу. Кружевная кофточка Людмилы за это время уже сильно уменьшилась в размере.

— Людмила, — ласково сказал Иван, — на-ко вот, выпей водички, и всё пройдет.

Он схватил одной рукой ее голову, а другой пытался влить в рот воду, но оттого, что дрожали руки, только бил ее стаканом по зубам, а вода лилась ей на грудь.

Резким движением она вышибла стакан из его

руки, стакан ударился о спинку кровати и вдребезги разбился.

— И-и-и-и-и-ии!

Терпение Алтынника кончилось. Он выбежал за дверь.

— Всё! — закричал он Борису. — Уезжаю! К чертовой матери! Где мой чемодан?

— Где его чемодан? — спросил Борис у матери, подметавшей пол тем самым веником, который ночью Алтынник использовал вместо подушки.

— Там, — сказала старуха, махнув веником в сторону двери.

— Там, — повторил Борис.

Алтынник подошел к двери, но у порога остановился. Звук, доносившийся из горницы, вызвал у него дрожь в коленях.

— Борис! — взмолился Иван. — Скажи ей, что я согласный. Что я на ей женюсь хоть прямо сейчас. Как говорится, предлагаю ей руку и сердце. Руку и сердце, — повторил он и засмеялся: эта фраза показалась ему смешной.

И у него вдруг всё поплыло перед глазами, закружилось в бешеном темпе, он еле дошел до стула, уронил на стол голову и тут же уснул.

12

— Эй, вставай, что ли!

Кто-то тряс Алтынника за плечо.

С трудом разлепив веки, он увидел перед собой Бориса.

— Вставай, Ваня, пойдем, — ласково сказал Борис.

— Куда? — не понял Алтынник.

— Да в поссовет же.

— Зачем?

— Забыл, что ли? — Борис сочувственно улыбнулся.

Алтынник потер виски и увидел Людмилу. Людмила красила губы перед зеркалом, которое держала старуха. Лицо Людмилы было густо напудренно, особенно под глазами, но следы недавней истерики оставались. Пока Алтынник спал, она еще раз переоделась. Теперь на ней был синий костюм и новая белая блузка под жакеткой, встретишь на улице, подумаешь — из райкома.

Алтынник мучительно пытался и не мог никак вспомнить, куда он собирался идти с этими людьми и какое отношение к нему, военному человеку, имеет их поссовет.

— Пойдем, что ли, — нетерпеливо сказал Борис.

— Пойдем.

Ничего не вспомнив (но раз говорят, значит нужно), Алтынник встал и, сильно шатаясь из стороны в сторону, пошел к выходу.

— погоди, — остановил его Борис. — Шинелку надень. Ишь, разбежался. На улице-то, чай, не лето.

Борис подал шинель, и Алтынник долго тыкал руками куда-то, где должны были быть рукава, и всё никак не мог попасть. Наконец всё обошлось.

— Вот так, — говорил Борис, застегивая на Иване шинель. — Вот застегнем все крючечки, теперь ремешек наденем, пилоточку поправим — на два пальца от левого уха. Людмила, поддержи-ка его пока, чтоб не упал, — и пока Людмила поддерживала, отошел на два шага, оглядел Алтынника критическим взглядом и был удовлетворен полностью. — Ну, теперь полный порядок, хоть на парад на Красную площадь. На параде на Красной площади не был?

— Нет, — сказал Алтынник.

— Будешь, — пообещал Борис.

Вышли на улицу. Борис шел впереди и играл на гармошке, Алтынник в двух шагах держал взглядом спину Бориса и всё время водил головой, потому что ему казалось — спина Бориса куда-то уплывает, и он

боялся сбиться с дороги. За Алтынником шла Людмила, покрасневшая от вина и от слез и возбужденная предстоящим событием.

То и дело к дороге выходили какие-то люди. Выползали старухи, черные как жуки. Никогда Алтынник не видел одновременно столько старух. Они смотрели на процессию с таким удивлением, как будто по улице вели не Алтынника, а медведя.

— Милок, — спросила Бориса одна старуха, — куды ж это вы его, болезного, ведете?

— Куды надо, — растягивая гармошку, ответил Борис.

Дошли до какой-то избы. Здесь Борис дал Людмиле подержать гармошку, а сам прошел внутрь. Вскоре он вернулся с какой-то девушкой. На ней была новая телогрейка и клетчатая шаль, похожая на одеяло.

— А он согласный? — кинула девушка беглый взгляд на Алтынника.

— А как же, Катя, — заверил Борис. — Чай, не жулики мы какие, сама знаешь. Всю жизнь по соседству живем. Сам приехал, говорит, руку и сердце... Скажи, Ваня.

— Сердце? — переспросил Алтынник. — А чего сердце? — И вдруг запел: «Сердце, тебе не хочется покоя...»

— Ну, пойдёмте, — сказала Катя.

Дошли еще до какой-то избы. На ней была вывеска. Пока Катя притопывала от холода и гремела ключами, открывая замок, Алтынник пытался и не мог прочесть вывеску. Буквы прыгали перед глазами, никак не желая соединиться в слова. Тогда он попытался с конца и прочел: «...путатов трудящихся».

— Что такое «путатов»? — громко спросил он у Людмилы.

— Заходи, — сказал Борис, пропуская его вперед.

Пропустив затем и Людмилу, Борис вошел сам и закрыл за собой дверь.

Небольшое холодное помещение было загромождено двумя письменными столами, железным сейфом, закрывавшим половину окна, и рядом сколоченных между собой стульев — вдоль боковой стены.

— Это что здесь, милиция? — спросил Алтынник.

— Милиция, — сказал Борис и, слегка надавив ему на плечи, усадил на крайний стул возле двери.

Людмила стояла возле стола и — то ли от холода, то ли от возбуждения — мелко постукивала зубами.

Девушка открыла сейф, вынула и положила на стол толстую книгу типа бухгалтерской и какие-то бланки. Потыкала ручкой чернильницу, но чернила замерзли.

— На, Катя, — Борис протянул ей свою авто-ручку.

— Где у него служебная книжка? — спросила Катя.

— Ваня, где у тебя служебная книжка? — ласково спросила Людмила.

Алтынник открыл один глаз.

— Какая книжка?

— Служебная. Ты ж ее вынимал. Борис, не помнишь, куда он ее положил?

— Должна быть в правом кармане, — подумав, рассудил Борис. — В левом — партийный или комсомольский билет, в правом — служебный документ.

Он подошел к Ивану, расстегнул правый карман, и книжка очутилась на столе перед Катей.

Катя долго дула на замерзший прямоугольный штамп, потом приложила его к книжке и с силой придавила двумя руками.

В этот момент Алтынник на миг протрезвел и понял, что происходит что-то непоправимое, какое-то ужасное шарлатанство.

— Э-э! Э! — закричал он и захотел подняться, но только оторвался от стула, как почувствовал, что пол под его ногами стал подниматься к потолку и одновре-

менно переворачиваться. Алтынник быстро ухватился за спинку стула, сел и махнул рукой. И он не помнил, как подносили ему бумагу, вложили в пальцы авторучку и водили его рукой...

13

Потом справляли свадьбу, не свадьбу, но что-то похожее было. Был стол, выдвинутый на середину комнаты, были какие-то гости. Пили «кубанскую», красное и разбавленный самогон. Алтынник сидел во главе стола рядом с Людмилой, и гости кричали «горько». Он послушно поднимался и подставлял губы невесте, хотя и было противно.

Борис играл на гармошке. Толстая, лет сорока пяти баба плясала и дергала за веревку спрятанную под юбкой палку и выкрикивала частушки похабного содержания. Потом какой-то парень, дружок Бориса, в косынке и переднике изображал невесту. Гости смеялись.

Мать Людмилы хлопотала у стола, следя, чтобы всем всего хватило и чтобы никто не взял ничего лишнего.

Потом Людмила плясала с Борисом, а на гармошке играл парень в косынке.

Рядом с Алтынником на месте Людмилы сидел пожилой человек в старом военном кителе без погон. Это был местный учитель, и его имя-отчество было Орфей Степанович.

— Я, Ваня, тоже служил в армии. — Он придвинулся к уху Алтынника. — До войны еще служил. Да. Людей расстреливали. Мне, правда, — он вздохнул, — не пришлось.

— А чего ж так? — удивился Алтынник.

— По здоровью не прошел. — Орфей Степанович развел руками. — А у меня, Ваня, дочь тоже замужем за майором. В Германии служит. Вот китель мне пода-

рил. А с женой я развелся. Ушла она от меня, потому что я пьяница. Суд был, — сказал он уважительно.

— А трудно разводиться? — поинтересовался Алтынник.

— Ерунда, — сказал Орфей Степанович и уронил голову в тарелку с салатом.

Потом Алтынник каким-то образом очутился на огороде за баней, и его рвало на белом, как сахар, снегу. Черная облезлая собака тут же всё подбирала, и Алтынник никак не мог понять, откуда взялась эта собака.

Потом появилась откуда-то Людмила. Протянув руку Алтынника через свое плечо, она пыталась его сдвинуть с места и ласково говорила, как маленькому.

— Тебе нехорошо, Ваня. Пойдем домой, постелим постельку, ляжешь спатки. Тебе завтра рано вставать.

— Уйди! — Он мотал головой и хватался за живот. Его еще мучили спазмы, но рвать уже было нечем, а собака, не зная этого, отбежав на два шага, виляла хвостом и голодными глазами с надеждой смотрела Алтыннику в рот.

— Пошла вон! — топнула ногой Людмила.

Собака отбежала еще на шаг и теперь виляла хвостом с безопасного расстояния.

Потом Людмила тащила его на себе через весь огород, а он вяло перебирал ногами. На крыльце он все-таки задержался. На улице вдоль забора стояли и смотрели на него, Алтынника, черные, похожие на ту собаку за баней, старухи. Они заискивающе улыбались, надеясь, что если и не пригласят, то по крайности, может быть, вынесут угощение. Не потому, что были голодные, а ради праздника.

На крыльце Алтынник оттолкнул от себя Людмилу.

— Эй, бабки, — закричал он, делая руками какие-то непонятные круговые движения. — Валите все сюда! Гулять будем! Алтынник женится!

Он попытался изобразить что-то вроде ритуального индейского танца, но потерял равновесие и чуть не

свалился с крыльца, спасибо Людмила вовремя подхватила.

Старухи дружно загомонили и тут же повалили в калитку, словно прорвали запруду.

— Да куды ж вы, окаянные, лезете! — закричала Людмила, подпирая Алтынника плечом и подталкивая к двери. — Стыда на вас нету!

— Хозяин приглашает, — округляя «о» в слове «хозяин» и ставя ногу на крыльцо, упорствовала возглавлявшая шествие маленькая старуха с выдвинутым вперед подбородком.

— Хозяин, хозяин, — передразнила Людмила. — Хозяин-то вон на ногах не стоит, а вам лишь бы попить да пожрать за чужой счет, бессовестные!

Она втолкнула Алтынника в сени и захлопнула дверь перед самым носом маленькой старухи, и за дверью слышен был еще глухой недовольный гомон.

В комнату Алтынник вполз чуть ли не на карачках. Из круговорота множества лиц, сливающихся в одно, выплыл со стаканом в руке Орфей Степанович.

— Выпей, Ваня, винца, полегчает, — говорил он, тыча стаканом Алтынника в нос.

От одного только вида водки Алтынника перекосило всего, он зарычал по-звериному и отчаянно замотал головой.

— Уйди, ненормальный! Уйди! — закричала Людмила учителю и ткнула в лицо ему маленьким своим кулачком. Из носа Орфея Степановича хлынула кровь и потекла на китель. Орфей Степанович неестественно задрал голову вверх и пошел как слепой к столу, в вытянутой руке держа перед собой стакан.

Появились Борис и Вадик. Вдвоем подхватили они Алтынника под руки, втащили в соседнюю комнату. Людмила забежала вперед, сдернула с кровати одеяло, и Алтынник повалился в пуховую перину, как в преисподнюю. Последнее, что он помнил, это как кто-то стаскивал с него сапоги.

Не успел он заснуть, как его разбудили.

— Ваня, вставай. — Над ним стояла Людмила.

Под потолком горела лампочка без абажура. За окном было черно.

— Сейчас утро или вечер? — спросил Алтынник.

— Полвторого ночи, — сказала Людмила. — Скоро поезд.

Он послушно спустил ноги с кровати. Одеваться было трудно. Болела голова, жгло в груди и дрожали руки. А когда наклонился, чтобы намотать портянку, так замутило, что чуть не упал. Кое-как всё же оделся и вышел в другую комнату. Старуха, босая и в нижней рубашке, хлопотала возле стола.

— Позавтракай, Ваня, — сказала она.

На столе стояла сковородка с яичницей, пироги, полбутылки водки.

Алтынника передернуло.

— Что ты, бабка, какой там завтрак.

Он встал под рукомойник и нажал затылком штырек. Вода медленно текла по ушам и за шиворот. Потом он отряхнулся, как собака, и вытер лицо поданным ему бабкой полотенцем. Выпил ковшик воды из ведра. Вода была теплая и пахла железом. И от нее как будто он снова слегка захмелел. Повесил ковшик на ведро и долго стоял, бессмысленно глядя на стену прямо перед собой.

— Пойдем, Ваня, — тронула его за рукав Людмила.

Он надел шинель, нахлобучил пилотку, тронул рукой — звездочка оказалась сзади, но поправлять не хотелось, каждое движение давалось с трудом. Взял чемодан. Бабка сунула ему узелок из старой, но чистой косынки.

— Чего это? — спросил он.

— Пироги с грибами. — Бабка заискивающе улыбнулась.

— Ой, бабка, — скривился Алтынник, — на кой мне эти ваши пироги.

— Ничего, ничего, в дороге покушаешь, — сказала Людмила. Она взяла у бабки узел и отворила дверь.

Алтынник помотал головой, протянул бабке руку.

— До свиданья, бабка. — И первым вышел на улицу.

На улице потеплело и стоял густой липкий туман. Иван шел впереди, ноги расползались в отмерзшей под снегом глине, он осторожно переставлял их, думая только о том, чтобы не упасть — потом не встанешь.

Людмила сзади старалась ступать след в след.

На станции Людмила едва успела сбегать к кассирше прокомпостировать билет — подошел поезд. Алтынник поднялся в тамбур, встал рядом с проводницей у открытой двери.

— Возьми пироги. — Людмила подала ему узел.

Он вздохнул, но взял.

Людмила стояла внизу маленькая, жалкая и, держась за поручень, смотрела на Ивана преданными глазами. Он молчал, переминался с ноги на ногу, ожидая, когда дадут отправление.

Дежурный ударил в колокол. Зашипели тормоза, поезд тронулся. Людмила, держась за поручень, осторожно, боясь поскользнуться, пошла рядом.

— Уж ты, Ваня, не забывай, пиши почаще, — сказала она, — а то мы с мамой будем волноваться. А если что будет нужно из еды либо одёжи, тоже пиши.

Алтынник колебался — сказать, не сказать. Потом решил: была не была, наклонился и прокричал:

— Ты меня, Людмила, не жди! На том, что вы со мной сделали, я ставлю крест и больше к тебе не вернусь!

— Ах! — только успела раскрыть рот Людмила, но тут же ей пришлось отцепиться — поезд убыстрял ход.

Прошло, может быть, месяца три с тех пор, как Алтынник с тяжелой головой покинул станцию Кирзавод, выполнил свое командировочное задание и вернулся в родную часть. О том, что с ним за это время произошло, Алтынник никому не рассказывал, и никто не заметил в нем никаких перемен, кроме, пожалуй, Казика Иванова, который обратил внимание на то, что Алтынник совершенно перестал писать письма, но сам Казик никакого значения своему открытию не придал.

Письма от заочниц Алтыннику еще поступали. Некоторые он просматривал, другие выбрасывал, не читая. Не писал он, конечно, и Людмиле, и она тоже молчала.

На октябрьские праздники демобилизовались последние однополчане, кому вышел срок в этом году. Теперь Алтынник стал самым старослужащим, вышел, как говорят, на последнюю прямую. Последний год стал он тяготиться службой, надоело, считал дни, а дней оставалось неизвестно сколько, могут отпустить пораньше, а могут и задержать. Работу на аэродроме последнее время он избегал, всё время старался попасть в наряд — дежурным по лётной столовой, по штабу или, в худшем случае, по эскадрилье. Так и кантовался он — лишь бы день до вечера, сутки в наряде, сутки свободен и снова в наряд.

О женитьбе своей среди хлопот армейской жизни он иногда забывал, иногда она казалась ему просто кошмарным сном. Но убедиться в том, что это ему не приснилось, было совсем нетрудно, стоило только достать из кармана служебную книжку и открыть на странице «особые отметки».

Конечно, можно было протестовать против незаконного заключения брака, но Алтынник не верил, что жалобами можно чего-либо достичь. Как бы не было еще хуже, потому что он трижды и грубейшим образом нарушил армейские законы. Во-первых, сутки факти-

чески пробыл в самоволке, а самовольная отлучка свыше двух часов считается дезертирством. Во-вторых, напился пьяный, что тоже запрещено. И в-третьих, женился без разрешения командира части.

Пытался он свести штамп вареным яйцом — не получилось, думал залить чернилами — побоялся, что посадят за подделку документов.

Оставалось ему ждать, что рано или поздно обман раскроется, или что доживет он как-нибудь до демобилизации, а там сменит служебную книжку на чистый паспорт и — прощайте, Людмила Ивановна.

16

Однажды, вскоре после Нового года, был он в наряде дежурным по эскадрилье. Был понедельник, вегетарианский день (солдаты называют его итальянский) и день политзанятий. После завтрака эскадрилью построили и увели в клуб смотреть тематический кинофильм «Защита от ядерного нападения». Двух дневальных после уборки старшина де Голль увел на склад ОВС получать белье для бани. Алтынник еще раз обошел все комнаты казармы, проверил заправку постелей, поправил сложенные треугольником полотенца и вышел в коридор. Дневальный Пидоненко возле входа в казарму сидел верхом на тумбочке и ковырял ее вынутым из ножен кинжалом.

— Пидоненко, — сказал ему Алтынник, — смотри, Ишты-Шмишты должен зайти, попутает, что сидишь, двое суток влепит без разговоров.

— Не бойсь, не влепит, — сказал Пидоненко. — Приказ командира дивизии — техсостав не сажать.

— Это летом, — возразил Алтынник, — когда много полетов. А сейчас полетов нет, кому ты нужен.

Однако настаивать он не стал, да и Пидоненко его не очень-то бы послушал. В авиации и офицеров не больно бояться, а о младшем сержанте и говорить нечего.

Алтынник ушел к себе в комнату и, расстегнув верхний крючок шинели, прилег на свою койку на нижнем ярусе, шапку сдвинул на лоб, а ноги в сапогах пристроил на табуретку. В казарме было жарко натоплено, клонило в сон. Но только он закрыл глаза, как в коридоре раздался зычный голос Пидоненко:

— Эскадрилья, встать! Смирно! Дежурный на выход!

Трахнувшись головой о верхнюю койку, Алтынник вскочил, быстро поправил постель, шапку, застегнул крючок шинели и, опрокинув табуретку, выскочил в коридор.

Пидоненко по-прежнему сидел верхом на тумбочке, болтал ногами и лицо его выражало полное удовлетворение, оттого что так ловко удалось провести дежурного.

— Дурак, и не лечишься, — сказал Алтынник и покрутил у виска пальцем. Он хотел вернуться в казарму, но Пидоненко его окликнул:

— Алтынник!

— Чего? — Алтынник смотрел на него подозрительно, ожидая подвоха.

— Тебе Казик письмо принес.

— Ну давай заливай дальше.

— Не веришь, не надо. — Пидоненко вытащил из-под себя мятый конверт, стал вслух разбирать обратный адрес: — Станция... не пойму. Пивзавод, что ли?

— Дай сюда! — кинулся к нему Алтынник.

Если б он просто сказал, равнодушно, Пидоненко бы отдал. А тут ему захотелось подразнить дежурного, он соскочил с тумбочки, отбежал в сторону.

— Нет, нет, ты сперва спляши. Кто это? «Алтынник, — прочел он. — Л. И.» Жена, что ли?

— Дай, тебе говорят! — Расставив руки, Алтынник пошел на него. Началась беготня. Опрокинули тумбочку. В конце концов договорились, что Пидоненко отдаст письмо за четыре (по числу углов на конверте) уда-

ра по носу. С красным носом, выступившей слезой и конвертом в руках Алтынник вернулся в свою комнату и у окна дрожащими от волнения руками вскрыл письмо.

«Привет со станции Кирзавод!!!

Здравствуй, дорогой и любимый супруг Ваня; с приветом к вам ваша супруга Людмила, добрый день или вечер!

Настоящим сообщаю, что мы живы и здоровы, чего и вам желаем в вашей молодой и цветущей жизни, а также в трудностях и лишениях воинской службы.

У нас, Ваня, всё хорошо. Учитель Орфей Степанович, которого видели вы на нашей свадьбе, в нетверезом виде попал под поезд, в виду чего на похороны приехала его дочь Валентина из Германской Демократической республики. Она плакала и убивалась. На Октябрьские зарезали кабана, так что теперь живем с салом и мясом, одно только горе, что вы живете не по близости и ни чего нам не пишете вот уже целых три месяца. Мама всё спрашивает, когда конец вашей армейской службе, а Вадик мне говорит: мама, можно я дядю Ваню буду называть папа? А вы как думаете, а???!

О себе кончаю.

Погоды у нас стоят холодные, много снега. Старики говорят что урожай будет обильный. Борис вступил в партию КПСС, потому что перевели его на должность главным бухгалтером и работа очень ответственная.

К сему остаюсь с приветом ваша любимая супруга Людмила.

Р. S. Ваня, при езжайте скорее, мама на пекла пирогов с грибами, они вас до жидаются».

Не желая откладывать этого дела, Алтынник тут же примостился на тумбочке и составил ответ:

«Людмила, во-первых строках моего маленького послания разрешите сообщить вам, что наш законный брак считаю я недействительным, потому что вы с вашим братом Борисом (а еще коммунист!) обманули ме-

ня по пьяному делу, ввиду чего я считаю брак недействительным и прошу больше меня не беспокоить.

С приветом не ваш Иван.

Р. С. А насчет пирогов, кушайте их сами».

Фамилию адресата написал он не «Алтынник», а «Сырова».

Письмо это он отдал Казику Иванову, но попросил при этом отправить его через гражданскую почту доплатным.

После этого затаился и стал ждать возможных неприятностей. И через две недели получил новое письмо. Людмила писала так, как будто ничего не случилось:

«Ваня, ваше письмо по лучили, большое спасибо. У нас всё по старому. Мама не много болели верхним катаром дыхательных путей, теперь поправились. Соседа нашего Юрку Крынина ударило током, когда он по чинял телевизор. Наши мужики за копали его в землю, а надо было делать искусственное дыхание рот-в-рот, в результате чего летальный ис ход не из бежен.

Ваня, я хочу сообщить вам огромную радость, которая пере полняет всю мою душу и сердце. У нас будет... ребенок!!! Как вы на это смотрите, а???»

Алтынник на это посмотрел так, что в глазах у него потемнело. В своем ответе он написал:

«Людмила, вы эти свои шутки бросьте, потому что мы были с вами только один раз и то еще не известно. Отчего вы должны были предохраняться, если на себя не надеялись. Тем более, что с незнакомым мужчиной, с которым до этого не были лично знакомы, а знакомство было на основании взаимной переписки куда вы подложили фото, где вы снимались до Революции. А если у вас будет ребенок, то он будет не мой, что может показать судебная экспертиза, вы являетесь Медиком по здоровью населения и должны это хорошо себе знать и зарубить на своем носу. А от пирогов ваших меня давно тошнит, к чему и остаюсь не ваш Иван».

Это письмо он также отправил доплатным. Несмотря

на это, она продолжала регулярно писать, аккуратно отделяя приставки от остальных частей слова и сообщая Алтыннику станционные новости, с кем что случилось. И даже когда Алтынник перестал отвечать на ее письма и перестал их читать и, не читая, вкладывал в конверт и отправлял назад доплатным, Людмила не отчаялась, не опустила руки, а продолжала писать с завидной настойчивостью. 23 февраля получил Алтынник от нее поздравительную телеграмму, а на 1 мая пришла посылка, которую он получать отказался и не поинтересовался, что в ней находится, но думал, что там пироги с грибами, и, наверно, не ошибся.

17

Летом полк переехал в лагерь в деревню Граково. Сезон начался с лётных происшествий. Один лётчик заблудился в воздухе, израсходовал керосин и сел в чистом поле за сорок километров от аэродрома с убранными шасси. Самолет списали.

Другой лётчик сломал на посадке переднюю ногу шасси, выворотил пушки, одна из которых пробила керосиновый бак. Когда взломали заклинивший фонарь кабины, лётчик сидел по горло в керосине, хорошо, что еще не загорелся.

Для расследования происшествий приезжала высокая комиссия во главе с генералом. Целыми днями генерал в длинных синих трусах лазил с бреднем по местной речке Граковке, а по ночам играл в преферанс со старшими офицерами. Проиграл, говорят, четыре рубля.

Что касается происшествий, то по ним комиссия составила заключение, что виной всему слабая воинская дисциплина. За то, что лётчики не умеют летать, досталось больше всего, конечно, срочной службе. Рядовой и сержантский состав лишили на месяц увольнений. Правда, ходить всё равно было некуда: в деревне одни старухи, а несколько молодых девчонок, которые там

еще оставались, все работали в части поварами и официантками в лётной столовой. Официантки солдатами и сержантами пренебрегали, летом им хватало и офицеров.

Но километрах в трех от деревни была станция — тоже Граково, и совхоз Граково. Там у Алтынника была знакомая девушка по имени Нина. Ей было семнадцать лет, и она училась в десятом классе. У Алтынника были на Нину серьезные виды, и он нетерпеливо ждал, когда кончится этот проклятый месяц и можно будет вырваться в увольнение.

И вот, наконец, этот день наступил. В субботу после полетов семь человек выстроились на линейке перед палатками. Старшина де Голль, заложив руки за спину, прошел перед строем, проверяя чистоту подворотничков, блеск пуговиц и сапог. Остановился напротив Алтынника и долго его разглядывал. Алтынник весь напрягся: сейчас старшина к чему-нибудь придерется.

— Алтынник, — сказал старшина, — комэска тебя вызывает.

— Зачем? — удивился Алтынник.

— Раз вызывает, значит нужно.

Майора Ишты-Шмишты нашел он в беседке напротив штаба, где у летчиков бывал разбор полетов, а у механиков политзанятия. На восьмигранном столике перед майором лежали шлемофон с очками, планшет и толстый журнал, куда майор, высунув от напряжения язык, записывал сведения о последнем лётном дне.

Если бы Алтынник встретил майора на улице в гражданском костюме, он никогда не поверил бы, что этот тучный, обрюзгший, с бабьим лицом человек летает на реактивном истребителе и считается одним из лучших летчиков во всей дивизии. Впрочем, многие считали майора дураком, потому что он ездил на велосипеде, в отличие от других летчиков, имевших автомобили.

Отпечатав, как положено, три последних шага стро-

евым, Алтынник вытянулся перед майором и кинул ладонь к пилотке.

— Товарищ майор, младший сержант Алтынник по вашему приказанию прибыл.

На секунду оторвавшись от журнала, майор поднял глаза на Алтынника и покачал головой.

— Ишь ты, шмиш ты, надраился, как самовар. В увольнение собираешься?

— Так точно, товарищ майор! — рывкнул Алтынник.

— Пьянствовать думаешь? — Майор склонился над журналом.

— Никак нет!

— А может быть, у тебя свидание с девушкой?

— Так точно! — Алтынник интимно улыбнулся в том смысле, что, дескать, мы, мужчины, можем понять друг друга. Но майор этой улыбки не видел, потому что писал.

— Так-так. — Майор перевернул страницу и стал строчить дальше. — А служебная книжка у тебя с собой?

— Так точно! — механически прокричал Алтынник и тут почувствовал, как сердце в груди заныло. Он понял, что то, чего он долго боялся, пришло.

— Положи сюда. — Свободной левой рукой майор хлопнул по столу, показывая, куда именно Алтынник должен положить служебную книжку. При этом, не поднимая головы, он продолжал писать.

Алтынник расстегнул правый карман, нащупал твердую обложку документа, но вынимать медлил, как будто мог думать, что майор забудет.

— Давай, давай, — сказал майор и, не глядя на Алтынника, протянул руку.

Замирая от страха и от предчувствия беды, Алтынник положил книжку на край стола. Майор сгреб и подвинул ее к себе. Продолжая что-то писать в журнале, он одновременно перелистывал страницы книжки и

перебрасывал взгляд с одного на другое, так что Алтынник, как ни был напуган предстоящим, а удивился: здорово это у него получается, и тут и там успевает. Так, перелистывая служебную книжку, майор дошел до того места, где стоял злополучный штамп. Майор глянул на штамп, дописал еще какую-то фразу, поставил точку, отодвинул в сторону журнал вместе с планшетом и шлемофоном и придвинул к себе служебную книжку.

— Ишь ты, шмиш ты, — удивленно сказал он, разглядывая книжку как-то сбоку. — «Зарегистрирован брак с Сыровой Людмилой Ивановной». Что это такое? — он отодвинулся от книжки и тыкал пальцем в штамп с такой брезгливостью, словно это был какой-нибудь клоп или таракан.

Не зная, что сказать, Алтынник молчал.

— Я вас спрашиваю, что это такое? — майор грохнул кулаком по столу так, что планшет с шлемофоном подпрыгнули.

Алтынник не реагировал.

— Алтынник! — распалялся майор. — Я вас русским языком спрашиваю, где вы нашли эту Людмилу Сырову? Кто вам давал право жениться без разрешения командира полка?

И тут Алтынник почувствовал, как всё, что у него накопилось за это время, подступило к горлу комком и вдруг вырвалось каким-то странным и диким звуком, похожим на овечьё блеянье.

— Вы что — смеетесь? — удивился майор.

Но тут же он понял, что Алтынник совсем не смеется, а схватился за столб и колотится в истерику.

— Алтынник, ты что? Что с тобой?

Перепуганный майор подбежал к Алтыннику, схватил за плечи, заглянул в лицо. Алтыннику было стыдно за то, что он так воет, он хотел, но не мог сдержаться.

— Алтынник, — тихо, чуть ли не шепотом сказал майор. — Ну, перестань, пожалуйста. Я тебя очень

прошу. Я не хотел тебя обижать. Ну встретил ты там какую-то женщину, полюбил, решил жениться, пожалуйста, никто тебе не мешает. Но ты хоть предупреди, хоть скажи, чтоб я знал. А то вдруг ни с того ни с сего получаю вот эту писульку. — Он достал из планшета лист из тетради в клеточку, и Алтынник, всё еще всхлипывая, но уже гораздо спокойнее, увидел знакомый почерк: «В виду не устойчивого морального облика моего мужа Алтынника Ивана, прошу не отпускать его в увольнения, что бы из бежать случайного знакомства с женщинами легкого по ведения и сохранить развал семьи, более не желательные по следствия. К сему...» И какая-то закорючка, и в скобках печатными буквами: «Алтынник».

Дочитал Алтынник этот документ до конца, задержал взгляд на подписи и почувствовал, как губы его опять поползли в разные стороны, и он снова заплакал, да так безутешно, как не плакал, может быть, с самого детства.

18

В сентябре отпускали первую очередь демобилизованных. Оказалось их в эскадрилье всего восемь человек, в том числе и Алтынник. Накануне вечером Ишты-Шмишты произнес перед строем торжественную речь и каждому из восьми выдал по грамоте.

Пришел он и утром после завтрака, когда демобилизованные вышли на линейку с чемоданами. Явился в парадной форме, которую за два десятка лет службы носить так и не научился. Ремень на боку, фуражка на ушах. Алтынник, как старший по званию, командовал «смирно».

— Вольно, — сказал майор. Прошел перед строем. — Ишь ты, шмиш ты, собрались. Рады, небось. Надоело. — Воровато оглянувшись, он сказал шепотом. — Да мне, если честно сказать, самому надоело. Вó! — ребром ладони провел он себе по горлу.

Демобилизованные засмеялись, и вместе со всеми Алтынник, и, может быть, первый раз за всё время он понял, что Ишты-Шмишты в сущности неплохой мужик и что как видно ему, несмотря на то, что он майор, летчик первого класса, получает кучу денег, здесь тоже несладко.

Майор пожал каждому руку, пожелал всего, чего желают в таких случаях. Алтынник скомандовал «налево» и «шагом марш», и демобилизованные пошли к проходной не строем, а так — кучей.

Машину им, конечно, не дали. Вчера, говорят, Ишты-Шмишты поругался из-за этого с командиром полка. А идти до станции предстояло километра три с вещами.

Уже подходя к КПП, встретили Казика Иванова с сумкой. Кинулись в последний раз к нему — нет ли писем.

— Тебе есть, — сказал Казик Алтыннику.

— От кого?

— Из Житомира.

— Возьми его себе, — махнул рукой Алтынник.

— Договорились, — засмеялся Казик и поманил Алтынника в сторону. — Слушай, там тебя на КПП баба какая-то дожидается.

— Какая баба? — насторожился Алтынник.

— Не знаю, какая. С ребенком. Говорит: жена.

— Вот... твою мать. — У Алтынника руки опустились. — Ребята, вы идите, — крикнул он остальным, — я сейчас догоню.

Подумав, он решил двинуться через дальнюю проходную, бывшую в другом конце городка. Но когда вышел за ворота, первый человек, которого он увидел, был Борис. В новом синем костюме, в белой рубашке с галстуком Борис разговаривал с часовым. Увидев Алтынника, Борис заулыбался приветливо и пошел навстречу. Алтынник опустил чемодан на землю.

— Ты чего здесь делаешь? — спросил он хмуро.

— Да это всё Людка панику навела. — Борис засмеялся. — Пойди, говорит, там покарауль, а то он, может, не знает, что мы здесь стоим. — Он повернулся в сторону главной проходной и, приложив ко рту ладонь, закричал: — Людка! Давай сюда!

Алтынник растерялся. Что делать? Бежать? Да куда побежишь с чемоданом? Догонят.

А Людмила с белым свертком, перевязанным синей лентой, уже приближалась.

— Не плачь, не плачь, — бормотала она на бегу, встряхивая сверток, — вот он, наш папочка дорогой. Вот он нас ждет. Не плачь. — Она перехватила сверток в левую руку, а правую, не успел Алтынник опомниться, обвила вокруг его шеи и впиалась в его губы своими. Не резко, но настойчиво отжал он Людмилу от себя, отошел в сторону и рукавом вытер губы.

— Чего это? — спросил он, кивая на сверток.

— «Чего», — хмуро передразнил Борис. — Не «чего», а «кто». Это человек.

— Это твой сынок, Ваня, — подтвердила Людмила. — Петр Иванович Алтынник. — Из свертка послышался какой-то писк, который, по всей вероятности, издал Петр Иванович. Людмила снова стала подбрасывать его и бормотать.

— Ну-ну, не плачь, Петенька, птенчик мой золотой. Твой папка тут, он тебя не бросит.

Алтынник прошелся вокруг чемодана.

— Вот что, Людмила, — сказал он негромко, — ты меня ребенком своим не шаржируй, потому что я не знаю, откуда он у тебя есть, и никакого к нему отношения не имею. Что касается всего остального, то я нашу женитьбу ни за что не считаю, потому что вы завлекли меня обманом в виде нетверезого состояния.

Он взял свой чемодан и решительно направился в сторону дороги, ведущей на станцию.

— Ой, Господи! Ой, несчастье! — запричитала и засеменила рядом Людмила. — Обманули! — закрича-

ла она неожиданно тонким и противным голосом. — Обманули!

Алтынник прибавил шаг.

— Петенька! — закричала Людмила свертку. — Сыночек! Обманул тебя папка! Бросил! Родной папка! Сиротинушка ты моя горемычная!

Алтынник не выдержал, остановился. Оглянувшись на проходную, там уже высыпали и с любопытством смотрели свободные солдаты из караульного помещения.

— Людмила, — сказал он проникновенно. — Я тебя прощу, оставь меня в покое. Ты же знаешь, что я тут ни при чем.

— Да как же — ни при чем, — подошел Борис. — Ведь ребенок весь в тебя, как вылитый. У нас вся деревня, кому ни показывали, говорит: капля воды — Иван. Да ты сам погляди. Людка, не ори, дай-ка сюда робенка.

Он взял у сестры сверток и развернул сверху. Алтынник невольно скосил глаза. Там лежало что-то красное, сморщенное, похожее скорее на недозрелый помидор, чем на него, Ивана Алтынника. Но что-то такое, что было выше его, шепнуло ему на ухо: «твой». И сжалось в тоске, и заныло сердце. Но сдаться для него сейчас — значило смириться и поставить крест на всем, к чему он стремился.

— Не мой, — сказал Алтынник и облизнул губы.

— Ах, не твой? — вскрикнула Людмила. — Вот тебе! — И Алтынник не успел глазом моргнуть, как сверток очутился в пыли у его ног. — Забери его, гад ненормальный! — закричала Людмила и побежала в сторону станции. — Борис! — позвала она уже издалека. — Пойдем отсюда, чего там стоишь?

— Я сейчас, — сказал Борис виновато и сперва нерешительно, а потом бегом кинулся за Людмилой. Догнал ее, остановил, о чем-то они коротко между собой поспорили и пошли, не оглядываясь, дальше.

С чемоданом в руках и с раскрытым ртом Алтынник долго стоял и смотрел им вслед.

— Уа! — послышался у его ног слабый писк. — Уа!

Он поставил чемодан и опустился на колени над свертком. Отвернул угол одеяла. Маленькое красное существо, у которого не было ничего, кроме широко раскрытого рта, закатывалось от невыносимого горя. И казалось непонятным, откуда у него столько силы, чтоб так кричать.

— Эх ты, Петр Иванович! — покачал головой Алтынник. — Ну, чего орешь? Никто тебя не бросает. Вот возьму, отвезу к матери, к бабке твоей. Ей делать нечего, пуцай возится.

19

Солнце приближалось к зениту. Поезд, к которому торопился Алтынник, давно ушел, а он всё еще был на полдороге. Жара стояла такая, как будто бы не сентябрь, а середина июля. Сняв ремень и расстегнув все пуговицы гимнастерки, спотыкаясь в пыли, Алтынник шел вперед и ничего не видел от слепящего солнца и пота, заливающего глаза. Всё чаще он останавливался, чтобы передохнуть. Во рту было сухо, в груди горело. Чемодан оттягивал правую руку, а сверток левую. Ребенок давно уже выпростал из узла свои маленькие кривые ножки, сучил ими в воздухе и нещадно орал, норовя выскользнуть целиком. Алтынник подбрасывал его, поправляя, и шел дальше.

В какой-то момент он обратил внимание, что ребенок перестал кричать, посмотрел и увидел, что держит его за голову. «Задохнулся», — в ужасе подумал Алтынник, бросил чемодан, стал трясти ребенка двумя руками и приговаривать:

— А-а-а-а-а.

Ребенок очнулся, закричал, и тут же из него по-

текло, да так много, как будто лопнул большой пузырь. Алтынник и вовсе растерялся, брезгливо положил сверток на траву возле дороги, а сам отошел и сел на стоявший в стороне чемодан. Ребенок продолжал над-рыватьея.

— Кричи, кричи, — сердито сказал Алтынник. — Кричи, хоть разорвись, не подойду.

Он отвернулся. Вокруг была голая степь, и уже далеко чернели искаженные маревом аэродромные постройки. Было пусто. Хоть бы одна машина показалась на пустынной дороге. Алтынник закурил, но в горле и без того першило, а теперь стало совсем противно. Он со злостью отшвырнул от себя папиросу. Вспомнил про ребенка, неохотно повернул к нему голову и обомлел. Большая грязная ворона мелкими шагами ходила вокруг свертка и заглядывала в него, скосив голову набок.

— Кыш ты, проклятая! — кинулся к ней Алтынник.

— Каррр! — недовольным скрипучим голосом прокричала ворона и, тяжело взмахнув крыльями, поднялась и полетела к стоявшему вдалеке одинокому дереву.

Ребенок, перед этим притихший, снова заплакал. Алтынник неохотно приблизился, осторожно двумя пальцами развернул одеяло, потом пеленки: увидел, что несчастье больше, чем он ожидал.

Преодолевая брезгливость, стал вытирать ребенка сухим краем пеленки, потом отошел в сторону и бросил ее на траву. Достал из чемодана новые, не разрезанные еще байковые портянки, стал заворачивать в них Петра Ивановича.

— Алтынник! — услышал он сзади, вздрогнул и обернулся.

На дороге с велосипедом в руках стоял майор Иш-

ты-Шмишты. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Алтынник вытянулся и встал так, чтобы загородить собой ребенка.

— Твой, что ли? — с сочувствием спросил майор. Положив велосипед на землю, он подошел, заглянул в сверток. — Ну до чего ж похож! — умилился он. — Просто вылитый.

Этим словам Алтынник одновременно и обрадовался и огорчился. А майор уже, как заправская нянька, хлопотал над ребенком.

— Кто же так заворачивает? — сокрушался он. — Это хоть и портянка, но ведь не ногу завертываешь, а ребенка. Вот смотри, как надо. Сперва эту ручку отдельно, потом эту. Теперь ножки.

И действительно, майор, не умевший толком одеть сам себя, упаковал ребенка так плотно и так аккуратно, как будто всю жизнь только этим и занимался. — Держи! — он протянул сверток Алтыннику, и тот принял его на растопыренные руки.

Так, с растопыренными руками, он стоял перед майором в нелепой позе.

— А где жена? — спросил майор, помолчав.

«Жена»! От этого слова Алтынника покорило. Ему захотелось объяснить майору, что никакая она не жена, и рассказать, как его, пьяного, привели в поселковый совет и совершили над ним неслыханное мошенничество, но, не найдя в себе таких слов, он только повел головой в сторону станции и сказал:

— Там.

— Ну, давай я тебе помогу.

Майор взял чемодан, повесил ручкой на руль, и они пошли рядом дальше.

И тут Алтыннику первый раз за этот несчастный день повезло. Сзади послышался шум мотора. Алтынник и майор оглянулись. По дороге, приближаясь к

ним, пылил шестнадцатитонный заправщик. Майор встал посреди дороги и поднял руку. Заправщик остановился. Из кабины с любопытством высунулся солдат, к счастью, незнакомый Алтыннику.

— Браток! — кинулся к нему майор. — Будь друг, подвези товарища.

— Пожалуйста, товарищ майор. — Шофер распахнул дверцу.

— Ну вот, Алтынник, видишь, как хорошо, — обрадовался Ишты-Шмишты. — Давай-ка ребенка, я подержу, а ты полезай в кабину.

Когда Алтынник устроился, майор подал ему чемодан. Шофер выжал сцепление и включил скорость.

— Подожди! — махнул ему рукой майор и влез на подножку. — Алтынник, ты вот что... — он вдруг замаялся, подыскивая слова. — Если тебе первое время будет трудно, напиши, может, я смогу как-то помочь, денжат немножко подкину, взаимобразно, конечно. Ты не стесняйся, я зарабатываю хорошо, мне тебе немножко помочь ничего не стоит. Так что пиши. Адрес и фамилию знаешь, а зовут меня Федор Ильич.

Алтынник хотел сказать «спасибо», но язык не повиновался, и опять, как тот раз в беседке, стали дергаться губы.

Майор соскочил с подножки и махнул рукой. Шофер тронул машину.

— Федор Ильич, — сказал он и засмеялся. — Твой командир, что ли? — Он скосил глаза на Алтынника.

— Ага, — сказал Алтынник.

— Чудной какой. — Шофер покрутил головой и засмеялся. — Сразу видно, что чокнутый.

Алтынник ничего не ответил и высунулся в окошко. Грузный майор сидел на таком хрупком для него велосипеде и старательно нажимал на педали. На Алтынника он не смотрел.

Шофер довез Алтынника до самой станции.

— Спасибо, друг, — проникновенно сказал Алтынник, выбираясь с ребенком из кабины.

— Ничего, не стоит. — Шофер подал ему чемодан, посмотрел и опять засмеялся. — Бывай здоров, папаша. Хлопнул дверцей, поехал дальше.

Людмилу и Бориса Алтынник нашел без труда. Они сидели в привокзальном скверике на траве, закусывали разложенными на газете пирогами и по очереди отхлебывали из открытой бутылки крошонов. Алтынник молча сел рядом, а ребенка положил на колени. Брат и сестра встретили его так, как будто ничего не случилось.

— Скушай пирожка, Ваня, — предложил Борис.

— Не хочу, — отказался Иван.

— Кушай, ты же любишь с грибами, — ласково сказала Людмила.

От одного только напоминания про эти грибы он почувствовал легкую тошноту. Он сглотнул слюну и очень спокойно сказал:

— Вот что, Людмила, я решил так. Не хочешь брать ребенка, я оставляю его у себя. Отдам матери, она сейчас на пенсию вышла, пускай побалуется.

Людмила жевала пирог и ничего не ответила, только посмотрела на Бориса.

— Тоже выдумал — матери. — Борис отхлебнул крошону, тыльной стороной ладони вытер губы и стряхнул с пиджака крошки. — Сколько твоей матери годов?

— А на что тебе ее года? — враждебно спросил Алтынник.

— Интересно, — сказал Борис. — Грудью она кормить его сможет?

Алтынник задумался. Насчет груди как-то он не подумал. Людмила, не сдержавшись, прыснула в ку-

лак, и, видимо, крошка попала ей в дыхательное горло. Выпучив глаза, она покраснела, стала задыхаться и кашлять, а Борис колотил ее по спине ладонью. «Может, подавится», — с надеждой подумал Алтынник, но, к сожалению, всё обошлось.

Разбуженный шумом, проснулся и заплакал ребенок.

— Дай сюда. — Людмила взяла сына к себе, положила на колени и вынула грудь. Грудь была белая, густо пронизана синими жилками. Вид ее подействовал на Алтынника точно так же, как пироги с грибами, — он отвернулся.

Посидел, помолчал. Потом встал, взял чемодан.

— Ну, ладно, — сказал он, не глядя на своих собеседников. — Не хотите, не надо, я пошел. И не спеша направился к зданию вокзала.

Но пройдя шагов десять, услышал он за спиной страшный нечеловеческий крик и оглянулся. С болтающейся снаружи грудью и зверским выражением на лице Людмила бежала к нему и выкрикивала какие-то слова, из которых он разобрал только три: «сволочь» и «гад несчастный». Алтынник побежал. Из боковой двери вокзала выскочил милиционер. Алтынник не успел увернуться, милиционер подставил ему ногу, оба растянулись в пыли. Чемодан от удара раскрылся, и из него вывалились на дорогу зимняя шапка, зубная щетка и мыло. Милиционер опомнился первым. Он насел на Алтынника и скрутил за спиной ему правую руку.

— Пусти! — рванулся Алтынник и тут же почувствовал невыносимую боль в локте.

— Не трепыхайся, — сказал милиционер, тяжело дыша. — Хуже будет. Вставай.

Алтынник поднялся и стал стряхивать свободной рукой пыль со щеки.

— Ага, попался! — злорадно закричала Людмила. — Заберите его, товарищ милиционер!

— Что он сделал? — строго спросил милиционер.

— Бросил! — Людмила спрятала грудь и завывала. — С маленьким ребеночком... с грудным...

— А-а, — разочарованно протянул милиционер, явно сожалея о том, что он зря участвовал в этой свалке. — Я-то думал. Это вы сами разбирайтесь.

Отпустив Алтынника, он отряхнул колени и пошел к себе.

Алтынник нагнулся над выпавшими из чемодана вещами.

С ребенком на руках подошел Борис. Нагнувшись, поднял зубную щетку.

— Помыть ее надо, — сказал он.

— Дай сюда! — Алтынник вырвал щетку и бросил в чемодан. Потом долго боролся с замком.

Людмила стояла рядом и тихонько подвывала точно так же, как она это делала у себя на станции в день женитьбы.

— Не вой, — с отвращением сказал Алтынник, — я с тобой всё равно жить не буду, и не надейся.

— И правильно сделаешь, — неожиданно поддержал Борис.

Алтынник опешил и посмотрел на него. Людмила завывала сильнее.

— Сказано тебе «не вой», значит не вой! — закричал на нее Борис. — Возьми робенка и иди на свое место!

Людмила растерялась, сразу притихла и, взяв ребенка, пошла туда, где перед этим сидела.

— Ссука! — сказал, глядя ей вслед, Борис и смачно сплюнул. — Ваня, — повернулся он к Алтыннику, — давай с тобой поговорим как мужчина с мужчиной.

— Давай валяй, — хмуро сказал Алтынник.

— Ваня, я тебя очень прошу, — Борис приложил руку к груди, — поедem с нами.

— Еще чего! — возмутился Алтынник и взялся за чемодан. — Я думал, ты чего-нибудь новенькое скажешь.

— Нет, ты погоди, — сказал Борис, — ты сперва послушай.

— И слушать не хочу, — сказал Иван и пошел к вокзалу.

— Ну, я тебя прошу, послушай, — Борис забежал вперед. — От того, что я тебе скажу, ты ж ничего не теряешь. Ну, не согласишься, дело твое. Но я тебе как другу советую: ехай с нами. Людка, она ж, видишь, не при своих. Она тебя всё равно не отпустит. Она тебе глаза выцарапает.

— Ну да, выцарапает, — усмехнулся Иван. — А вот видал. — Он поднес кулак к носу Бориса. — Врежу раз — через голову перевернется.

— Что ты! — замахал руками Борис. — И не вздумай! Хай подымет такой, всю милицию соберет, всю жизнь будешь по тюрьмам скитаться. Я тебе советую, Ваня, от всей души: ехай с нами. Поживешь пару дней для вида, а потом ночью сядешь на поезд — сам тебе чемодан донесу — только тебя и видели.

— Да брось ты дурочку пороть, — сказал Алтынник. — Куда это я поеду и зачем? У меня литер в другую сторону, меня мать ждет. У меня и денег столько нет, чтоб тратиться на билеты туда-сюда.

— Насчет билета не беспокойся, — заверил Борис. — Туда тебе билет уже куплен, и оттуда — за мой счет, вот даю тебе честное партийное слово. А насчет матери, так что ж. Отобьешь ей телеграмму, два дня еще подождет. Больше ждала. Ведь Людка, я тебе скажу, баба очень хорошая. И грамотная, и чистая. И в обществе себя может держать. А сумасшедшая. Влюбилась в тебя прямо до смерти, и хоть ты ей что хошь, а она долбит свое: «Хочу жить с Иваном и всё». Уж бывало, и я, и мать говорим ей: «Куда ж ты к нему набиваешься? Ведь не хочет он с тобой жить. Разве ж можно так жизнь начинать, если с самого начала никакой любви». — «Нет, говорит, я его всё одно заставлю — полюбит». Поехали, Ваня. Погуляешь у нас пару деньков, отдох-

нешь, и как только она чуть-чуть успокоится, садись на поезд и рви обратно.

Алтынник задумался. Скандалить тут, когда могут появиться знакомые солдаты из части, ему не хотелось. Ехать к Людмиле, конечно, опасно, но ведь в самом деле удрать он всегда успеет. В крайнем случае бросит чемодан, там ничего особенно ценного нет.

— Ну ладно. — Он перебирал еще в уме варианты, и по всему выходило, что потом ему удрать будет легче, чем сейчас. — Значит, деньги на обратную дорогу точно даешь?

— Ну сколько ж я буду божиться, — даже несколько оскорбился Борис. — Как сказал, так и будет.

— Ну гляди, — на всякий случай пригрозил Алтынник, — если что, всех вас перережу, под расстрел пойду, а жить с Людкой не буду.

21

Года четыре назад, будучи в командировке, попал я случайно на станцию Кирзавод. Ожидая обещанной мне машины, чтобы ехать в район, сидел я на деревянном крылечке избушки на курьих ножках, которая именовалась вокзалом, курил сигареты «Новость» и думал: где я слышал это название — Кирзавод.

Маленькая площадь перед вокзалом была покрыта асфальтом, а все дороги, которые к ней подходили, — сплошная пыль. Посреди площади — железобетонный постамент памятника кому-то, кого не то недавно снесли, не то, наоборот, собирались поставить. В тени постамента копошилась рыжая клуша с цыплятами, пушистыми, как одуванчики, а вокруг катались на велосипедах двое мальчишек лет по двенадцати и молодой милиционер в брюках, заправленных в коричневые носки.

Улица, пересекавшая площадь, была пустынна. Один раз проехал по ней маленький экскаватор «Бе-

ларусь» с поднятым ковшом, потом пробежал теленок с привязанными к хвосту граблями, а за ним в туче пыли ватага ребят от старшего дошкольного до старшего школьного возраста. Мальчишки, которые катались по площади, устремились на велосипедах туда же, за ними поехал милиционер, но потом раздумал, вернулся на площадь и продолжал трудолюбиво выписывать на велосипеде круги и «восьмерки».

Тут на ступеньку рядом со мной опустился какой-то человек, на которого я поначалу даже не посмотрел. Видимо, желая завязать разговор, он вздохнул, покашлял и сказал:

— Да-а, жара.

— Угу, — согласился я, подумав, что сейчас он попросит закурить. И действительно.

— Закурить не найдется? — спросил он, считая, что знакомство наше для этого достаточно упрочилось.

— Пожалуйста. — Наблюдая за милиционером, я протянул ему пачку.

— Ух ты, с фильтром! — удивился он. — А две можно?

— Можно.

— Спички я тоже дома забыл, — сказал он, сознавая, что дошел почти до предела. И потянулся ко мне прикуривать. Тут я первый раз взглянул на него и узнал:

— Алтынник!

И, конечно, сразу вспомнил, где я слышал это название — Кирзавод.

— Не узнаешь? — спросил я.

— Что-то не признаю, — пробормотал он, вглядываясь в мое лицо.

Я назвал себя.

— А-а. — Он успокоился, но никакого восторга не проявил. — Я у тебя еще сигаретку возьму. На вечер.

— Бери, — сказал я. — Бери все. У меня еще есть.

— А цельной пачки нет?

В чемодане нашлась и «цельная».

Потом мы стояли в «чапке», маленьком магазине напротив вокзала. Толстая продавщица в грязном халате налила нам по сто пятьдесят и по кружке пива. Я свою водку выпил отдельно, а Алтынник смешал. Мы стояли возле окна, привокзальная площадь была перед моими глазами и пропустить машину я не боялся.

Толковали о том, о сем. Вспоминали свою службу, майора Ишты-Шмишты, старшину де Голля и прочих.

О теперешней его жизни я Алтынника особенно не расспрашивал, но кое-что всё же узнал.

Приехав на станцию вместе с Людмилой и Борисом, он задерживаться и не думал, а собирался усыпить бдительность Людмилы и удрать, как наметил, но Людмила была начеку. Днем устраивала такие скандалы, что нечего было даже и пытаться, а ночью просыпалась от каждого шороха. Он всё выбирал момент, выбирал, пока она снова не забеременела. Пробовал заставить ее сделать аборт — куда там. И податься теперь вроде бы некуда. Кто возьмет мужика, у которого треть зарплаты на алименты высчитывают? Да и к первому ребенку за это время привык.

— А сколько у тебя всего? — не удержался я и спросил.

— Трое, — застеснялся Алтынник. — Не считая, конечно, Вадика.

— А Вадик вместе с вами живет?

— Нет, в Ленинграде. Институт кончает железнодорожный, — сказал он не без гордости.

— А кем ты работаешь?

— Кем работаю? — Он помедлил, не хотелось ему говорить. А потом бухнул даже как будто с вызовом: — Сторожем работаю. На переезде. Поезд идет — шлагбаум открываю, ушел — закрываю. Возьми еще по кружке пива, если не жалко.

Только мы сменили на подоконнике кружки, дверь

в магазин распахнулась и на пороге появилась женщина в красном сарафане. Живот под сарафаном у нее выпирал, как футбольный мяч, на лице были характерные пятна, глаза блестели.

— А, вот ты где! — закричала она на Алтынника. — Я так и знала, что ты здесь, гад несчастный, детишкам обути не во что, а он тут последние копейки пропивает!

Алтынник весь как-то съёжился, как будто стал меньше ростом.

— Да ты что, Людмила, — попробовал он возразить. — Я ж вот товарища встретил. В армии вместе служили. Познакомься.

— Ну да, еще чего не хватало, знакомиться с каждым пьяницей.

— Ну брось ты позориться, Людмила, — упрасивал Алтынник. — Это ж он меня угощает.

— Так я тебе и поверила, — не отступала Людмила. — Да во всем Советском Союзе, кроме тебя, таких дурачков нет, чтоб чужих людей угощали.

— Людмила, правда, он платил, — бесстрастно подтвердила толстая продавщица.

— Ты еще тут будешь, сука противная, — повернулась Людмила к ней. — Сама только и знаешь, что на чужих мужьев глаза свои грязные таращишь.

И не успела продавщица ответить, а я опомниться, как Людмила выволокла мужа на улицу, и уже оттуда слышался ее противный и дикий визг на всю станцию.

Когда я вышел наружу, они были уже далеко, Алтынник, пригнув голову, шел впереди, Людмила левой рукой держала его за шиворот, а маленьким кулачком правой изо всей силы била по голове. По другой стороне улицы на велосипеде медленно ехал милиционер в брюках, заправленных в коричневые носки, и с любопытством наблюдал происходящее.

Из книг „Итак, итог” и „Вне России”

ПРАВЫЙ БЕРЕГ ДНЕСТРА

Вот здесь обрывалось всеилие Рима
Над мутной стремниной Днестра.
И древние страхи плясали незримо
Вокруг кочевого костра.

Скрипя, проползают телеги столетий,
Сминая народ, как ковыль.
И носится ветер, и бесится ветер,
Взметая могильную пыль.

Деревни босые, да избы косые,
Да лунный туман над рекой.
Отсюда Вертинский смотрел на Россию,
Давясь эмигрантской тоской.

Меняются вновь рубежи и границы,
Народ вытесняет народ.
А Днестр струится, и вечно стремится,
И к морю обломки несет.

Цекиновка (Украина), 59.

ФОНАРИ

Нине Брилъ

Фонари заливают потоками ртути
Сизо-синий асфальт, отогнав темноту.
Фонари заломили, раскинули руки,
Как стальные распятъя на крымском мосту.

Вот и полночь прошла. Рестораны ослепли.
Догорели рекламы. Погасли кино.
Но стоят фонари, одинокие стебли,
Чтобы не было так безысходно темно.

Чтобы древняя жуть в городах не воскресла,
Чтобы хаос не хлынул в пределы Земли,
Так, до самой зари, часовыми прогресса
На границе потёмок стоят фонари.

Москва, 61.

КАНАЛ ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА

Я не стирал бы с карты это имя.
Я не стирал бы грязное бельё.
Пусть потомки помнят нас такими,
Какими нас взрастило битиё.
Какими нас эпоха сформовала,
Какими мы, не веря и не ждя,
Ложились в грязь у этого канала
По мании, по манию вождя.
Просторы детонировали гулко,
Упрямый грунт от грохота размяк.
Что там Некрасов со своей чугункой?
Не та задача и не тот размах!

*Из поэтоочерка № 1 «Север без сияния».
Ленинград, 63.*

СТОЛИЧНЫЕ ТУРИСТЫ

По путанице улиц
Блуждаем три часа.
Так вот он, город Углич,
Старинная краса!
Столичные туристы,
Разыскиваем след.
И отступает пристань
От нас на триста лет.
История, как паперть,
Лежит у наших ног.
Здесь дух столетий заперт,
Застыл кровоподтёк.
Российский горький корень,
Кромешные века.
Молчанье колоколен.
Булыжная тоска.
Благоухает сыром
Средневековый хлам.
На вынос — керосином
Торгует Божий храм.
Июльский полдень липнет
К безмолвию руин.
А на дощечке — Либкнехт,
Почётный гражданин.
Столичные туристы,
Циничные умы,
Столичные туристы,
А кто такие мы?

Мы — тоже богомазы
Уже других икон,
Мы — брызги биомассы
На паперти времен.

Углич, 66.

* * *

Я сижу за чекушкой.
 За окном — этажи.
 Размоталась катушкой
 Эта жизнь, эта жизнь...
 Всё отчётливей, резче,
 Проступают вдали
 Все разлуки и встречи,
 Все бывшие любви.

За московской чекушкой,
 За грузинским чайком
 Я гляжу равнодушно
 На пейзаж за окном.
 Не Якир и не Киров,
 Не попав на прицел,
 На обочине мира
 Я под старость присел.

Я сижу за чекушкой
 И в окошко гляжу.
 Город скученный, скучный,
 Всё этаж к этажу.
 Путь мой горек и долог
 По таким городам.
 Ни за рубль, ни за доллар —
 Ничего не продам.

Москва, 66.

* * *

Надо мною в чёрно-синем небе
 Крупные проколы горьких звёзд.
 За моим окном — пустыня Негев,
 Прежних жизней призрачный погост.

Черная пустыня в звёздном свете,
 Кладовая мертвого песка.
 Злая пыль сухих тысячелетий,
 Едкая, восточная тоска.

Ну и пусть пустыню не осилю,
Ну и пусть душа моя пуста.
Зря зовет меня в мою Россию
Синяя полярная звезда.

Никуда отсюда не поеду,
Потому, что горек белый свет,
Потому, что русскому поэту
На земных просторах места нет.

Из поэтоочерка № 7 «Хамсин».

Димона (Израиль), 72.

Очерки современности

Шалом Иосман

Рейс 265

17 мая 1971 г., Москва

Сержант испытующе посмотрел мне в глаза. Перевел взгляд на фотографию, приклеенную к визе. Посмотрел на меня еще раз холодным, ничего не выражающим взглядом. Словно сомневаясь, оторвал контрольный корешок. — Проходите!

Поворачиваясь, закрипела вертушка. Я шагнул вперед. За мной остался Советский Союз.

Через минуту, взревев моторами, самолет поднялся в воздух.

— Уважаемые пассажиры! Наш самолет совершает рейс 265 по маршруту Москва — Вена, — услышал я голос стюардессы.

К чувству радости примешалась горечь расставания, отчаяние вытесняла жажда деятельности.

Далеко внизу оставалась земля, на которой я родился, на которой вырос. Земля, чьи необъятные просторы я не смогу уже разлюбить, людей которой никогда не забуду.

Зовется она РОССИЯ.

1 сентября 1964 г. Вильнюс

Итак, я начинаю вести дневник. Собирался я это сделать давно, еще когда в школе учился, но как-то руки не доходили. Сегодня первое сентября. С сегодняшнего дня я студент политехнического института.

Отрывки из книги.

И этот день я считаю началом своей юности. Какой она будет — я не знаю. Как сложится моя дальнейшая жизнь, я тоже не знаю. Разве можно знать, что будет завтра? Тем более, если живешь в такой стране, как Советский Союз. Лет мне пока немного, нет еще восемнадцати. Птенец, скажут. Пожалуй, верно. Я еще ничего не видел и толком еще ничего не знаю. Разобраться во всем очень трудно. Когда-то мне казалось, что лучшие страны, чем Советский Союз, — нет. Но сейчас, когда я задумываюсь над всем тем, что вижу вокруг, просто зубы скрипят от злости. Почти на тридцать лет навязали народу идола, именем которого убивали и которого заставляли чтить и боготворить под страхом смерти. А теперь? Тот же Хрущев, разнесший Сталина в пух и прах, создал себе культ личности не меньше сталинского. Только называется он просто народным. Никита Сергеевич разъезжает по деревням, а больше по заграницам, с трибуны вещает народу сладенькую ложь вперемешку с матом. Говорят, что в ООН Хрущев даже туфлей по столу стучал. Не верится как-то. Все-таки он глава правительства, и позволить себе такое...

Ну, вот. Не успел я начать свои записи, а уже отвлекся. Ведь я, кажется, решил окончательно: ни слова о политике, ни слова о политических деятелях. Героями моего дневника будут люди — люди страны, в которой живу и я. А целью этих записей будет рассказать правду. Я знаю, что грозит мне в случае, если кто-нибудь узнает о существовании этого дневника. Правды ведь нельзя говорить даже самому себе, и даже думать о ней, о правде, тоже запрещено. «Мы живем в прекрасной стране, и всё, что есть — всё хорошо и всё правда», — твердят нам. Но я буду писать свою правду. Горькой она будет, я знаю. Но не зря говорят в народе — *лучше горькая правда, чем сладкая ложь*.

8 октября 1964 г. Вильнюс

Сегодня мне восемнадцать лет. По советским законам я уже совершеннолетний и имею право голоса. Я имею в виду право голоса на выборах, когда за мной придут агитаторы и потащут в выборный участок. А не пойдешь в выборный участок, придет милиция и утащит тебя в участок милицейский. В общем, с сегодняшнего дня я обрел голос, только подавать его нельзя. Так держи его при себе, иногда говори разные слова, приятные закону, можешь даже петь любимые песни Ильича.

«А если я не захочу говорить разные слова, приятные закону, если я не захочу петь любимые песни Ильича, а захочу говорить всё, что думаю, что тогда?» — «Тогда держись, лишим голоса», — говорит свирепый взгляд любого милиционера на улице. «А как лишите? Я человек, меня нельзя лишить голоса». — «Можно, — смеется милиционер, — в тюрьме тебя, щенка, сгноим, язык вырвем, или расстреляем, ха-ха-ха».

— Встать! — слышу я команду. Нет, это не милиционер. Это Казюкас, старший грузчик, мой непосредственный начальник.

— Чего расселся! — кричит Казюкас. — Кто за тебя работать будет, я или он?

Казюкас показывает на портрет Ленина. Портрет висит на стенке. Стенка заставлена ящиками. Видна только могучая ленинская лысина.

— Казюкас, обед еще, — говорю я.

— Пожрал и за работу. А ну, па-строим коммунизм, — приговаривает Казюкас, взваливая на плечи мешок со стружками.

Я работаю на складе. Грузчиком. Место, где я работаю, называется фабрикой игрушек. Приняли меня грузчиком. Сразу. Грузчиками евреев принимают. С охотой. А как же? Не много таких, евреев-грузчиков. А я еврей-грузчик, мне это нравится.

— Почему все жида не грузчики? — спрашивает

меня Казюкас. — Почему все жидаы — инженеры, врачи и спекулянты?

— Не знаю, Казюкас, — отвечаю. — Я грузчик.

— Ты не жид, — хочет польстить мне Казюкас. — Ты хороший. Жалко, что еврей.

Казюкас тоже хороший, жалко, что сумасшедший. Нет, я не шучу. Казюкас сумасшедший. У него справка. В ней так и написано: «Удостоверяется, что Казюкас сумасшедший». Шутка? Нет, правда.

Я работаю грузчиком. С этого начинается моя трудовая жизнь. Сейчас получаю восемьдесят рублей в месяц. Когда кончу институт и стану инженером, буду получать сто. Казюкас получает сто двадцать. Он старший грузчик, неважно, что сумасшедший.

Обед кончился. Остальных грузчиков еще нет.

— Ляонас, сука, жрет за троих, — погибает Казюкас один палец. — Альгис запил, — погибает Казюкас другой палец. — Валька с....., — смеется Казюкас и погибает третий палец. — Валька — учетчица, ей можно. Кто работает? Дурак Казюкас и ты, жид. Но хороший, ха-ха-ха.

Казюкас смеется. Ему смешно. Мне не смешно. Мне обидно. Обидно быть хорошим жидом. Лучше быть плохим евреем. В СССР все евреи — жидаы. Жидаы есть хорошие и есть плохие. Казюкас говорит, что я хороший жид. Я хочу быть плохим евреем. В Израиле. А это так несбыточно — стать плохим евреем. Или просто евреем, может, я и не такой плохой уже. Казюкас говорит, я хороший. Жид. Еще Казюкас говорит вот что:

— Если бы не твои жидаы, Казюкас был бы министром, — он становится в позу. — Министр независимого литовского правительства. А так я сейчас кто? — Казюкас смотрит на меня, вращая глазами. — Сумасшедший. Почему Казюкас сумасшедший? Потому что жидаы революцию в Литве сделали.

— С литовцами вместе, — говорю я Казюкасу.

— Литовцы — дураки, жидов послушались. А те-

перь Казюкас — грузчик.

— Ты — старший грузчик, Казюкас, — подлизываюсь я к нему.

Казюкас доволен. Мешки со стружками уже вытащены во двор. Ляонаса, Альгиса и Вальки нет. Они опаздывают уже на полчаса. Казюкас смотрит на часы и качает головой.

— Поработаешь с мое, и ты старшим станешь, — гладит меня Казюкас по голове. — Сколько тебе лет?

— Сегодня восемнадцать, — покраснел я.

— Поздравляю. — Казюкас жмет мне руку.

— Спасибо, — еще больше краснею я и думаю: «Хороший Казюкас. Жалко, что сумасшедший».

5 июля 1965. Симферополь

В Симферополе я оказался неожиданно-негаданно. Распроцавшись со складом игрушек и сдав экзаменационную сессию в институте, я решил немного отдохнуть. Лето в разгаре, друзья постепенно разъезжаются: кто отдыхать, а те, кто учатся на дневном отделении, на летнюю практику в колхозы. Практика эта обязательная, и уклонение от нее влечет за собой исключение из института.

Совершенно случайно я встретил в городе Лёньку. Это мой давний друг. Мы знакомы с ним с детства. Когда-то и он, и я увлекались коллекционированием почтовых марок и на этом поприще подружились. В последние годы мы виделись нечасто. Лёнька учится в нашем институте, но на дневном отделении и на курсе выше.

Встретил я его в спортивном магазине. Лёнька стоял у прилавка и выбирал рюкзак.

— В поход собрался? — спросил я его.

— В Крым еду, — ответил он.

— А практика?

— Это и будет практика. Группа филологов уни-

верситета едет в один крымский совхоз, будет виноград убирать. Я договорился в нашем комитете комсомола. Возьму в совхозе справку, и мне засчитают практику.

— Слушай, а мне можно с вами поехать?

— Не знаю, — засомневался Лёнька. — У меня, правда, тоже нет билета на поезд. Должны только вечером достать.

— Попроси и для меня, если сможешь.

— Ладно, позвони вечером, — сказал он. — Выезжаем сегодня.

— Как? Прямо сегодня? — удивился я.

— Ну да, что такого?

— У меня денег нет, что делать?

— Какие к чёрту деньги! — засмеялся Лёнька. — Достань шестнадцать рублей на билет, и всё. В совхозе бесплатно есть будем, и еще, говорят, платить нам будут. Море рядом, кипарисы. Давай, старик, доставай шестнадцать рэ* и поехали.

До вечера я только тем и занимался, что уговаривал мать отпустить меня в Крым и дать шестнадцать рублей на билет. Но увы! Моя мать никак не соглашалась отпустить меня одного. Она еще считает меня ребенком, неспособным даже сделать себе бутерброд.

Тихонько собрав вещи и одолжив у соседки шестнадцать рублей, я уже вечером был на вокзале.

— Все в порядке, — обрадованно встретил меня Ленька. — Едем. Билеты папаша Наташки Соловьевой достал.

— Каким образом? — не понял я.

— Через Қа-гэ-бэ, — шепнул мне Ленька на ухо. — Когда-то он работал в органах госбезопасности, еще при Бери, а теперь пользуется этим. Давай знакомься со всеми.

* Рублей (разг.). — Ред.

Кроме нас с Ленькой, в группе едут еще два парня, они тоже из нашего института. Краснопивцев и Зиновьев учатся на радиотехническом факультете и, отделившись от практики в колхозе, едут в крымский совхоз.

— Засчитают как практику, мы договорились, — объяснил Краснопивцев. — Виноград, парни, лучше картошки. И винчишка, мать его, попьем вдоволь, — потирает он руки. — Попьем, товарищ Зиновьев?

— А как же, — отвечает его друг. — Попьем обязательно.

Группа студентов, с которой мы едем, изучает русскую литературу в университете. С некоторыми из них я знаком, встречался на литературных вечерах в кафе-читальне.

Погрузившись в вагон, мы помахали рукой вильнюсскому вокзалу и поехали. Приехать мы должны в Симферополь через два дня. Там нас будет ждать машина и повезет в совхоз.

Ехали мы довольно весело. Все время пели, спорили о поэзии Иосифа Бродского. Я его, правда, мало читал, лишь несколько произведений из Самиздата, но девчонки его боготворят. С ними говорить о литературе просто невозможно. Филологи, ничего не поделаешь. Одни из них горячо отстаивают позиции советской литературы, клеймя позором и Бродского, и Мандельштама, и даже Блока. А другие до хрипоты защищают и Бродского, и Мандельштама и готовы лезть в драку при любом плохом слове в адрес Блока. Так вот, ругаясь, мы добрались до Чернигова. Поезд остановился на полчаса, и мы вышли на перрон размяться. К вагону подбежали старушки, предлагают яблоки, сливы, огурцы.

— Бабуля, а где дом-музей Ильи Муромца? — не то в шутку, не то всерьез спросил Ленька одну торговку.

— А не знаю, сынок, не знаю. А зачем тебе у

Илюхи того огурцы покупать, ты у меня возьми. Крепкие огурчики, соленные.

Крепкие соленные огурчики мы вспоминали вплоть до Симферополя. Забыв о Блоке и Бродском, смеялись при воспоминании о курьеze в Чернигове.

— Если к Илье Муромцу за огурцами посылают, то чем тогда Алеша Попович торгует или Никита Добрынич? — смеется Ленька.

— Самогоном, — хохочут Краснопивцев и Зиновьев.

Странные они парни, однако. Даже имен их не знаю, все называют их по фамилии. Говорят Краснопивцев и Зиновьев только о выпивке, литературные споры их не интересуют. Исправно бегают в ресторан. «Острограммиться», как они говорят. За эти два дня, что мы ехали, они так и не протрезвели. Девчонки уже начинают жалеть, что взяли их с собой.

— Приедем в совхоз, мы вас в ежовые рукавицы возьмем, — угрожают они им.

Те только смеются.

— Станция Симферополь, — объявил утром проводник.

Мы выходим на платформу.

— Солнце, — улыбаются девчонки. — А в Вильнюсе дождь.

— Черное море недалеко, — радуемся мы. — Скорее бы добраться, искупаться хочется.

— Красное вино, — предвкушают выпивку Краснопивцев и Зиновьев. — Подешевле литовского, наверное.

Машина нас должна ждать на автобусной станции. Но прождали мы ее день, ночь и еще день. Описывать это время не буду. Видели мы мало что, так как решили в город не отлучаться: вдруг машина приедет?! Но машина из совхоза так и не пришла.

— Поедем автобусом, — решили мы.

И взяв билеты до Качи, мы двинулись в путь.

Порядком устали за эти дни. Дорога, ночевка на автобусной станции (мы спали на улице, прямо на рюкзаках). Едем мы в автобусе тихо.

Вдруг Ленька разразился громким смехом. Мы даже вздрогнули, до того это было неожиданно.

— Ты чего? — спросил я его.

— Вот это шутка, — смеется он. — Сколько лозунгов по дороге натыркано, видел?

— Ну и черт с ними, что в том смешного?

— Только что проехали один. На нем написано: «Догоним и перегоним США по производству мяса, молока и масла на душу населения». А сразу же за ним другой: «Не уверен — не обгоняй». Это для кого — для шоферов или для правительства?

Сонное настроение как рукой сняло. Девчонки даже рвутся из автобуса посмотреть на это парадоксальное соседство. Только Краснопивцев и Зиновьев не смеются.

— Насчет правительства шутки брось, — говорит Зиновьев Леньке. — В другом месте говори, не при мне.

— Стукачи они, что ли? — тихо спрашиваю Леньку.

— Дураки, — отвечает он. — И пьяницы. Но трепаться при них не стоит, могут и застучать.

На безлюдном перекрестке мы выгружаемся из автобуса. Часа два ловим попутную машину в совхоз. Где-то около полуночи влезает в кузов самосвала и еще через какой-нибудь час останавливаемся у въезда в совхоз. Над воротами висит кумачовое полотнище: «Качинский образцово-показательный фруктово-винодельческий совхоз».

— Приехали, — говорит шофер.

Мы прыгаем на землю. Хочется спать, но когда еще мы ляжем в постель? Пока Ленька и Краснопивцев ушли искать совхозное начальство, я уселся под фонарем и записываю свои первые путевые заметки.

10 июля 1965 г. Качинский совхоз

— Безлошадные мы, как есть безлошадные.

На ступеньках дома, к которому нас привела комендантша общежития, сидит парень. Одет он в грязную оранжевую майку и рваные брюки. Он уже изрядно пьян.

— Обчистили, — плачет он. — Обчистили Лешку, как липку, Лешку обчистили, — он грозит в сторону кулаком. — Все, все сто рублей забрали. Шулеры они, не игроки. Пропал теперь Лешка, как есть пропал. Как маманя-то проживет? Ведь умрет она с голодухи на шестнадцать карбованцев пенсии. А Лешка, Лешка-подлец в карты все саданул. Безлошадные мы теперь, как есть безлошадные.

Это было в ту самую ночь, когда мы приехали. Ленька и Краснопивцев нашли комендантшу общежития, и она привела нас в ленинскую комнату. Больше свободных мест в общежитии не было.

— Здеся вот на полу и располагайтесь. Эту ночь переспите, а поутру что-сь придумаем.

С улицы доносится крик безлошадного Лешки.

— Хватит, Лешка, — кричит он. — Будем эту жизнь кончать.

— Не обращайтесь внимания, — улыбается комендантша. — Пьяный он, зарплата сегодня в совхозе была. А Лешка в карты проигрался, вот и скулит теперича.

Утром мы узнали, что Лешка перерезал себе вены, и в тяжелом состоянии его увезли в больницу. Так начался наш первый день в совхозе.

— Паспорта давайте, — объявила комендантша, — и к директору совхоза идите оформляться.

«Директор тов. В. Кожин» — прочитали мы табличку на дверях кабинета. Стучимся.

— Входите, — доносится из-за двери. Входим.

За письменным столом сидит сам товарищ В. Кожин, директор. Вдоль стен кабинета расставлены длин-

ные деревянные скамейки. В углу — засиженный мухами бюст Ленина, на стенке висят сообразительства и график выполнения плана.

— Студенты, значит, — улыбается директор. — Из Вильнюса, значит? Что ж, рад гостям, рад. Как доехали?

— Благополучно, — отвечает Ленька с улыбкой.

— А чего вы смеетесь? — не понимает директор. — Стряслось что в дороге?

— Нет, — говорит Наташа Соловьева. — Но вы же в письме обещали нас встретить.

— Забыл, товарищи студенты, забыл, — все улыбается директор. — Каюсь, простите. Ну, а теперь поговорим серьезно. Что за работа будет, знаете?

— Нет, — хором отвечаем мы.

— Будете виноградные лозья подвязывать, сорняки полоть, а в конце лета и виноград собирать. Каждая грядка — сто метров длиной. Пять грядок подвяжете — два рубля получите. Фрукты можете есть, сколько влезет, а вот чтоб вино не воровали.

— Откуда не воровали? — загорелся Краснопивцев.

— С завода. В совхозе винный завод есть, сухое вино мы изготавливаем. Вот откуда чтобы не воровали. В магазине можете покупать, ваше дело. Питаться будете в столовой, вместе с рабочими. Вот, что с ночлегом делать, ума не приложу. Ребят, правда, могу в отдельную комнату поселить, есть одна. Но девушкам придется спать в красном уголке. Выделим матрасы, постель. Как, девушки, согласны?

Девчонки молчат. Их как-никак шестнадцать душ, и жить всем в одной комнате в течение двух месяцев им не очень хочется. Но выбора нет, не обратно же ехать.

— Молчание — знак согласия, — говорит директор. — Сегодня отдыхайте, а завтра к четырем утра на работу.

— К четверем? — удивляемся мы. — Так рано? Это ведь ночь еще.

— Это в Литве ночь, а у нас в четыре уже утро, — смеется директор. — Зато весь день будете свободны. Можете гулять, в море купаться, словом, делайте все, что хотите. Только вино не воровать. Это к ребятам в первую очередь относится, — погрозил он нам пальцем.

От директора мы сразу же побежали к морю. Спускаемся с круглого обрыва и с разбегу кидаемся в воду. Вода в Черном море не то что в Балтийском. Очень соленая и теплая. Как чай, — говорит Ленька.

Вдоволь накупавшись, мы идем в столовую обедать. Маленькие шницели, наполовину из хлеба, щи и превосходный компот из разных фруктов. Больше в меню ничего нет. После обеда лежим в комнате и отдыхаем, а под вечер снова идем на море. Шторма нет, и рокота волн почти не слышно. Допоздна купаемся, а потом гуляем по совхозу. Встретили нашу комендантшу.

— Я бы вам не советовала по совхозу в такую темень гулять, — говорит она. — Народ наш дюже хулиганистый. Недавно Генку-маляра, со стройки, ножом пырнули. Сторожа кольями побили — в сад он молодежь не пустил. А вы новые, могут вам прописку устроить. Сидите лучше дома и книжки читайте.

Немного напуганные таким заявлением, мы пошли в общежитие. Время позднее, ложимся спать.

Точно так же прошли и остальные дни. Утром в полчетвертого нас будит Людка. Она из Риги, работает в совхозе четвертый год. Говорит, из дома сбежала. Людку мы зовем будильником. Людка-будильник входит к нам в комнату и, стянув с нас одеяла, кричит:

— На работу, граждане мужчины. Нечего спать, вечер скоро.

— Вечер, — ворчим мы, недовольные ранним подъемом. — Утро еще не наступило.

— Наступит, — смеется Людка. — Кончите работать, утро и наступит.

Так оно и есть на самом деле. Кончаем мы работу в одиннадцать. Семь часов ходим вдоль стометровых грядок и подвязываем лыком опавшие лозья. Больше, чем пять грядок, за семь часов не сделаешь, это верно рассчитано. Чтобы побольше заработать, совхозники приводят на поле малолетних детей, они тоже подвязывают виноград. Работа эта не тяжелая, только изнурительная. Мы все время на солнце. Постоянно хочется пить, а воды холодной нет. Цистерна хоть и стоит в тени, но вода теплая и с привкусом железа. Жара больше тридцати. Я обгорел, и начала слезать кожа на спине. Теперь я прикрываюсь майкой. Но ничего страшного, работать можно. Тем более, что все остальное время, с одиннадцати, мы свободны.

16 июля 1965 г. Качинский совхоз

Играет оркестр: аккордеон, барабан и металлические тарелки. Барабанщик и тарелочник стучат так громко, что аккордеона и не слышно. Но это танцующих не волнует. Все мертвецы пьяны и давно уже не реагируют на музыку. Если так, конечно, можно назвать какофонию, создаваемую тремя моряками.

Сегодня в совхозе вечер отдыха молодежи. И специально для такого случая из Севастополя пригласили оркестр. Зная, что народ в совхозе задиристый, мы сейчас немного побаиваемся. А вдруг и вправду захотят нас прописать? Мы уже две недели в совхозе, и за это время местные ребята не раз порывались посчитать нам ребра, а девчонкам — объяснить в любви. Оленьке Пшенисновой едва удалось избежать такого «объяснения». Если бы заезжий шофер из Качи не услышал ее крика с сеновала и не прибежал на помощь, то «объяснение в любви» состоялось бы наверняка. А так совхозному донжуану пришлось убраться не солоно хлебавши, поспешно натягивая штаны. Словом, комендантша была права: народ в совхозе хулиганистый.

Но сегодня что-то тихо. Может, потому, что моряки

приехали, а, может, дружинников побаиваются. Дружинники тоже пьяны, но на ногах еще держатся. Разгуливают по танцплощадке, гордо подняв голову, в руках короткие деревянные дубинки, а чуть повыше локтя повязка: «Дружинник». Но я думаю, что с нами сегодня не задираются потому, что с нами Галя и Нина Кожины, дочери директора совхоза. Галя — высокая, стройная и почему-то грустная. А Нина — ей полная противоположность: ростом мала, кругла, словно бочонок, и все время смеется.

Надо сказать, что сегодня и мы порядком пьяны. Вино мы с завода не ворует, покупаем в магазине. Кроме хлеба, вина и водки, там ничего нет. Хлеб бывает не всегда, но водка не переводится.

Пьяны же мы сегодня потому, что побывали в гостях у директорских дочек. Сам Кожин уехал в Севастополь, и Галя с Ниной пригласили нас в гости: Краснопивцева, Зиновьева, Леньку и меня. Квартира как квартира, три комнаты, скромная мебель.

— Не обращайтесь внимания, ребята, — засмущалась Галя. — Это ведь не наша квартира. То есть наша, но мы здесь только летом живем. А отец все время. Мы ведь севастопольские. Вот приедете к нам в город, там ахнете. Не хуже американских миллионеров живем.

Кожин, конечно, с завода вино не ворует.

— Отцу на пробу приносят, — говорит Нина, выставляя на стол трехлитровую банку вина.

После хлебных шницелей в совхозной столовой, мы смотрим сейчас на «сайру», колбасу и котлеты, как на пищу богов. Поужинав, мы принялись за вторую банку вина. И через полчаса, докончив ее, мы пошли на вечер отдыха молодежи.

— Ниночка, как папа? — подлизываются к ней дружинники. — Слышали, что заболел он вроде.

— Выздоровел, — смеется Нина. — Спиртомицин принял, и всё как рукой сняло.

— Вот и я говорил ему, — смеется усатый дружинник, — там, где градус, болезни ходу нет.

— Оттого вы всегда здоровы, наверное, Матвей Степаныч? — подковырнула его Нина.

— А то как же? Без нее, милой, и болеть будешь, и дела не идут. Голова, одним словом, не варит. А так, выпьешь штоф, и все в норме.

— Вы же секретарь парторганизации, Матвей Степаныч, — укоряет его Нина. — Вам бы пример подавать надо, не пить, а вы сами — не могли без милой.

— Ладно, Ниночка, не гневи старика, а то я тебя сейчас вот этой штукой ка-ак...

Матвей Степаныч легонько стукнул Нину деревянной дубинкой.

— Вы что, ошалели, Матвей Степаныч? — закричала она. — Я отцу пожалуюсь, что вы пьяный по селу ходите и еще палкой бьетесь.

— Я же шучу, Ниночка, — стал оправдываться парторг. — Разве я кого ударю? Свои ведь, односельчане. Дубинки мы так, для острастки носим. Вдруг волки нападут, а?

Дружинники засмеялись нарочито громко, желая поддержать парторга.

— Будет, Матвей Степаныч, не мешайте отдыхать, — заговорила, наконец, Галя. — Лучше вот Маринку домой отнесите, а то лежит под забором, словно бревно. Стыдно, секретарь комсомольской организации, как-никак.

— А и верно, где это она так упилась? — направился к Марине парторг.

Марина, крупная девица с милым, но уже испытанным лицом, лежит сейчас под забором в бесчувственном состоянии. Пьет она каждый вечер. Говорит, тоску топит. Был у нее парень, моряк из Севастополя. Походил к ней полгода, а потом бросил. Вот комсомольский вожак и запил с тех пор.

— Э-эх, комсомолия, — приподнимает ее Матвей

Степаныч. — Молодо-зелено, пить не велено. Литр, наверное, выпила, не больше, и вот тебе: словно дохлая. Если пить, так с умом. А где у теперешней комсомолии ум? В заднем месте, небось? Вот мы в двадцатые годы...

— Завяжи, Матвей, осточертел ты нам с двадцатыми годами, — прерывает его другой дружинник.

— Да что, Володя, я ничего, я так, вспомнил только. Вот и Маринка очнулась. Ну, что с тобой, дуреха? Встань, покажись молодежи. Э-э, что с ней говорить, раньше утра и слова не промолвит. Давай-ка вождя совхозных сосунков домой отнесем. Тяжелая стерва, — еле приподнял он Марину. — Точно корова какая.

Взяв Марину под руки, дружинники волокут ее домой. Босые ноги кровоточат, голова повисла. Им трудно тащить Марину. Матвей Степаныч все время матерится. А тут еще вся танцплощадка над ним смеется. Да моряки возьми да затяни песню:

— Марина, Марина, Марина, прекрасней тебя не найти...

— На себя бы посмотрели, олухи, — ругается Галя. — Сами на ногах не стоят, над Мариной смеются. У ней же несчастье. Муж от нее ушел.

— Не муж, а парень, — возразила Нина. — Он на ней и жениться-то никогда не собирался.

— А ребенок?

— Аборт она сделала. Не с ребенком же оставаться.

— Вот все вы мужчины одинаковые, — решила Галя. — Товарищ Краснопивцев, снимите руку с моего плеча.

— Г-Га-лочка, я ж л-люблю тебя, — пролепетал он.

Краснопивцев — в своем обычном состоянии. С того дня, как мы уехали из Вильнюса, он ни разу не протрезвился. Пьет с Зиновьевым, с совхозными рабочими, пьет утром на поле, вечером — дома. Часто и мы с Ленькой пьем вместе с ними, делать в совхозе больше нечего. Кино привозят раз в две недели, телевизор никто не смотрит — надоели пропагандистские программы.

В Вильнюсе хоть фильмы по телевидению показывают, а в Крыму вроде бы задались целью превратить телевизор в домашний партийный клуб. Словом, единственный очаг культуры — это магазин, а водка и вино заменяют все культурные программы.

Напившись, Краснопивцев и Зиновьев начинают рассуждать о политике:

— А все-таки мы его построим, — говорит Краснопивцев заплетающимся языком.

— Кого — его? — приподнимается с пола Зиновьев.

— Ком-му-низм, — объявляет Краснопивцев. — Шаг до него остался. От социализма до коммунизма один шаг. Ступим — и сразу в светлое будущее попадем.

— Как в магазин попасть, думай лучше. Через пять минут закрывается, — прерывает его болтовню Зиновьев.

— В-верно, пошли за водкой.

Так бывает почти каждый вечер. После разговоров о коммунизме они бегут в магазин. Иногда мы с Ленкой пытаемся спорить с ними. Оказывается, это можно. Краснопивцев и Зиновьев считают себя либералами.

— Травите, — говорят они. — Не застучим. Мы либеральная прослойка.

— ...Снимите руки, — повторила Галя. — А то пообнимаетесь, а потом сбежите.

— От рук аборта не делают, — засмеялся Краснопивцев.

— Ну тебя к черту, — вскочила Галя. — Пойдем, Нинка. Надоел он мне.

— Г-Галя, п-прости, — бормочет Краснопивцев. — З-завтра трезвый стану, в любви объяснюсь. С-сегодня ты все равно не поверишь.

— И завтра не поверю, ты каждый день пьяный ходишь.

Вдруг она повеселела. Наверное, потому, что аккордеонист заиграл песню о синем море.

— Пошли купаться, — предложила она. — Вода сейчас, словно молоко парное.

— Г-глинтвейн, — смеется Краснопивцев.

— Пьяница, уходи спать, — гонит его Галя, шутя.

По-моему, она все-таки равнодушна к Краснопивцеву. И чем он ее только приворожил, — непонятно. Ростом он мал, сильно плешив, под глазами синие мешки, типичный алкоголик. А Гале он, видно, нравится. Это, конечно, ее дело. Я не ревную, мне Галя не нравится. Но вот Ленька.

Стучит барабан, бьют тарелки, визжит аккордеон. Вечер отдыха совхозной молодежи в разгаре. Оставив на танцплощадке перепившихся тружеников полей, мы идем к морю.

22 июля 1965 г. Севастополь

Три дня мы работали в две смены, с четырех утра до шести вечера. Поэтому у нас отгул, три свободных дня. Галя и Нина Кожины пригласили нас в Севастополь. Наши девчонки даже обиделись. Совхозных парней они сторонятся, на улицу выходить боятся, и многие из них уже подумывают о том, чтобы поехать домой. Скучно с ними. Стихи нам надоели, за водкой поэзии не хочется.

— Опускаемся, старик, — вздохнул однажды Ленька. — Девчонки хоть читают, а мы пьем по-черной.

Я пытался оправдать это тем, что раз в год нужна разрядка. Ленька не соглашается, но пьем мы по-прежнему.

...Людка-будильник постирала нам рубашки и погладила брюки.

— Может, туфли почистишь? — смеется Краснопивцев.

— Давай, если хочешь, — соглашается Людка.

Хорошая она девушка, только и у нее, видать, несчастье приключилось. Какое, она не говорит. Вечерами

пьет вместе с Мариной, ночью плачет, истерики устраивает, а утром, как ни в чем не бывало, будит нас на работу:

— Вставайте, граждане мужчины.

От совхоза до Севастополя шестнадцать километров. Хотя в первый день директор и обещал нас свозить на экскурсию в Севастополь, Бахчисарай и Ялту, но обещания своего не выполнил. Кожин занят, ему не до нас. Приехала польская делегация, и он водит ее по совхозу. В эти дни все трезвые. Кожин строго-настрого приказал: если поляки увидят хоть одного пьяного, то этот пьяный моментально будет уволен с работы. Вот совхозники и скрипят уже зубами третий день. А поляки, говорят, еще неделю пробудут.

Чтобы перебраться в Севастополь, нужно сесть на катер. Наш совхоз расположен на берегу Северной бухты и отрезан от города морем. Катер ходит редко, и народу собирается неимоверное количество.

И сейчас очередь за билетами протянулась далеко за пирс.

— Не уедем, — заныл Зиновьев. — Билеты на маленький катер мы вряд ли достанем.

— Слушай, у тебя удостоверение студенческой газеты с собой? — подскочил Ленька со скамейки.

— Кажется, — ответил я и, порывшись в бумажнике, достал бордовую книжицу.

Сразу же после поступления в институт я начал сотрудничать в студенческой газете «Už Tarybini Mokslo» («За советскую науку»). Пишу репортажи о студенческой жизни, короткие фельетоны, словом, все, что дозволено цензурой...

— Пошли в кассу, — решил Ленька. — Покажешь удостоверение, скажешь, опаздываем на конференцию, съезд или митинг. Придумай что-нибудь.

Выслушав нас и мельком взглянув на удостоверение, кассирша выдала нам четыре билета. Вскоре мы уже сидим на палубе катера. — Дурные люди в такую

жару в каютах сидят, — решили мы, наслаждаясь морской прогулкой. Вдруг сильная волна окатила нас с головы до ног.

— Дурные люди на палубе сидят, — смеется Ленька.

На нас нет сухого места. Вода стекает ручьями, и показываться в таком виде в гости не очень-то удобно.

— Зайдем в Севастополе в химчистку, нас быстро приведут в порядок, — говорит Краснопивцев.

Вот и Севастополь. Под смешки пассажиров мы выходим на берег. Рядом с пристанью — гостиница «Севастополь».

— Здесь должна быть химчистка, — решил Ленька.

И верно, химчистка есть. Работает в ней молодой грузин.

— Что, генацвале, лучше костюма не нашли для моря? — смеется он. — Что хотите, чтобы я делал вам?

— Погладить и высушить одежду хотим, — отвечаем мы. — Только быстро, если можно.

— Быстра деньги стоит, — продолжает он хохотать.

— Ладно, заплатим. Сколько хочешь?

— Па тры рубел с одын нос, и лучший мастер Севастополя Гоги Лежава будэт дэлат из вас артыст. Вот аденътэ пока и забэгайте в рэсторан кушать, — кинул он нам несколько пар брюк и рубашек. — Я за эта врэмя буду чуду творить. Гоги всегда чуду творит, Гоги бальшой мастер. Только Гоги за чуду рубэл платыт нада.

Пока Гоги творил чуду, мы решили пообедать. Как и положено в советских ресторанах, обед мы получили через час после заказа: борщ, рыбу и лимонад. И по куску хлеба на брата. Были мы голодны, и скоро от хлеба не осталось даже крошек.

— Простите, можно еще хлеба? — попросили мы официантку.

— Вы что, из голодного края приехали? — обру-

шила она на нас. — По куску хлеба мало вам? Или не знаете, что в стране временные трудности с пшеницей? Хотите, могу вам картошки принести?

— Картошку сама жрать будешь, — тихо сказал Краснопивцев, когда официантка отошла.

Улучив момент, он поднялся и стащил с раздаточного столика четыре куса хлеба. Хлеб мы накрыли салфетками, чтобы официантка не заметила нашей проделки. И когда она принесла рыбу, мы украдкой ели ее с хлебом. Так мы пообедали.

— Хады город сматрэт, чэрэз час, а прэкрасный два прихадэтэ, — сказал Гоги.

Мы пошли в город. Сходили на Малахов курган, место боевой славы русских моряков. Долго смеялись у платана, рядом с которым табличка: «Этот платан посадил Никита Сергеевич Хрущев». Ничего бы смешного в том не было, что платан Хрущев посадил. Но не только мы, а все прохожие не могли сдержать улыбки при виде засохшего и неухоженного дерева. Хрущева убрали, и за деревом теперь никто не следит. А рядом цветут зеленые каштаны и платаны, посаженные Тольятти, Торезом, Гагариным и другими известными личностями. Когда я хотел сфотографировать это дерево, подбежал сторож и погнал нас прочь.

— Нечего, не цирк, — закричал он и, сочно ругнувшись, сказал:

— Пора бы вырыть эту корягу, глаза всем мозолит.

Сходили мы в панорамный зал обороны Севастополя, на площадь, где стоит памятник Нахимову. И под вечер вернулись в гостиницу. Гоги уже собирался уходить.

— Думал, забыли вы пра ваш нарад, хатэл в камысионку нэсти. Аткуда у тэбя амэриканская рубашка? — спросил он меня.

— Прислали, — ответил я.

— Прадай, хороший рубл дам.

— Нет, Гоги, — усмехнулся я. — Ты великий мастер, сам такую чуду сделаешь.

— Такую нэ смагу, — вздохнул Гоги.

Вечером мы сидели в гостях у Гали и Нины. Городская квартира у них и впрямь роскошная. Только добра всякого в ней столько, что на склад похоже. Не знаю, как живут американские миллионеры, но директор Качинского совхоза живет очень даже неплохо. Такой, по советским стандартам, роскоши мне не приходилось видеть ни в одной квартире.

Водку нам подали в чешских хрустальных фужерах. Ели мы из китайских фарфоровых тарелок, ходили по дороговому персидскому ковру. Удобно расположились в немецких креслах, смотрели дешевенькую программу о прекрасной жизни крымских колхозников по дороговому, последней марки телевизору. Позже нас угостили индийским кофе, который мы пили с французским коньяком из польских рюмок.

Я думаю, хватит описывать, как мы ели, из чего пили и что делали. Если к этому добавить, что курили американские сигареты и слушали английские пластинки, то можно понять, почему засмущалась Галя, когда мы пришли в их совхозную квартиру.

Ночевать мы остались у них. Следующие два дня мы осматривали Севастополь, ходили на пляж, словом, активно отдыхали. Сегодня мы едем обратно в совхоз. Откровенно говоря, после такой жизни даже не хочется туда и возвращаться. Увы, надо.

9 июля 1966 г. Ереван

Казалось, еще минута и... Я думаю, все знают, что это такое, когда самолет больше часа кидает из стороны в сторону, а аэропорт не принимает. Самочувствие не из лучших. Пассажиры, наклонившись к полу, уже блюют желчью. Я пока креплюсь. Заметив мое состояние, сосед по креслу поднялся и принес стакан воды.

— Выпейте.

Я выпил, но лучше мне не стало. Тогда он достал из сумки какую-то таблетку.

— Вот, я думаю, это поможет.

Не знаю, помогла ли таблетка или то, что самолет, наконец, приземлился, но когда я сошел с трапа, то почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Счастье, конечно, — вещь относительная. Избавившись от неприятного полета, я не знал, где мне остановиться. Время уже близко к полуночи, и ехать в такой час искать общежитие было бы просто бессмысленно, тем более, что я не знал даже, где оно находится. И точнее, я еще не решил, в какое общежитие ехать: университета или политехнического института. Помня о прошлогоднем курьезе с удостоверением, я на сей раз выписал у редактора нашей студенческой газеты мандат на русском языке, пробивной таран в советских учреждениях.

— Привезешь несколько репортажей о жизни студентов Закавказья, — попросил он меня.

Привезу, конечно. Только если я буду писать правду, то вряд ли редактор согласится их напечатать. «Буду писать по два репортажа из каждого города, — решил я. — Один для себя, так, как все есть на самом деле. Второй — для газеты, так, как того требует этика советского журналиста, то есть сладкую ложь».

— Вы где собираетесь остановиться? — подошел ко мне сосед по самолету.

— Да откровенно говоря, и не знаю еще, — ответил я. — Собирался в общежитие поехать, только поздно уже.

— Вот что, — взял он мой рюкзак. — Будете жить у меня.

Немного удивленный таким радушием, я пошел вслед за ним. У здания аэропорта его встречали жена и родственники.

— Садитесь, — открыл он дверцу «Волги» и протянул мне руку. — Спартак.

— Очень приятно, — ответил я на рукопожатие и сел в машину.

Так я познакомился с врачом Спартаксом К-яном. Он готовится к защите диссертации. Сейчас был в Москве у руководителя работы. Об этом он мне рассказал по дороге.

Мы долго ехали по узкому шоссе, всё круче поднимавшемуся в гору и, наконец, приехали. Где я нахожусь, что буду делать, в тот момент меня мало волновало. Прежде всего я мечтал оказаться в постели. Тошнота хоть и прошла, но голова болела по-прежнему.

Едва мы вошли в дом, жена Спартакса стала накрывать на стол. Поздний ужин был довольно обильным: вареники в виноградных листьях (как я узнал впоследствии, это — национальное армянское блюдо), сыры, колбаса, коньяк. Когда мы поели, гости разошлись, и мне предоставили диван в небольшой комнате, служившей гостиной.

Утром, когда я встал, увидел Спартакса, сидящего за столом.

— Доброе утро, Спартак, — поприветствовал я его.

— Не такое оно уж и доброе, — криво усмехнулся он.

— В чем дело? — привстал я с дивана.

— Обокрали квартиру, пока я в Москве был, — объяснил Спартакс. — Стиральную машину и ту прихватили.

— Как это так, прямо из дома вынесли?

— Да, прямо из дома, откуда же еще? Черт, и все из-за моего простодушия. Все умные люди решетки на окна ставят, а я никак собраться не мог. Вот и обчистили, мерзавцы. Нет, надо квартиру менять, хватит на первом этаже жить. Так и в третий раз ограбят.

— Это что, не впервой уже? — спросил я.

— Первый раз ко мне воры полгода назад забрались, тоже порядком вещей унесли. Но теперь... Как это по-русски говорится? Гол, как сокол, так вроде. Вот

пишу заявление в милицию, может, найдут воров.

— Жди, найдут их, — вошла в гостиную Мариэтта, жена Спартак. — Как в прошлый раз нашли, так и сейчас найдут.

— Да-а, — вздохнул Спартак. — Это точно. Милиция в Ереване работает — хуже некуда.

— А чего им хорошо работать? — засмеялась Мариэтта. — Они с ворами да грабителями — лучшие друзья.

— Милиция — друзья преступников? — не понял я.

— Платят им воры, вот милиция и не трогает их, — объяснил Спартак. — В каждом районе своя банда и свое отделение милиции. Воры взятки дают, и по несколько тысяч, а милиция на их дела сквозь пальцы смотрит.

— Недавно моя подруга с мужем в театр пошли. А когда домой вернулись, то квартира вся чистая, словно вселились в нее только что... — рассказывала Мариэтта, накрывая на стол к завтраку.

— Так выходит, Ереван не лучше Чикаго, если у вас ворами так вольготно живетесь? — сказал я.

Спартак засмеялся.

— Не знаю, как в Америке, но в Армении плохой вор имеет доход побольше, чем хороший профессор.

Умывшись и позавтракав, я собрался осматривать город. Спартак и Мариэтта заняты; извинившись, что не могут пойти со мной, они ушли на работу.

...Матенадаран — хранилище древних рукописей. Долго хожу по просторным залам, вглядываясь в армянские письма. К сожалению, я ничего не понимаю, а гида нет. Пояснения даются только организованным туристическим группам. Одиночки могут узнать о культуре и истории Армении лишь в том случае, если они иностранцы. Тогда «Интурист» выделяет гида. И запла-

тив по сорок долларов за день, иностранцы знакомятся с древней Арменией.

Это мне рассказал директор Матенадарана, когда я побывал у него в гостях. Увидев, что я уже полдня перехожу из одного зала в другой, пытаюсь разобраться в увиденном, ко мне подошла молоденькая смотрительница.

— Вы иностранец? — спросила она.

— Нет, я из Литвы, — ответил я.

— Вам это интересно?

— Очень, только я ничего не понимаю.

— Идемте со мной, наш директор будет рад поговорить с вами.

Директор Матенадарана оказался очень симпатичным человеком. Он долго рассказывал мне об Армении, об обычаях и культуре армянского народа. А под вечер даже проводил меня до автобусной остановки.

— Послушайте, где бы я мог видеть Матенадаран раньше? — спросил я его, силясь вспомнить, откуда мне знакомо здание музея. Директор засмеялся и, взяв меня под руку, подвел к винному магазину.

— Вот откуда, — показал он на бутылку коньяка.

Да, теперь я вспомнил. Матенадаран служит эмблемой коньячных этикеток.

— Сколько ни требую, чтобы сменили этикетку, ничего не помогает, — сожалеет директор. — Не могут они, что ли, найти другую рекламу для коньяка? Больно смотреть на это. Наша история, культура и... коньяк. Но что делать, они не хотят и слушать об этом.

Кто о ни, директор не сказал. Но это ясно и так. И м безразлично, что изображено на бутылках. Если Матенадаран — это гордость Армении, а армянский коньяк популярен во всем мире, то таким образом и рекламируют Армению. Не лучший, однако, способ рассказать о самом древнем народе СССР. Я не ошибаюсь, армяне действительно самый древний народ нашей страны. Ведь здесь, на территории Армении, когда-то

было одно из первых государств мира — Урарту. С тех пор прошло много веков, да и Еревану уже около 2 750 лет.

...Наступил вечер. Из древней Армении я попадаю в Армению сегодняшнюю. Площадь Ленина. Посреди памятник «Чудотворцу».

Творческие искания скульптора Томского, штампующего ильичей, скуднее скудного. Но Томский, содержащий на службе несколько десятков рабочих и двух шоферов его собственных машин, набил на этом деле руку. Только не надо бы ему забывать, что сейчас делают скульпторы, творившие гигантские монументы Сталину! Вместе с памятниками великому грузину убрали и разноплеменных монументалистов, изваявших его в разных масштабах и разных позах. А Томский недалеко как человек и как скульптор. Дальше собственного носа ничего не видит. Зато его ленины, вознесенные до небес, смотрят далеко. Например, в Вильнюсе. Ленин вильнюсского образца стоит в анекдотическом месте. Одной рукой он показывает на здание КГБ, а другой — на родильный дом и тюрьму Лукишки. Если вспомнить строки одной из хвалебных од: «Ленин видел далеко, на много лет вперед», то можно позавидовать сообразительности Томского. Молодец скульптор, все знает! Роддом — КГБ — тюрьма — цикл жизни мыслящих советских людей. Как только Томского не посадили еще за такую антисоветчину? Пусть бы оставался там базар, торговали хоть тряпьем. Теперь тряпье убрали, торгуют свободой.

А в Ереване памятник Ленину стоит посреди круглой площади, напротив гостиницы «Армения». Туристы высыпали на площадь. Вечером в Ереване прохладно. Днем жара стоит нестерпимая, и я почти не ел, не хотелось. Но сколько воды выпил, не сосчитать. Вода в Ереване очень приятная. На каждом шагу фонтанчики для питья. И туристы, сгрудившись у них, пьют воду. Спартак говорит, что ереванская вода — одна из луч-

ших в мире. Может, это и так, не знаю. За границей я ведь еще не был и, кто знает, буду ли.

Среди туристов много иностранцев. В большинстве своем это армяне, приехавшие посмотреть на свою родину. Посмотреть, но не остаться. Армяне предпочитают жить во Франции, Италии, Ливане, чем в советской Армении. Иные приезжают, соблазненные посулами советского правительства, и, не выдержав этой жизни, хотят ехать обратно. Но не тут-то было. Их уже не выпускают.

— Вы — армяне и живете сейчас в Армении, должны радоваться, — говорят им.

Это мне вчера Спартак рассказал. А когда я сказал ему, что хочу уехать в Израиль, он только приветствовал это. И еще добавил:

— Мозгов у наших деятелей совсем нет. Тебе вот говорят, что ты в СССР родился, здесь твоя родина и поэтому тебе в Израиле делать нечего. Так чего же они соблазняют приехать в СССР молодых армян, которые родились уже за границей? Выходит, что их родина не Армения, а Франция или Ливан?

Но посмотреть на Армению армяне приезжают. И молодые, которые ничего не знают о ней, и старые, которые когда-то покинули родные края. Теперь им показывают новые жилые районы, памятники революционерам, из-за которых многие стали эмигрантами, предоставляют лучшие номера в гостиницах, лучшую пищу в ресторанах и уговаривают:

— Вернитесь.

Но нет, возвращается мало кто. Предпочитают жить в «капиталистическом аду», чем в родном «социалистическом раю». Каждому свое, как говорится.

Среди армян-иностранцев мелькает и публика посерьезнее. Это армяне местные, хоть и пестро одетые, но чувствуется в них наша отечественная серость. Одни прогуливаются с иностранцами по площади, рискуя за

это попасть в КГБ, другие делают бизнес. Стоят часами у дверей гостиницы и ловят клиента.

— Сейко есть? — подбегают к одному туристу.

Он не армянин. Отвечает по-английски, что армянского языка не знает. Фарцовщик показывает на руку и говорит:

— Сейко, джапан клок?

Иностранец показывает часы. Фарцовщик осматривает их и просит продать. Начинается торг. То есть не торг, потому что спешащий иностранец отдает часы сразу, явно не понимая, почему ему отвалили четыреста рублей. За эти деньги он мог бы у себя на родине купить по крайней мере десять пар часов. Если считать по советской системе: один доллар — девяносто копеек.

За углом гостиницы «Армения» — настоящий толчок. Иностранцы уходят буквально голыми. За пиджак с металлическими пуговицами им платят по 150—200, за галстук — по 30—40 рублей, столько же дают и за рубашки. Доллары — самый ходкий товар. Здесь советской денежной системы не признают. За каждый доллар дают по 5—6 рублей, а за крупные банкноты и по все десять за доллар. Что ж, в этом есть свой резон. Одну стодолларовую бумажку легче вывезти, если фарцовщик поедет за границу. И, пожалуй, за 100 долларов он купит себе там не меньше, чем в СССР за 1000 рублей.

Меня приняли за иностранца.

— Нет, я из Литвы, — обескуражил я подошедшего фарцовщика.

Ему лет тридцать, а то и больше.

— А почему ты, ара, в джинсах и зебра-майке? — спросил он.

— Прислали, — объясняю я.

— Продай, — умоляет фарцовщик. — За джинсы даю шесть-ноль, за зебра-майку даю три-ноль.

Шесть-ноль надо понимать 60 рублей. Деньги хоро-

шие, но я отказываюсь. Мне еще предстоит больше месяца ездить по дорогам Закавказья.

— Ара, прошу тебя, уступи, — продолжает меня упрасивать фарцовщик. — Даю большой рубль за все и еще первую красавицу Еревана на ночь приведу. Настоящая армянская красавица, пальчики оближешь.

Отказавшись и от большого рубля, что на местном жаргоне означает 100 рублей, и от первой красавицы Еревана, я поехал к Спартаку. Рассказав ему об увиденном, я спросил его, что он об этом думает.

— Как тебе сказать. Одеться в Ереване любят, поэтому и платят такие деньги за иностранные товары, — объяснил Спартак.

— А откуда такие деньги? — поинтересовался я в свою очередь.

— Цеха, вот откуда. Ты знаешь, что такое цеха?

— Нет, — признался я.

— Например, сделал ты несколько тысяч рублей. Даешь в горисполком взятку и открываешь цех. Делай, что хочешь — или туфли, или сумочки, ремни, темные очки, это твое дело. Платишь государству налог, сдаешь кое-что в магазины, а остальное продаешь частным образом. Вот и зарабатывают многие на жизнь таким путем.

— И много зарабатывают?

— Тысячи три в месяц, а то и больше, — ответил Спартак. — Походи завтра по старому городу, там все цеха находятся.

Завтра так и сделаю. Надо же посмотреть, как выглядит частное хозяйство в Советском Союзе.

12 июля 1966 г. Ереван

Иду по старому городу. Узкие, кривые улочки, на тротуарах сидят старики и потягивают огромных размеров самокрутки, у дверей лавок — беспечная молодежь. Пронесются гружённые товаром подводы и грузовики, кричат продавцы овощей.

Старый Ереван... Сегодняшним днем тут и не пахнет. За окнами многочисленных магазинов видны усердно работающие ремесленники. Магазин и ремесленники? — спросят меня.

Да, магазины в то же время и — мастерские. Это и есть так называемые цеха. Вряд ли я узнал бы о них побольше, если бы мне просто не повезло. И благодарить за это я должен Левика.

— Эй, ара, зачѐм в джинсах ходишь?! — закричал парень моих лет.

Он высунулся из окна одного магазина и помахал мне рукой. Я подошел.

— Ты иностранец? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Сдай джинсы, — уже вышел он на улицу. — Шастдэсат рублэй даю.

— Нет, не продам, — ответил я. — Мне еще долго ездить придется.

— Куда ехать надо?

— По Армении, а затем в Грузию и Азербайджан.

— Наравитца Армения? — спросил он с ожиданием, что я отвечу.

— Нравится, — вполне откровенно ответил я.

— Тагда захады, гостѐм будишь, — пригласил он меня в магазин. — Меня Левик зовут. А это мой папа, — показал он на сапожника, сидящего у окна. Рядом с ним стучали молотками еще двое пожилых мужчин.

— Эта мая дады, — объяснил Левик. — И там все маи родствѐнники, — показал он на дверь в другую комнату, откуда доносился стук молотков.

— Это ваш цех? — спросил я его.

— Правыльна, ара, угадал. Аткуда знаишь, что такой цех?

— Уже знаю, — засмеялся я. — Рассказали.

— Мы туфли делаим. Видыш? — показал он мне готовую обувь.

Туфли, мужские и женские, были сработаны очень изящно.

— Бэрм французски журнал, дэлаим копию и работаим, — объяснил Левик. — Калодки у эмигрантов покупаем, аны их с собой привазили.

— Я слышал, вы в цехах тысячи по три в месяц имеете? — сказал я Левику.

— Э-э, ара, на туфли можна и больше сдэлать. Мы имеем и по четыре тысяч. Черс, — растопырил он четыре пальца.

— И только ваша семья здесь работает?

— А зачэм, ара, чужие? Нам свои луди нужна, чтобы не гаварылы пра наш цех много-много, — ответил Левик.

— А ревизии не бывают?

— Бывает, — засмеялся он. — У нас каждый ревизор — миллионер. А то бы мы все уже давно в Сыбыр были.

Отец Левики повернулся и что-то крикнул ему по-армянски. Поняв, что наболтал лишнее, Левик смутился.

— Прасты, ара. Работат нужна.

Я ушел. Теперь понятно, почему с таким усердием работают ереванские ремесленники. Ведь они работают на себя. Если вспомнить хотя бы Вильнюс, где пару туфель починят только через две недели после приема, то неудивительно, почему так плохо работают наши сапожники. За 80 рублей они перерабатываться не хотят, как и все те, кто работает на государственных предприятиях. Почитают газету (надо ведь знать, чем живет советская страна), выпьют чашку кофе или стакан водки (работа не волк — в лес не убежит), а совсем не захотят работать, устроят профсоюзное собрание на полдня (профсоюзы — кузница рабочих кадров).

Ереванские ремесленники газет на работе не читают, не пьют ни кофе, ни водку, тем более не устраивают собраний. Они усердно работают, и не по восемь

часов в день, а по десять и даже по двенадцать. Когда вечером я уходил из старого города, во многих цехах еще горел свет и ремесленники продолжали работать. На себя, разумеется.

— Ну, познакомился с ереванскими капиталистами? — смеясь, спросил Спартак, когда я вернулся домой.

— Какие они капиталисты? — засмеялся и я. — Работают в поте лица и дети, и отцы — всей семьей трудятся.

— Да, армяне народ работающий, — гордо сказал Спартак. — Если им это выгодно, то они и день, и ночь работать будут. Ремесленники потому и живут хорошо, что много работают. Почти у всех машины, свои дома, прекрасная мебель. Не то, что у меня, — обвел он рукой полупустую комнату. — Я простой советский врач. К тому же в научном институте работаю. Вот если бы на «скорой помощи» работал или в больнице, жил бы не хуже ремесленников.

— На «скорой помощи» тоже больше ста не зарабатываешь, — возразил я.

— В Армении врачи имеют больше тысячи в месяц.

— Кто же им платит?

— Те, кто на заводах или в учреждениях работают. Они все больше по бюллетеню гуляют и за каждый свободный день врачу десять рублей платят. А на «скорой помощи» еще лучше. Приезжаешь к больному, дашь ему укол или таблетки, его родня меньше тридцати не заплатит. А в день по шесть-восемь вызовов бывает.

— Но откуда же деньги, если они на государственных предприятиях работают?

— А кто их знает! Видно, в эти свободные дни и делают. Ты не обижайся, но, как говорят у нас в Армении, где один армянин прошел, там двум евреям делать нечего.

Вечером я снова ходил по Еревану. Город я, конечно, знаю еще плохо, но он стал мне уже близким. Даже жалко, что скоро придется уезжать. Заметил я в Ереване еще одну странную вещь. Любую работу здесь выполняют мужчины, чего в других городах не заметишь. Они и газированную воду продают, они и продавцы в магазинах, они и цветами, и фруктами торгуют. Женщин почти не видно. Их дело — домашнее хозяйство. Вспомнив слова Спартака, что армяне — деловой народ, я понял, что и женским трудом мужчины занимаются не без коммерческой выгоды. Сдачу я еще не получил ни разу, да и побаиваюсь просить ее. Видел вчера, как раскричался молоденький продавец цветами:

— На, возми, — протягивал он приезжей женщине 10 рублей. — Если тэбэ дэсат копеек жалка, возми дэсат рублэй, багатой в Масквэ станишь.

А женщина подняла скандал.

— У-у, ворюги несчастные. То-то вы на своих машинах катаетесь. Точно боги живете, армяшки проклятые.

Собственных машин в Ереване много. Даже астрономические цены в 25—30 тысяч рублей, по которым спекулянты продают машины, не останавливают армян на пути к их вождеденной мечте — блестящей «Волге». И даже за такие деньги машину трудно купить. Спартак рассказывает, что есть спекулянты, которые разъезжают по стране и скупают лотерейные билеты, на которые выпал выигрыш на колесах. Покупают где-нибудь в Воронеже или Челябинске билет за 10—15 тысяч рублей, а перепродают его в Ереване уже вдвойне или втрое.

Пообедать я зашел сегодня в «Армянские блюда». Это маленький ресторанчик, расположенный в подвальном помещении. Несколько столиков, несколько посетителей и пять официантов. Заказал рисовый суп, люля-кебаб и лимонад. Обслужили быстро. Пообедал я тоже быстро. С жарой я уже свыкся и ем теперь нормально.

— Четырэ рубла восемдэсат капзек, — подал мне официант счет, когда я поел.

Обед явно не стоил и трех рублей. Но на какие же деньги ему тогда жить да «Волгу» купить? Дал 5 рублей и двадцати копеек сдачи не получил.

«Пятирублевые обеды мне не по карману, думаю я, выходя из подвал-ресторана. Будем питаться попроще».

А попроще — это шашлык на улице. Четыре кусочка мяса на шампуре — полтора рубля. Но дешевле в Ереване вряд ли что найдешь.

Сегодня Спартак был свободен, и мы пошли в гости к его родственнику. Я с ним немного знаком, он был у Спартака в тот вечер, когда мы прилетели из Москвы. В. — архитектор, живет в центре города в хорошей, благоустроенной квартире. Угостил он нас отменным ужином. И когда подали кофе, В. достал и сигареты «Kent».

— К хорошему кофе нужны хорошие сигареты, — пошутил он.

— Которым хороша цена, — добавил Спартак. — Сколько платил за блок?

— Как все, — ответил В., — обычная советская цена, двадцать рублей блок.

— Это — шутка армянского радио? — спросил я.

— Это — реальность советского быта, — ответил В. — Чтобы хорошо жить, надо втрое платит. А зарабатываю я, слава Богу, неплохо. Скоро, наконец, и себе дом построю.

— А почему почти все здания в Ереване строят из розового туфа? — спросил я В.

— Это дешевый строительный материал. Но те, кому я дома строю, предпочитают кирпич.

— Какие же вы дома строите?

— Спартак, это надежный парень? — спросил В. по-русски.

— Я так думаю, — улыбнулся Спартак. — В Из-

раиль собирается, из комсомола его исключили. Будем думать — надежный.

— Тогда расскажу тебе, как в Ереване дома строят. Уедешь в Израиль, такого не увидишь, наверное, — сказал В.

И, прежде чем начать свой рассказ, он налил нам по рюмке коньяка.

— За твой скорейший отъезд! — поднял он тост.

— Спасибо, — даже смутился я от таких слов.

— Обычные дома, как ты уже заметил, построены из розового туфа. Камень это дешевый, добывать его нетрудно, отсюда и строительство дешевое. Но беда в том, что у туфа плохая звукоизоляция. Если твой сосед на пятом этаже слушает радио, то ты, живя на первом, можешь слушать передачи вместе с ним. Да и гарантия на туфовые дома дается на двадцать лет, меньше даже, чем на блочные. Но люди уже свыклись и с шумом, и с непривлекательным экстерьером. Главное, что кое-как решаем жилищную проблему.

Но строят и дома, где красивый экстерьер и прекрасно выполненный интерьер, и сделаны эти дома из добротного кирпича. Кто, ты думаешь, строит эти дома? — вопросительно посмотрел на меня В.

— Правительство, наверное, — ответил я.

— Не только. Правительство живет в отдельных особняках, это само собой разумеется. Но дома из прочного камня строят себе и ремесленники из старого города. Ты не смотри, что они плохо одеты на работе, ты в дом к ним зайди. Вряд ли у крупного ученого найдешь такую квартиру.

— А квартиры они как, по очереди получают? — спросил я.

— Жди, по очереди в Армении никто ничего не получает. Прежде всего, эти квартиры кооперативные. И, дав в строительном управлении взятку, члены кооператива добиваются кирпичного дома, а не туфового. Но это квартиры, архитектор тут и копейки не заработает.

Главный наш доход — это виллы. Ремесленники, даже имея патент на мастерскую, открыто жить в роскоши все же побаиваются. Поэтому проекты на виллы они заказывают не в архитектурных организациях, а у частных архитекторов. Причем строят себе дом не иначе, как у состоятельных людей за границей. Приходит, например, ко мне недавно старик, кое-как одет, небрит, в общем, неприятный тип. И просит: «Дом, ара, построй. Сын женится. Хочу, чтобы, как за границей, он жил». И журнал мне протягивает — «Архитектура США». Где он его достал, не знаю, но дом ему подай точно такой, как там на фотографии. Я ему объясняю, что такой дом у нас в стране построить нельзя, технические средства не позволяют. А он заладил: «Я плачу деньги, ты строй мне дом». В общем, за полгода спроектировал я ему нечто похожее, прикинул смету и даже боюсь ему показывать. Весь дом ему обойдется около трехсот тысяч рублей. А когда я сказал ему об этом, он даже обрадовался. «Молодец, ара, я думал полмиллиона стоить будет». Строят сейчас этот дом, недалеко от города. Не знаю, есть ли еще у кого в стране такой дворец. Бился я над ним полгода, но зато и деньги получил.

В. оглядел нас и сказал:

— Сорок тысяч старик отвалил, вот вам и бедно одетый и небритый.

— А чем его сын занимается, которому он дом строит? — спросил Спартак.

— Работает вместе с отцом в цеху, туфли делает, — ответил В.

— Так отец что, все на свои деньги строит, сын ничего не дал?

— Нет, это родительский подарок к свадьбе. Через год, я думаю, дом уже кончат. Там и гараж, и бассейн. Тогда и свадьбу сыграют. Я, кстати, тоже приглашен, — с улыбкой сказал В.

— И за год успеют построить такой дом? — спро-

сил я. — Ведь нужны рабочие, стройматериалы, строительное оборудование, машины, наконец?

— Все уже есть, за все уплачено. Стройматериалы наполовину государственные, наполовину ворованные. Рабочие наняты частным образом, а машины арендованы у строительного управления. Через год построят, — убежденно сказал В. — Когда в Израиль уедешь, расскажи там, как ереванские ремесленники живут. Я думаю, что в Израиле сапожник себе такой дворец не построит.

— А у вашего правительства разве хуже дома? — усмехнулся я.

— Не хуже, но и не лучше. Правительственные работники тоже стараются по американским или французским проектам строить. Только дома у них пока без бассейнов, партийная совесть им, видите ли, не позволяет жить, как миллионерам.

— Но кошелек позволяет, я думаю, — засмеялся Спартак.

— Это конечно, — согласился В., — доходы у них прямо-таки фантастические. Все ремесленники их задбывают. Не дадут ежемесячную взятку, и все — полетит их дело. Было уже несколько случаев, когда ремесленники отказались ежемесячную взятку в горисполком давать. Так оттуда прислали инспекцию, и цех сразу же закрыли. Но ремесленникам выгоднее откупиться, чем начинать все дело по-новой.

Когда В. отвез нас домой на своей черной «Волге», я спросил его:

— Почему в Ереване почти все собственные машины покрашены в черный цвет?

В. засмеялся.

— Хотим, чтобы все, как у правительства, было. Даже машины.

Спартак уже спит. Сейчас кончу писать и тоже пойду спать. Завтра собираюсь поехать в Эчмиадзин.

(Продолжение следует)

А. Краснов

Закат обновленчества

Из воспоминаний

Тридцатые годы были тяжелой полосой в жизни А. И. Введенского. В 1929 году он последний раз выступил на диспуте в Политехническом музее. Этим выступлением заканчивается продолжительный, самый блестящий период его деятельности. Тридцатые годы — годы непрерывных стеснений. В 1931 году, после закрытия храма Христа-Спасителя, начинается период кочевья А. И. Введенского по московским храмам. Вначале он служит и проповедует в храме свв. апостолов Петра и Павла на Басманной улице, здесь же помещалась Богословская академия. В 1934 году новый страшный удар — закрытие храма Петра и Павла, одновременно закрывается Академия — без формального запрещения, «за отсутствием помещения». А. И. Введенский переходит со всей паствой в Никольский храм на б. Долгоруковской, ныне Новослободской улице. 1935 год — «самороспуск» Синода. А. И. Введенский остается в самом неопределенном положении. Его официальной должностью была должность заместителя председателя Синода.

1936 год — закрытие Никольского храма. А. И. Введенский переходит в церковь Спаса-на-Спасской, по Б. Спасской улице. Здесь он прослужил полтора года. В

Окончание. Начало см. в «Гр а н я х» № 86. — Р е д.

1938 году он переходит в свою последнюю резиденцию — в Старо-Пименовскую церковь, стены которой увидели его погребение.

Самый страшный удар из всех, какие испытал когда-либо в жизни А. И. Введенский, был нанесен ему 6 декабря 1936 года. На другой день после принятия «сталинской» конституции знаменитый проповедник был вызван в «Церковный стол при Моссовете». Здесь третьестепенный чиновник, с невыразительным, незапоминающимся лицом, сухо сообщил, что поскольку новая конституция разрешает отправление религиозного культа, но не религиозную пропаганду, служителям культа запрещается произносить проповеди. Впоследствии такое толкование конституции было официально опровергнуто. В тот момент для А. И. Введенского это был удар грома среди ясного неба. Представьте себе Ф. И. Шаляпина, которому бы запретили петь, или Шопена, которому запретили бы играть, или Врубеля, которому бы отрубили правую руку, — эффект будет примерно тот же. Впоследствии, правда, было разъяснено, что проповеди могут произноситься тогда, когда они являются «неотъемлемой частью богослужения».

Однако от этого было не легче: знаменитый проповедник и апологет превратился в «учителя церковно-приходской школы», — единственной дозволенной ему темой стало объяснение праздников. И странно, внезапно и непостижимо чудесный проповеднический дар покинул его, все проповеди, которые произносил А. И. Введенский после 1936 года, оставляли досадное и тягостное впечатление: вдруг погас огненный темперамент, исчезли гениальные озарения и дивные взлеты — на кафедре стоял заурядный священник, который неимоверно длинно и скучно излагал давным-давно всем известные истины. А. И. Введенский — блестящий пример того, как под влиянием внешних стеснений тускнеет и гибнет даже самый яркий талант. И психологически Введенский сильно деградировал.

В 1937 году Александр Иванович чудом избежал ареста. В течение всего года он жил под дамокловым мечом. Однажды ночью в передней раздался звонок. Что тут началось! Домашние суетились в паническом ужасе, наскоро сжигали какие-то бумаги, сам хозяин второпях одевался. Жертвенно бледный, он отправился открывать дверь. Вздох облегчения — его духовная дочь, почувствовав себя тяжело больной, послала за своим духовником.

Во главе обновленческой церкви стоял тогда митрополит Виталий — «Первоиерарх».

Я хорошо знал владыку. Он был исправным, истовым (как говорят обычно, «благоточивым») священником. Он был, безусловно, искренне верующим человеком, и человеком добропорядочным (в обывательском смысле этого слова). Однако всякий раз, когда я с ним говорил о богословии, у меня всегда мелькала в голове невольная ассоциация — «бухгалтер».

Человек аккуратный, скрупулезно-пунктуальный в служебных делах, почтительный по отношению к начальству, митрополит Виталий действительно чем-то смахивал на провинциального бухгалтера средней руки.

«Так и остался белевским протоиереем», — говорил часто про него Александр Иванович. По своему кругозору и образованию владыка всю жизнь так и не пошел дальше Белева: главным источником его познаний были «Епархиальные ведомости» Тульской епархии. На них он обычно ссылался как на высший авторитет всякий раз, когда речь заходила о философских и социальных проблемах. Трудно было себе представить больших антиподов, чем митрополит Виталий и его знаменитый собрат и однофамилец (мирское имя митрополита Виталия — Владимир Васильевич Введенский). В свое время владыка Виталий стал председателем Синода милостью А. И. Введенского. Об этом избрании Александр Иванович со свойственным ему юмором рассказывал так: «Умер митрополит Вениамин, и мы не знаем, кого

избрать вместо него. И вот вспоминаю — в Туле есть архиерей, монах, борода длинная-длинная, седая, картинная... Подумали и решили — быть ему предом в Синоде...»

Став в 1927 году господином положения, владыка Виталий сразу стал прибирать к рукам А. И. Введенского. «В это время достаточно мне было что-нибудь предложить, чтобы сказать с уверенностью — сделают наоборот».

Таким образом, в период с 1937 по 1941 г. А. И. Введенский растерял всё то, что было смыслом его жизни: ораторская и апологетическая деятельность стала невозможной, о реформационной деятельности не могло быть больше речи. Административная деятельность (жалкая и урезанная) стала невозможной. Сильный человек, возможно, вырос бы духовно, пошел бы на подвиг, поднял бы над головой огненный факел страдания и любви...

Но Введенский не был сильным человеком и не был из числа тех, которые способны на подвиг.

И вот в этот период он сразу опустилсЯ, потускнел — неуловимые раньше мещанские, пошленькие черточки, которые есть у всякого, у Введенского в это время выступили особенно выпукло и резко. Семейная ситуация, всегда запутанная, в эти годы обострилась до крайности: его личная жизнь превратилась в бедлам...

Равнодушный раньше к житейскому комфорту, Александр Иванович в это время становится страстным приобретателем-коллекционером. Каких только коллекций он ни собирал в это время: и коллекцию картин, и коллекцию бриллиантов, и даже коллекцию панагий.

Коллекции он собирал неумело, ловкие предприниматели обманывали его, как ребенка. Все «старинные» картины фламандских мастеров оказывались сплошь и рядом произведениями «толкучего» рынка. Бриллианты оказывались стекляшками. Возраст «древних» панагий не превышал пятидесяти лет. Но он не хотел верить

этому, страшно гордился своими коллекциями, по-детски радовался каждой находке.

Покупка собственного автомобиля (тогда собственные автомобили были редкостью) радовала его сердце. Он начал полнеть и сразу заметно постарел.

Лишь музыка и литургийная молитва, искренняя и пламенная, были единственными просветами в его жизни.

Между тем на Западе в 1939 году уже слышались грозные раскаты. В конце 1939 года грянула кровопролитная и жестокая финская война. Надвигался 1941 год — год великой войны, великого Суда!

С У Д

*О, сколько тайной муки
В искусстве палача:
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча.*

Ф. Сологуб

Перо историка — меч.

Перо мемуариста — секира палача.

И самое ужасное, когда эта секира направлена против любимых и близких, против самого себя. Ибо историк и мемуарист — оба слуги истории, и в качестве судебных исполнителей им часто приходится исполнять палаческие функции.

Война 1941—45 гг. — это суд над народами, над правительствами, над партиями и — над церквями.

Обновленчество предстало в эти годы перед судом истории и услышало грозный приговор: «Да погибнет!»

А. И. Введенский любил вспоминать, как в неделю «Всех Святых в Земле Российской просиявших» 22 июня

1941 г., после литургии, благословляя молящихся, он узнал от иподиакона о начале войны.

А. И. Введенский в первые же дни войны выступил с рядом патриотических деклараций. Искренни ли они были? Безусловно, да. Старый интеллигент, воспитанный в либерально-демократических традициях, Александр Иванович питал прямо физиологическое отвращение ко всем человеконенавистническим теориям и партиям. Grimаса отвращения передергивала его гладко выбритое лицо (незадолго до войны он сбрил усы), когда он произносил такие слова, как «черносотенцы», «Союз русского народа», «фашизм». Глубокий интернационалист (пожалуй, в известном смысле его можно назвать космополитом), для которого одинаково были дороги Анри Бергсон и Достоевский, Шопен и Рахманинов, Введенский не переносил какого бы то ни было шовинизма. Всякие национальные предрассудки ему были чужды.

«У меня было два великих современника, — говорил он часто, — Альберт Эйнштейн и Рабиндранат Тагор» (конечно, за «Гитанджали»). Для Введенского война была не только и не столько борьбой за отечество, Отечественной, сколько борьбой против темного, человеконенавистнического, дьявольского начала, воплотившегося в фашизме. И ему казалось, что в горниле войны сгорят все те пороки, которые были присущи сталинско-ежовской системе. Мне вспоминается один очень откровенный разговор, который у нас произошел весной 1943 года в Ульяновске.

«Быть может, мы не понимаем Сталина, — говорил он. — Он прежде всего военный человек, и вся его политика неразрывно связана с предвидением войны. Победой в войне эта политика исчерпает себя».

Я выразил несогласие. Победа в войне вскружит голову Сталину и тем, кто стоит за ним, и они увидят в этой победе оправдание своих методов. После победы над фашизмом, говорил я, предстоит упорная борьба у

нас на родине — против самодурства, произвола и единоличной власти. «Может быть, может быть, — сказал он задумчиво, — но это уж вы боритесь, а я устал, с меня довольно». И он замолк надолго, смотря куда-то вдаль... Мы стояли с ним на Венце — на самом возвышенном месте Ульяновска. Чудесная, широкая-широкая Волга расстилалась перед нами. Вдали догорал закат, легкий ветерок трепал его курчавые волосы (он был без шляпы). «Видите, какой закат и какая красота, а вы говорите — бороться», — сказал он наконец.

— А фашизм?

— Да, победить фашизм — это большая задача, и ее хватит на одно поколение. Поймите, крови у людей мало, и ее надо жалеть!

Я закусил удила — природная вспыльчивость взяла верх над иерархической субординацией.

— Антонин Грановский говорил бы не так! — брякнул я вдруг запальчиво.

— Антонин... так ведь он всю жизнь мучился с печенью, умер от рака желчного пузыря. Вы тоже будете в старости болеть печенью, предсказываю вам это, мой милый борец.

Сейчас в Пятигорске, глотая горячую противную воду, которая якобы должна помогать от болезни печени, я часто вспоминаю разговор на Волге и сделанное мне предсказание...

Религиозно-патриотическая деятельность во время войны была единственным, на что, как оказалось, был еще способен А. И. Введенский. Война снова выдвинула его в первые ряды: в эти дни все люди с популярными именами пошли в ход. В августе 1941 года митрополит Виталий, растерявшийся и совершенно беспомощный (его секретарь, проф. Варин, умер незадолго до войны), по чьему-то совету отказывается от власти и передает ее А. И. Введенскому. Введенский берется за дело с необыкновенной энергией (это, кажется, последняя вспышка энергии в его жизни).

Свое восхождение на вершину духовной власти он решил сделать импозантным: прежде всего, он ввел новый титул: «Святейший и блаженнейший Первоиерарх Московский и всех православных церквей в СССР». Эпитеты «святейший» и «блаженнейший» были заимствованы Александром Ивановичем из титула грузинского патриарха — католикоса. Что касается титула «Первоиерарх», то Александр Иванович со свойственным ему юмором говорил следующее: «Не знаю, не знаю — это новый сан. Поэтому я сам не знаю своих полномочий. Вероятно, они безграничны». Некоторые, правда, указывали на то, что этот сан был принят, мягко выражаясь, неканоническим путем — без санкции собора. Следует, однако, отметить, что все имеющиеся в наличии обновленческие епископы одобрили этот титул.

Во время войны были следующие правящие обновленческие епископы:

1. Александр Введенский — первоиерарх Московский и всех православных церквей в СССР.

2. Митрополит первоиерарх Виталий — с правами правящего архиерея.

3. Митрополит Корнилий Ярославский и Ростовский.

4. Митрополит Мельхиседек Архангельский.

5. Митрополит Василий Кожин Ворошиловградский и Орджоникидзевский (Северокавказский).

6. Архиепископ Петр Турбин Тульский.

7. Митрополит Филарет Свердловский (назначен в 1942 году, проживал в Ирбите).

8. Архиепископ Владимир Иванов Краснодарский.

9. Архиепископ Андрей Расторгуев Ульяновский и Мелекесский (в 1943 г. в апреле переведен в Москву с титулом архиепископа Звенигородского).

10. Епископ Сергей Ларин (в октябре 1941 г. рукоположен во епископа Звенигородского). В 1943 г. — епископ Ташкентский и Среднеазиатский.

11. Епископ Димитрий Лобанов Рыбинский, рукоположен в 1942 г.

12. Епископ Сергей Румянцев (управляющий Ленинградской епархией, рукоположен в 1943 г.).

Кроме того, во время войны были призваны с покая:

архиепископ Анатолий Синицын (в 1943 г. назначен архиепископом Алма-Атинским);

архиепископ Сергей Иванцов, бывший Запорожский, с 1944 г. управляющий делами при первоиерархе.

Пребывая на покое, служил в качестве приходского священника в одном из киргизских сёл архиепископ Гавриил Ольховик.

Все эти архиереи в большинстве своем были совершенно посредственными людьми. Лишь четверо из них возвышались над средним уровнем.

Сам Александр Иванович был наиболее высокого мнения о Северокавказском митрополите Василии Ивановиче Кожине. «Вот кого я хотел бы видеть после себя первоиерархом, — часто говорил он, — он управлял бы церковью не хуже, а, может быть, и лучше меня».

В. И. Кожин (впоследствии митрополит Ермоген) был действительно великолепным администратором, человеком веселым, общительным, обладателем живого сангвинического темперамента. Умный и тактичный, он добился крупных успехов на Северном Кавказе. Однако, читая его донесения, рапорты, письма первоиерарху, я всегда испытывал тягостное чувство. Как же бедна Русская Церковь, думал я, если это — самый выдающийся из епископов. Как сейчас вижу эти ровные строчки, написанные четким, крупным почерком, — бесконечные жалобы на соседа Владимира Иванова, благодаря которому, если верить Василию Ивановичу, гибнет обновленчество на Кубани; бесконечные восхваления Северокавказской епархии, где, если опять-таки верить Василию Ивановичу, обновленческое дело идет семимильными шагами вперед и закреплено на столетия. Ни

одного живого слова, ни одной своеобразной мысли, ничего такого, что возвышалось бы над местническими провинциальными интересами.

Своеобразным и энергичным человеком был Андрей Иванович Расторгуев (поныне здравствующий* популярный московский протоиерей). «Мужик с характером», — сказал про него однажды митрополит Виталий.

Действительно, всё обнаруживало в архиепископе Андрее властного, деловитого, крепкого хозяина, начиная от синей бархатной рясы, кончая кучерски выбритым затылком. Волжская окающая речь (он был выходцем из весьма известной на Волге старообрядческой торговой семьи), властные окрики на причетников и, наряду с этим, елейность, степенность, уставная строгость — от него так и веяло Мельниковым-Печерским. Он любил служить, служил истово, чинно. Его заветной мечтой было построить службу точно по типикону.

Впрочем, Андрей Иванович был интеллигентным, начитанным человеком. Он хорошо знал Вл. Соловьева, интересовался искусством, хорошо знал живопись и театр. Человек солидный и рассудительный, архиепископ Андрей питал непреодолимое отвращение ко всему экстравагантному, эксцентричному. Уже через неделю после моего рукоположения во диакона Андрей Иванович (рапортом № 11 за 1943 год) предлагал лишить пишущего эти строки сана, как «неспособного к священнослужению». Не знаю, предвидел ли тогда мой непосредственный начальник (он был им, Впрочем, лишь формально, т. к. я считался диаконом при первоиерархе и зависел исключительно от А. И. Введенского), что Александр Иванович передаст этот рапорт мне в руки со словами: «С каким удовольствием он лишил бы сана и меня».

Я всегда спрашивал себя, что привело к обновлен-

* Протоиерей Андрей Расторгуев скончался 22 декабря 1970 года. — Р е д.

честву этого устойчивого, консервативного человека. Однажды я задал этот вопрос своему шефу.

— Ну что вы, какой он обновленец, — получил я быстрый ответ, — просто семейные обстоятельства... Но и большинство обновленцев теперь такие.

— Где же настоящие? — спросил я.

— Ну что в жизни есть настоящего, — отшутился первоиерарх.

В самом деле — типикон и обновленчество... Каких только парадоксов не рождает жизнь.

Следует отметить также епископа Сергея Ларина (теперь архиепископа Пермского)*.

Как увидим ниже, С. И. Ларин стал на короткое время чуть ли не главой обновленчества.

Обладатель бурной и запутанной биографии, человек страстный, темпераментный и честолюбивый, епископ Сергей был единственным из обновленческих архиереев, который противопоставлял себя А. И. Введенскому и имел свое суждение.

Епископ Сергей был самым талантливым после Введенского архиереем: хороший оратор, человек не лишенный литературных способностей, обладавший пытливым острым умом, он мог бы стать выдающейся фигурой в истории Русской Церкви. Но, к сожалению, недостаточная разборчивость в средствах, слишком интимное соприкосновение с некоторыми одиозными органами власти скомпрометировали честолюбивого, хотя и, несомненно, искренно верующего владыку в глазах духовенства и мирян.

Самым чистым и порядочным из обновленческого епископата являлся, несомненно, сын почтенного ленинградского протоиерея (староцерковника), интеллигентный и начитанный о. Сергей Румянцев. В ранней юности он стал обновленцем по глубокому внутреннему

* Умер в 1967 году в сане архиепископа Ярославского и Ростовского. — А. К.

убеждению. Благоговейный священнослужитель, искренно религиозный человек, о. Сергей в свое время подвергался репрессиям и пользовался общим уважением со стороны верующих ленинградцев. Он никогда не искал епископства и был рукоположен во епископа Ладожского в 1943 году как самый популярный из обновленческих священнослужителей, переживших ленинградскую блокаду. Все эти архиереи на протяжении войны смиренно сидели по местам, произносили патриотические речи, собирали пожертвования на армию и писали почтительные донесения своему первоиерарху. Больше всего они боялись упоминания о своем обновленчестве — о нем не говорили ни с церковной кафедры, ни в частных разговорах. Как однажды выразился Александр Иванович, обновленчество стало чем-то вроде венерической болезни: о нем неприлично упоминать в обществе и его тщательно скрывают. По существу, уже в начале Отечественной войны обновленчество умерло, так как обновленцы сами от него отказались — старались как можно меньше отличаться от староцерковников.

Переломным моментом в жизни обновленческого руководства явилась эвакуация высшего духовенства из Москвы. В октябре 1941 г., в дни самых горячих и упорных боев в Подмоскovie, в которых решалась судьба столицы, в квартире Введенского, в Сокольниках, раздался телефонный звонок. Приятный мужской голос с некоторой картавостью вежливо попросил А. И. Введенского прибыть в Московский Совет, в отдел эвакуации. Там, в отделе эвакуации, одетый в форму МГБ генерал с совершенно очаровательной любезностью сообщил, что А. И. Введенский со своей семьей и митрополит Виталий сегодня вечером эвакуируются в Оренбург. «Там, в глубоком тылу, вам будет удобнее управлять Церковью», — вежливо заключил он разговор.

Как огорошенный, вышел Введенский и снова вернулся, стал указывать на полную невозможность оста-

вить Москву без епископа, на то, что он не может собраться с семьей так быстро, и на то, что эвакуация высшего духовенства из центра в тот момент, когда по всей стране разворачивается грандиозная религиозно-патриотическая кампания, совершенно невероятная вещь.

На все эти возражения генерал отвечал односложно: «Военная необходимость». Что же касается отсутствия епископа, он сказал: «Рукоположите кандидата, тем более, что он у вас есть, ну, хотя бы этот молодой священник в Сокольниках». Речь шла о С. И. Ларине.

День эвакуации из Москвы был, вероятно, самым хлопотливым днем в жизни Александра Ивановича: предстояло в один день собраться в дальний путь вместе с большой семьей, собрать вещи и... рукоположить епископа.

Это рукоположение состоялось в тот же день в Воскресенском соборе (в Сокольниках) самым необычным образом. Ввиду полной невозможности совершить литургию, наречение и хиротония должны были состояться в четыре часа дня. Чин наречения и хиротонии должны были совершить двое — А. И. Введенский и митрополит Виталий. Виталий, однако, опоздал к началу, Введенский начал чин наречения один. Он рассеянно слушал цветистую речь рукополагаемого, когда с трамвайной остановки прибежал запыхавшийся Виталий и занял свое место рядом с А. И. Введенским. Сразу же после наречения архиереи облачились в ризы и, став у престола, возложили руки на посвящаемого. Небольшой хор пропел «Аксиос». Хиротония совершилась*. В тот же вечер к запасным путям Казанского вокзала подъехал автомобиль, из которого вышли элегантный взволнованный интеллигентный человек с внешностью киноактера, в модном осеннем пальто и мягкой шляпе,

* Описание хиротонии дается мною со слов А. И. Введенского. — А. К.

и седобородый высокий, богатырского вида старик — А. И. Введенский и митрополит Виталий. Рядом с ними стояли: миловидная, хорошо одетая молодая блондинка и пожилая женщина в черном платье, похожая на монахиню. Пижонистый молодой человек с усиками, похожий на Александра Ивановича, и другой молодой человек с рыжей бородкой и с безумными, дико блуждающими глазами, от которого пахло водкой, хлопотали около багажника. Это была семья первоиерарха. Появившийся невесть откуда генерал быстро усадил их в вагон. Там уже сидело несколько скромно одетых людей (руководителей баптистской общины) и такой же скромный бородатый человек (одноглазый) — старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси Иринарх.

Едва усьелись по местам, как в дверях началась суматоха — внесли чьи-то вещи, почтительно раскрылись двери вагона: в вагон вошел среднего роста старичок с седой окладистой бородой, в золотом пенсне, с подергивающимся нервным тиком лицом, одетый в рясу и монашескую скуфейку. «Какая встреча!» — бросился к нему Введенский. Улыбнувшись, старичок дружески с ним облобызался. «Да, да, какая встреча!» — сказал пожилой, профессорского вида блондин, сопровождавший старичка, и тоже троекратно облобызался с Введенским.

Вошедшие были старые знакомые Введенского: в последний раз Введенский видел старичка в скуфейке девятнадцать лет назад, осенью 1922 года. А. И. Введенский был тогда молодым преуспевающим протоиереем — зам. председателя ВЦУ*, а старичок был членом ВЦУ, и на осенней сессии в 1922 году они сидели рядом. Теперь Введенский, уже немолодой и непреуспевающий, был первоиерархом обновленческой церкви, а вошедший носил в это время титул: «Патриарший Местоблюститель Блаженнейший Сергей, Митрополит Московский и Коломенский». Рядом с ним стоял петроградский товарищ юношеских лет Введенского — митрополит

* Высшее церковное управление. — Ред.

Киевский и Галицкий Николай.

Полный, осанистый протоиерей* с благообразным лицом, которое очень портили косые, хитренькие и злобные глаза, стоя рядом, любезно улыбнулся. Генерал МГБ улыбался снисходительно и иронически, братья-баптисты и старообрядческий архиерей, скромно потупившись, искоса наблюдали за лобызаниями друзей. Прелестная блондинка нервно пеленала ребенка.

Так началось не имеющее прецедентов в истории Русской Церкви путешествие иерархов вглубь страны. Чего-чего только не было во время этого путешествия. Под Рузаевкой митрополит Сергей почувствовал себя плохо. Люди в белых халатах забегали вокруг него. Здесь было получено из Москвы сообщение об изменении маршрута: по просьбе патриаршего местоблюстителя вагон вместо Оренбурга отправили в Ульяновск. В этот день впервые шепотом было произнесено имя: «Алексий Симанский» (это было тогда, когда митрополиту Сергию было особенно плохо. Вскоре, однако, митрополиту стало лучше — путь продолжали). Под Ульяновском произошла бурная ссора между братьями (сыновьями Введенского), перешедшая в бой, который по своей ожесточенности не уступал настоящей битве. Подавленный бурным темпераментом своих сыновей, Введенский растерянно молчал. Митрополит Сергей робко жался в угол. За окнами мелькали сосны и ели...

Наконец через неделю поезд прибыл в Ульяновск — город, который в течение двух лет (1941—43 гг.) был русским Ватиканом, церковной столицей — местопребыванием высшего русского духовенства. В это время Ульяновск был районным городком Куйбышевской области. До смешного мало изменившийся со времен Гончарова, городок жил тихой сонной жизнью: в городе почти не было тогда заводов, отсутствовала трамвайная линия, автомобили насчитывались единицами.

* Н. Ф. Колчицкий. — А. К.

Война, однако, вторглась и сюда, в эту тихую волжскую заводь: плачущие матери, первые эвакуогоспитали, эвакуированные москвичи, фантастические цены на рынке. Здесь была одна маленькая церковка на кладбище, похожая на часовню, в которой служил молодой иеромонах с весьма сомнительной репутацией, много кочевавший по различным течениям, в прошлом григорьевец, потом обновленец, ныне и сам хорошо не знавший, кто он такой. После прибытия поезда с патриаршим местоблюстителем, молодой иеромонах немедленно изъявил свою покорность, и кладбищенская церковь стала первым форпостом Московской патриархии на Ульяновской земле. Однако форпост был слишком жалкий: патриаршему местоблюстителю негде было даже остановиться; начались лихорадочные поиски храма. Эту проблему разрешить оказалось не так просто: в Ульяновске — городе, когда-то богатом церквями, не осталось не только церквей, но даже храмовых помещений. Гигантская статуя Ленина возвышалась на самом высоком месте города, где когда-то был собор. Сквер был разбит на месте древнего Вознесенского храма. Две городские церкви — Ильинская и Германовская — не были еще снесены, хотя и давно бездействовали. Однако были настолько исковерканы, что привести их быстро в сколько-нибудь сносный вид, да еще в военное время, было совершенно невозможно. После долгих совещаний в горсовете Колчицкого озарила блестящая идея — переоборудовать под патриархию бывший костел на улице Водников (бывшая Штальная) с примыкающим подсобным помещением, где когда-то жил ксёндз. Вскоре в бывшем костеле открылась небольшая церковка с громким названием Казанский собор, а в бывшую квартиру ксёндза въехал патриарший местоблюститель.

Таким образом, на берегах Волги православие одержало грандиозную победу над католицизмом — увы, кажется, это единственная победа за последние сто лет. Что касается Введенского, то первые два дня он сидел

в вагоне. «Ульяновск так меня ошарашил, что я буквально не мог себя заставить сдвинуться с места», — вспоминал он. Наконец ему было сказано: «Ищите, любое помещение, которое вам понравится, отдадим под храм». После этого Александр Иванович предпринял экскурсию по городу. В результате долгих поисков он забрел в самый отдаленный район Ульяновска — на Куликовку. Здесь он увидел странное помещение — деревянный дом (без купола), но несколько напоминающий церковь.

— Бабушка, что здесь раньше было? — спросил он у первой попавшейся старушки.

— Церква, церква здесь была, гражданин, Неопалимая Купина, — ответила бабушка.

«Вот здесь будет наш храм», подумал первоиерарх и стал узнавать, что находится здесь теперь. Энтузиазм Александра Ивановича значительно остыл, когда он узнал, что теперь здесь находится склад МГБ. Однако обещание было выполнено: на другой же день весь скарб был выброшен из помещения и на дверях появилось следующее объявление: «Ввиду предстоящего открытия храма, просят верующих жертвовать иконы». В городском музее Александр Иванович разыскал царские врата и образ Неопалимой Купины, митрополит Виталий договаривался со столяром насчет престола, высчитывая с карандашиком в руках длину и ширину. Новый храм был вскоре освящен: на престоле был положен антиминс из какого-то давно закрытого храма, на котором корявым почерком было написано черными чернилами: «Божией Милостью, митрополит Александр Введенский». Полусельский деревянный храм неожиданно стал религиозным центром обновленчества на Руси.

Довольно поместительный внутри, он совершенно не отапливался. Дары часто замерзали в святой чаше. Иней лежал на стенах. Зимой там был почти полярный холод. Одетый в шубу с поднятым воротником и в ва-

ленках, на клиросе читал и пел, исполняя обязанности псаломщика, недавний первоиерарх — митрополит Виталий. В храме обычно присутствовало десять-пятнадцать бабушек, укутанных вместо шуб в одеяла. По воскресеньям народу было больше; иной раз набиралось свыше сотни человек. Все они с некоторым изумлением смотрели на бритого, горбоносого проповедника, который сотрясал своим прославленным голосом деревянные стены и поражал молящихся своеобразной манерой служения.

И сейчас, в старости, манера служить у него осталась прежняя полудекадентская: от каждого слова, от каждого жеста веяло Блоком, Сологубом — дореволюционным декадентским Петербургом.

Он жил неподалеку, на улице Радищева, 109, снимая две комнаты в деревянном доме. И здесь, в Ульяновске, он не изменял обычного образа жизни: рояль был главным украшением скромной комнатки. День начинался с Шопена, вечером обычно вступал в свои права Лист. «Ваше Величество, нельзя ли играть потише, а то у нас дети», — обратилась однажды к А. И. Введенскому соседка. Александр Иванович без малейшего изумления обещал играть потише.

— Почему она вас так титулует? — спросил я.

— Ну, она же знает, что у меня есть какой-то экзотический титул, только не знает — какой, — со свойственным ему юмором отвечал Введенский.

Для меня всегда останется памятен день 26 декабря 1942 года — морозный, солнечный день, когда я впервые переступил порог маленького дома на улице Радищева. Я приехал сюда из Томска, куда был эвакуирован мой институт (я был преподавателем ленинградского Театрального института).

«Это очень, очень приятно, что вы приехали. Я так рад вас видеть», — этой фразой встретил меня в передней хозяин дома.

Я не видел его перед этим девять лет (с 1933 года).

Ему исполнилось пятьдесят три года, но выглядел он на редкость молодо: быстрые, нервные движения, быстро меняющееся выражение лица, хорошо сшитый однорортный пиджак. Лишь седина мелькает в черных курчавых волосах, и немного большие грусти в чудесных глубоких глазах.

Этим утром начался знаменательный период моей жизни — время интимного сближения с человеком, которого я с детства считал своим учителем и вождем, которого я всю жизнь любил и которым безгранично восхищался. Здесь, в ульяновских условиях, началось наше близкое знакомство, оставившее неизгладимый след в душе навсегда.

Я хотел написать о нем всё, что я знаю. И почувствовал, что не могу этого сделать. Слишком дорог мне этот человек и сейчас, чтоб я мог писать о нем объективно, и слишком острую боль вызывают у меня многие близкие к Введенскому люди, и я должен щадить их чувства.

Буду писать только то, что представляет собой общий интерес.

В памяти всплывают различные разрозненные картины.

Вот идем мы в воскресенье на Красную горку в теплый майский день к литургии. Он в белом клобуке. Я иду рядом. «Смотрите, мотыльки; вот будете писать обо мне воспоминания, не забудьте написать про то, как шли мы с вами служить литургию, а вокруг порхали белые весенние мотыльки», — говорил он.

Исполняя желание покойного, высказанное двадцать лет назад, скажу от себя: и в душе у него всегда была чистая и ясная весна.

Суров и несправедлив суд человеческий, милосерден и праведен суд Божий, ибо человек всегда субъективен, вполне объективен лишь Бог. И в справедливости выражается богоподобие человека.

Много упреков адресуют люди Введенскому. В своей «Истории церковной смуты» мы сами говорили о многих предосудительных поступках. Здесь мы скажем: душа у него была красивая и чистая — душа артиста, поэта, гуманиста, музыканта, впечатлительная и восприимчивая ко всему прекрасному.

Он вставал в воскресенье в шесть часов утра; он часто вспоминал Андрея Белого, который за всю жизнь не пропустил ни одного солнечного восхода. После прогулки он садился за рояль и долго играл, а потом переставал играть... и сидел, задумавшись, над роялем. Я любил смотреть на него в это время: молодое, прекрасное лицо, хорошие глубокие глаза, проникновенные и лучистые. Но вот резкое движение: он встает из-за рояля, захлопывает крышку и идет в соседнюю комнату читать Правило перед причащением. К евхаристии он относился с особым чувством: «Евхаристия — это основа моей духовной жизни, всей моей религии», — часто говорил он.

А потом он шел служить литургию. Я часто (почти постоянно в тот период) служил вместе с ним. Служил он по-разному: он всегда был человеком настроения. Одно можно сказать: он никогда не служил механически. Я помню одну литургию Преждеосвященных Даров, когда он был настроен лирически и грустно. Митрополит Виталий густым басом пел: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою», а владыка Александр стоял и кадил у престола, и вдруг он начал плакать, и так плакал всю литургию, плакал и утирал слезы, и снова плакал, и прерывающимся от слез голосом произносил возгласы. И какое-то дуновение прошло по храму: у диакона, у певчих, даже у сдержанного и холодного владыки Виталия, у молящихся — у всех на глазах были слезы.

Просто и искренно, без византийской пышности, совершал он эту литургию. «Древнехристианское богослужение, обедня в катакомбах», подумал я.

Большей частью его служба была, однако, порывистая и эмоциональная. Человек повышенной страстности и горячего темперамента, притом чуткий и впечатлительный, он обычно служил в состоянии особого нервного подъема.

В момент пресуществления он находился в состоянии особой экзальтации. Громко, каким-то особым захлебывающимся голосом он читал тайные молитвы еucharистического канона. Во время «Тебе поем» он с надрывом, напоминающим декадентские стихи, произносил призывание Святого Духа. Потом взволнованно, не слушая диакона, произносил слова благословения даров. На всю жизнь осталась у меня в памяти интонация, с которой он мучительно, не видя и не слыша ничего вокруг, восклицал: «Преложив Духом Твоим Святым», а затем падал плашмя у престола и долго лежал и плакал. Вставал же просветленный, успокоенный, добрый...

Он часто говорил о своих грехах, каялся в них публично... всегда был готов загладить каждый свой грех... Увы! Не всегда их можно было загладить...

Он был широким человеком — интерес к искусству, к науке, к общественно-политическим вопросам был присущ ему органически, он не мог не думать об этих вопросах. Он был христианским социалистом: «Я могу понять лишь религиозное обоснование социализма», — говорил он часто.

Вернее — его социализм был религиозно-эстетическим социализмом. «Музыка и религия, религия и музыка — вот что в жизни главное, и надо, чтобы жизнь была наполнена этими двумя божественными стихиями», — часто говорил он.

И отсюда Анри Бергсон. Он был убежденным последователем французского философа. В Бергсоне его привлекала, как мне кажется, не столько сама философская система, сколько общая религиозно-эстетическая окраска, свойственная произведениям великого философа. Я часто спорил с Введенским в это время. Мне, идуще-

му от Гегеля, была неприятна та антирационалистическая струя, которой проникнуты произведения Бергсона.

Однако Александр Иванович твердо стоял на позициях интуитивизма: по его глубочайшему убеждению, в основе жизни лежит не разум, а мощные жизненные стимулы, их стихийное течение и сплетение — это и есть жизнь.

Христианство и Сам Христос есть воплощение мощных, прекрасных стимулов — реализация божественной стихии, которая действует в мире, тогда как дьявол есть субстанция, в которой воплощены все темные, уродливые стихии мира сего.

Оба начала, однако, начала стихийные, иррациональные, — в этом был непоколебимо уверен Александр Иванович.

— Каково же место человеческого разума в этом мире? — спросил я однажды.

— Это нечто временное, срединное, равновесие между стихиями, — услышал я в ответ, и он с чувством процитировал Владимира Соловьева:

И тяжкий сон житейского сознанья

Ты отряхнешь, тоскуя и любя.

Мы часто разговаривали с ним о смысле жизни и философии, гуляя весной 1943 года по берегу Волги. Свежий ветер дул с реки — стояла чудесная русская весна. Между тем шла кровавая истребительная война. Жизнь ставила новые и новые вопросы — в церковной жизни назревали важные перемены.

«Обновленчество потерпело крах», — сказал однажды с присущим ему чувством реализма митрополит Виталий.

Конечно, и Александр Иванович не мог не видеть приближения краха. Однако слишком дорого ему было дело всей его жизни, чтоб он мог легко примириться с его провалом. Он не мог и не хотел принять этого не-

сомненного факта. Конечно, и для него было ясно, что обновленчество не может стать господствующим течением в Русской Православной Церкви. При этом он не обманывался насчет действительных причин этой невозможности. «Вся беда в том, — говорил он неоднократно, — что в глазах народа мы являемся, говоря языком Великой французской революции, присяжным духовенством. Нас больше всего компрометирует Красницкий, тогда как Антонин Грановский (несмотря на все свои сумасбродства) нас несколько не компрометирует».

Введенский, однако, считал, что можно сохранить обновленчество в качестве своеобразного течения — типа старообрядчества или, если угодно, секты.

Я помню один из его примеров: Армяно-Григорианская Церковь.

«Она существует полторы тысячи лет как своеобразное подобие Вселенской Церкви, — сказал он однажды. — Вот видите, насколько самодовлеющей может быть ересь. Почему бы и нам не сделать нашу, так сказать, ересь столь же самодовлеющей, как Армяно-Григорианская Церковь!» — задал он риторический вопрос.

Я промолчал. Тогда я еще не понимал, почему нельзя этого сделать, но мне не нравился провинциализм религиозного течения, живущего местническими интересами, на отшибе от Вселенской Церкви.

Увы! Теперь я ясно и отчетливо понимаю, почему предположение А. И. Введенского было нереально-утопично.

Религиозное течение (раскол, ересь, секта) могут действительно существовать тысячелетия («Тому в истории мы тьму примеров слышим»). Однако при одном непременном условии: это течение должно отвечать заветным сокровенным чувствам какого-то более или менее многочисленного слоя людей. Так, например, Армяно-Григорианская Церковь существует полторы тысячи лет потому, что она (независимо от монофизитской док-

трины) стала национальным знаменем многострадального, рассеянного по миру народа. Лишь держась на гребне религиозного фанатизма, может выплыть на историческую поверхность любое религиозное течение. Такая возможность была у обновленчества в двадцатых годах, и эта возможность осуществилась, если бы обновленчество пошло путем, которым призывал идти Антонин, — путем смелых литургических и канонических реформ. Получилось бы малочисленное, но влиятельное своеобразное течение, и оно нашло бы своих энтузиастов и фанатиков. Однако обновленчество во главе с Введенским отвергло Антонина. О причинах очень откровенно сказал мне однажды Введенский: «Я вам скажу правду: я испугался, что останусь один». Но отказавшись от всяких реформ, обновленчество стерло само себя, всякое своеобразие — превратилось в узкопрофессиональное «поповское» движение, совершенно неспособное вызвать в ком-либо энтузиазм, и этим предопределило свой конец.

Конец наступил весной 1944 года. Меня в это время в Ульяновске уже не было, но по многочисленным рассказам непосредственных участников событий (в том числе и самого Александра Ивановича) я хорошо знаю обстоятельства катастрофы, которая постигла обновленцев. Осенью 1943 года состоялась знаменитая встреча И. В. Сталина с тремя митрополитами — после восемнадцатилетнего перерыва Русская Церковь вновь увенчалась патриархом. Александр Иванович, в здоровье которого проявился перед этим первый тревожный симптом — парез, вскоре также вернулся в Москву, оставив митрополита Виталия и семью в Ульяновске.

В Москве он вступил в управление епархией и каждое воскресенье служил с большим торжеством в одном из обновленческих храмов. В провинции всё было спокойно, лишь носились какие-то неясные слухи. В Октябрьский праздник 1943 года А. И. Введенский, по установившейся уже традиции, послал приветственную теле-

грамму Сталину, которая была опубликована в прессе. Неясным оставалось лишь юридическое положение обновленчества: в это время были учреждены две правительственные инстанции — Совет по делам Русской Православной Церкви и Совет по делам религиозных культов. А. И. Введенский хотел поставить обновленчество в ведение Совета по делам религиозных культов, — это создало бы юридическую легализацию: наряду с католиками, протестантами, баптистами могло бы существовать и обновленчество. Введенскому, однако, без каких бы то ни было оснований, было отказано в его просьбе — по-прежнему он оставался в ведение Карпова (в Совете по делам Русской Православной Церкви). Получался юридический нонсенс, который не предвещал ничего доброго: власть упорно отказывалась рассматривать обновленчество как независимое религиозное течение — обновленчество оставалось частью Православной Церкви.

Между тем ранней весной в семейной жизни А. И. Введенского произошло важное событие: у него родилась дочь Ольга — в Ульяновске, где проживала его семья. Заботливый и нежный семьянин, А. И. Введенский поехал в Ульяновск. Карпов достал ему пропуск с правом возвращения в Москву (напомним, что во время войны все переезды из одного города в другой совершались только по пропускам или по командировочным удостоверениям).

Охотник до каламбуров мог бы сказать: день рождения Ольги стал днем смерти обновленчества. Действительно, поездка А. И. Введенского в Ульяновск очень облегчила дело ликвидации обновленческого раскола.

После благополучного появления на свет дочери и ее крестин, Александр Иванович стал собираться в обратный путь. Здесь следует упомянуть об одном незначительном, но очень характерном эпизоде: в то время в Ульяновске подвизался некий иеромонах Феодосий. Человек морально растленный и во всех отношениях не-

чистоплотный, Феодосий побывал во всех течениях и, изгнанный отовсюду с позором, примазался к обновлениям. Как всем было известно, Феодосий был штатным агентом МГБ. И вот приходит пьяненький иеромонах к одному из сыновей Введенского накануне отъезда первоиерарха в Москву и заявляет: «А владыка-то в Москву не уедет, а пропуск-то окажется недействительным. Вот увидите!»

Никто не обратил внимания тогда на эту пьяную болтовню. И вот на другой день выяснилось, что пьяненький иеромонах оказался провидцем. Когда первоиерарх сидел в поезде, к нему подошел проводник в сопровождении двух работников МГБ и попросил предъявить пропуск.

После того, как пропуск был предъявлен, один из работников перечеркнул его и, сунув в карман, вежливо заявил: «Извините, но пропуск вызывает у нас сомнения, и нам придется запросить Москву. Тотчас после проверки вам будет выдан новый пропуск». И козырнув, работник МГБ прошел в следующее купе, а первоиерарху ничего другого не оставалось, как выйти из вагона за пять минут до отхода поезда.

Когда-то в двадцатых годах Александр Иванович в одной из своих речей называл «тихоновцев» пассажирами, опоздавшими на поезд советской государственности. Теперь в роли злополучного пассажира (и в буквальном, и в переносном смысле) оказался он сам.

В течение недели сидел Введенский в Ульяновске. Каждый день он говорил по телефону с архиепископом Андреем (Расторгуевым), и каждый разговор приносил какой-нибудь сюрприз.

В первый же день первоиерарх узнал о том, что в патриархию отошло Ваганьковское кладбище, затем последовало Дорогомиловское, затем — Пятницкое, Калитниковское, Даниловское. Еще два дня молчания, и первоиерархом была получена телеграмма от А. И. Расторгуева о том, что он со всем приходом Воскресенского

собора в Сокольниках отходит к патриарху. Дом № 34, принадлежащий А. И. Введенскому, в котором проживал архиепископ Звенигородский, будет, сообщал он, им немедленно покинут. Таким образом, в течение одной недели в Москве остался лишь один обновленческий храм — Пименовский.

Не радовали и вести из провинции: совершенно прекратились всякие известия из Средней Азии. Отчаянные телеграммы А. И. Введенского к епископу Сергию Ларину, Гр. Брицкому, И. Е. Лозовому оставались без ответа. Наконец, пришла сухая телеграмма от Лозового (личного эмиссара Введенского), в которой сообщалось, что Среднеазиатская епархия признала патриарха, «в связи с чем поминовение Вашего имени за богослужением нами прекращено».

Это был страшный удар: ведь Средняя Азия была главной цитаделью обновленческой церкви, насчитывающей 90 с лишним храмов и молитвенных домов. Как мне удалось выяснить впоследствии, из Средней Азии (из Киргизии, Казахстана) летели к Введенскому в Москву и Ульяновск сотни писем и телеграмм от священников и мирян с запросами, однако ни одного письма А. И. Введенский не получил. Вслед за Средней Азией пали две другие обновленческие твердыни — Кубань и Северный Кавказ.

Таким образом, обновленческая церковь рассыпалась вся в течение десяти дней, — после этого срока А. И. Введенский получил из транспортного отдела МГБ обратно свой пропуск с извинением и с извещением, что в результате проверки «пропуск подтвержден».

Печальным было возвращение А. И. Введенского в Москву. Оно было подобно возвращению хозяина, который нашел вместо дома пепелище.

В ведении А. И. Введенского остались всего два епископа: митрополит Виталий и митрополит Северо-Уральский Филарет (все остальные принесли покаяние перед патриархией и отошли от обновленчества). В его

ведении не осталось ни одной епархии, и в самой Москве у него остался лишь один храм — Пименовский. Зато Карпов встретил прибывшего из Ульяновска гостя с утонченной любезностью: он сердечно поздравлял с рождением дочери, передавал привет супруге, подробно расспрашивал о здоровье и т. д. Тут же он обещал оказать содействие в возвращении в Москву семьи А. И. и митрополита Виталия. Это слово он сдержал: через несколько дней пропуск был получен.

Таким образом, взамен утерянной церкви А. И. Введенскому было предоставлено право наслаждаться семейными радостями. Впрочем, при возвращении семейства в Москву произошел характерный эпизод, который не предвещал ничего доброго. В это время А. И. Введенский проживал в Сокольниках в доме № 34 по 3-й Сокольнической улице. Здесь помещался когда-то обновленческий синод, и так как церковь тогда не имела права юридического лица, дом был куплен на имя А. И. Проживал он здесь до войны совместно с митрополитом Виталием. Однако семейные обстоятельства Введенского были таковы, что совместное проживание с кем бы то ни было, особенно с другим иерархом, было очень тягостно. И вот при возвращении ульяновских беженцев в Москву разыгрался следующий эпизод: А. И. Введенский встретил своего собрата и свою семью на вокзале. Однако, к изумлению митрополита Виталия, для приезжих был подан не один, а два автомобиля. Вторым автомобиль предназначался для владыки Виталия, и тут А. И. со смущенной улыбкой объяснил, что «из соображений ваших удобств, владыко, я договорился с матерью Анны Павловны о том, что она пока предоставит вам помещение». Сдержанный Виталий молча наклонил голову и поехал в свою новую резиденцию, которая помещалась в полуподвальном этаже.

Затем начались церковные будни. Отныне московский быт обновленческого руководства мало чем отличался от ульяновского. Так же имелся только один

храм. Митрополит Виталий, фактически превратившийся в заштатного священника, так же исполнял обязанности псаломщика и тщательно «делил кружку». Наконец, так же, как в Ульяновске, причт состоял, главным образом, из сыновей Введенского: трое из шести. Через две недели перед Великим Постом произошло, однако, новое завершающее событие: неожиданно исчез митрополит Виталий — вдруг перестал ходить в церковь (обычно он аккуратно посещал богослужения утром и вечером). После нескольких дней отсутствия Александр Иванович в сопровождении сына отправился его навестить. Войдя в комнату, они увидели митрополита, сидящего в шубе (в 1944 году паровое отопление в Москве во многих домах еще не действовало). Поднявшись навстречу первоиерарху, митрополит Виталий сказал:

— Владыко, я перешел к патриарху.

— Вы каялись? — спросил Введенский.

— Надо мной прочли молитву, — ответил Виталий.

Через несколько минут закончилась последняя встреча двух обновленческих первоиерархов.

Уход митрополита Виталия (теперь он получил от патриарха Сергия титул архиепископа Тульского и Белевского, впоследствии — архиепископа Димитровского) был последним завершающим ударом по обновленчеству.

Совершилось то, чего всю жизнь боялся Введенский, — он остался один. Между тем, пока Введенский переживал очень тяжело и мучительно крах своего дела, на периферии завершался процесс ликвидации обновленчества: из обновленческих архиереев лишь двое — архиепископ Виталий и епископ (ныне митрополит) Корнилий — были приняты в сущем сане. Несколько архиереев, женатые и рукоположенные до раскола, были приняты как протоиереи: Василий Кожин, Петр Турбин, бывший Тульский и Белевский Андрей Расторгуев, Владимир Иванов, Анатолий Сеницын. Трое — С. И. Ларин, С. В. Румянцев и Димитрий Лобанов,

получившие все священные степени в обновленчестве, были приняты мирянами (Сергий Ларин — монахом) и должны были начать с пострижения в псаломщики и иподиаконы. Правда, через некоторое время всё опять встало на свои места. Женатые архиереи преобразились в протоиереев, неженатые — снова получили епархии.

В это время возвращаются из ссылки еще несколько обновленческих архиереев, которые также соединяются с патриархом: Тихон Димитриевич Попов, бывший митрополит Воронежский, был принят протоиереем и назначен ректором Богословского института, Сергей Иванцов, бывший архиепископ Запорожский, был принят протоиереем. Однако тут же как вдовый пострижен в монашество с наречением имени Софроний и рукоположен во епископа Ульяновского и Мелекесского. Михаил Постников (архиепископ бывш. Царицынский) принят в сущем сане и вскоре назначен епископом Пензенским и Инсарским. Александр Щербаков, архиепископ Витебский, принят протоиереем.

Покаяния обновленческих архиереев происходили в патриархии, покаяния рядового обновленческого духовенства также были келейными (происходили в алтаре). Епархии, сплошь обновленческие, принимались архиереем, специально назначенным для этого патриархией: так Среднеазиатскую епархию принимал архиепископ Куйбышевский Алексей, а Северокавказскую и Кубанскую — епископ (ныне митрополит) Ставропольский и Бакинский Антоний*.

Вскоре же из числа обновленческого епископата осталось три человека: митрополит Северно-Уральский Филарет (Яценко), архиепископ Алексей (Мичулин) и архиепископ Гавриил (Ольховик). Из этих трех архиереев самой колоритной и характерной фигурой был митрополит Филарет. К этому времени ему было около 80 лет, однако владыка почему-то любил преувеличи-

* В Бозе почил в декабре 1962 г. — А. К.

вать свой возраст и говорил, что ему 86 лет. Бывший гусарский офицер, принявший монашество задолго до революции, Филарет Яценко в течение длительного времени был архимандритом в различных украинских монастырях. Присоединившись в 1923 году к расколу, он был рукоположен в епископа. В 1931 году он совершенно исчезает с арены — что он делал, где он в это время был, никому неизвестно. Появляется он вновь лишь в 1943 году в Ульяновске. Здесь происходит характерный эпизод: митрополит Филарет подает заявление Введенскому о том, что он просит призвать его с покоя и предоставить ему кафедру. Тут же он был назначен митрополитом Свердловским и Северно-Уральским. Впоследствии, однако, выяснилось, что одновременно с заявлением Введенскому, Филарет Яценко подал заявление и патриаршему местоблюстителю. Не знаю, почему (вследствие ли этого опрометчивого шага или вследствие каких-либо других причин), Филарет Яценко, постучавшись после развала Северно-Уральской епархии в двери к патриарху, нашел их наглухо закрытыми. Почему-то Филарет Яценко оказался единственным обновленческим архиереем, которому было категорически отказано в приеме в Православную Церковь.

Приехав в Москву, Филарет занял вакантное место, оставшееся после ухода Виталия, и так же стал безместным священником при Пименовском храме, с громким титулом митрополита Крутицкого. В это время неожиданно появился в Москве Алексей Мичулин (бывший епископ Петропавловский). Типичный сельский священник (и по своему характеру, и по своему кругозору), о. Алексей совершенно случайно в двадцатые годы попал в провинциальные обновленческие епископы, а в 1930 г. — в эпоху колхозного переворота — тихо и незаметно покинул архипастырскую работу и занялся где-то в глуши физическим трудом.

Теперь, после войны, Алексей Мичулин поселился под Москвой у сына. Изредка он служил вместе с Вве-

денским у Пимена, тщательно скрывая это от своих детей (сына и дочери), которые каждый раз, узнавая о служениях отца, устраивали ему безобразные скандалы. Где-то в глубине Средней Азии до 1947 года в киргизском селе служил в качестве сельского священника епископ Гавриил Ольховик. Вот и всё, что осталось от обновленческой организации к концу войны.

Единственным обновленческим храмом, признанным официально, был Пименовский храм в Москве. Лицо Пименовского прихода того времени — это лицо умирающего, слабо тлеющего, дгорающего обновленческого раскола.

Я вспоминаю об этих последних днях обновленчества, как о каком-то кошмаре. Кошмарное впечатление производил внешний вид храма; долгие годы не ремонтировавшийся, с осыпавшейся штукатуркой, с потускневшей живописью, храм носил на себе печать «мерзости запустения».

Нерачительный хозяин, человек богемы, А. И. Введенский был совершенно беспомощен в роли настоятеля. Было и еще одно обстоятельство, определявшее плачевное состояние приходского хозяйства: доходы прихода должны были восполнить исчезающие доходы, стекавшиеся в кассу первоиерарха еще недавно со всей страны.

Еще более кошмарное впечатление производил причт Пименовского храма: около Введенского в это время оставались лишь одни обновленческие подонки. Наиболее популярным в приходе священником был некий отец Никита — безграмотный старенький попик, рукоположенный из псаломщиков, — он остался с Введенским по причине второбрачия. В 1944 году Введенскому пришла в голову безумная мысль рукоположить его в епископа несуществующей епархии (Бог знает зачем — видимо, чтоб сохранить на всякий случай обновленческую иерархию). Совместно с Филаретом Яценко А. И. Введенский произвел чин наречения. Однако

накануне хиротонии, долженствующей произойти в ближайшее воскресенье, на квартиру к Введенскому позвонил весьма известный среди московского духовенства Трушин (уполномоченный по делам Русской Православной Церкви по Московской области). «Передайте Александру Ивановичу, — сказал он секретарю, — что я категорически запрещаю служить Филарету Яценко как незарегистрированному». Хиротония, таким образом, отпала автоматически. О. Никита, однако, носил после этого панагию и выходил на Малом входе с посохом, считая себя «нареченным» епископом.

Другим священником был о. Андрей Введенский — один из сыновей А. И. Человек психически ненормальный, хронический алкоголик, о. Андрей был знаменит своими скандалами. Его богослужение производило жуткое впечатление; казалось, служит человек, находящийся в белой горячке и сбежавший из сумасшедшего дома. Об этом неудачном отпрыске первоиерарха, носящем на себе скорбную печать вырождения, можно было бы сказать многое. Есть, однако, обстоятельство, которое несколько примиряет с его памятью: он погиб трагической, страдальческой смертью. Выгнанный отовсюду после смерти отца, несчастный пьяненький священник скитался по Москве, живя за счет панихидок, которые он служил на кладбищах. В 1948 году за какие-то пьяненькие высказывания Андрей Александрович был арестован, несмотря на то, что его психическая ненормальность была совершенно очевидна. Бериевская мясорубка заработала — А. А. Введенский получил стандартные десять лет и был заключен в Каргопольском лагере (в Архангельской области). Через три года он трагически погиб во время безумной попытки к бегству: в тот момент, когда заключенные шли строем на работу, Андрей Александрович вырвался рывком из строя и побежал по направлению к лесу. Восемь выстрелов в спину, изрешетившие несчастного, были расправой МГБ с психически ненормальным человеком.

Таковы были два священника, служившие у Пимена вместе с Введенским.

Полусумасшедший пьяница диакон Рождественский (лишь немногим отличавшийся от о. Андрея), А. А. Введенский, также служивший диаконом* (подробнее о его роли см. «Мой ответ журналу 'Наука и религия'») и еще несколько причетников довершали картину.

Справедливости ради надо отметить, что на этом фоне всё же промелькнуло два порядочных человека — Иван Андреевич Попов, бывший учитель, пришедший в Церковь по призванию, глубоко религиозный человек, рукоположенный А. И. Введенским в священника, и Владимир Александрович («Володя») — третий сын Введенского, добрый, бесхитростный мальчик, служивший в это время диаконом. Оба представляли собой некоторый просвет на мрачном фоне обновленческих подонков.

Сам А. И. Введенский находился в это время в состоянии тяжелой моральной депрессии — наступил самый страшный, тяжелый период его жизни. Его проповеди, ничем не напоминавшие проповеди прежнего Введенского, собирали, однако, огромное количество людей: искорки гения, хотя и почти потухшего и бесильного, всё же согревали людские души.

Последние два года жизни Введенского — это период надрывной тоски и непрерывных унижений.

Оставшись совершенно один, теснимый со всех сторон, А. И. сделал в это время несколько попыток к примиренью с Церковью. Эти попытки, совершенно бесплодные, лишь отравили его душу, унизили его в собственных глазах.

Первоначальная попытка была сделана А. И. Введенским на Пасху 1944 года, когда он послал пространную телеграмму патриарху Сергию. Патриарх упомина-

* А. А. Введенский (ныне диакон Калитниковского кладбища) состоит с 1940 г. на секретной службе в КГБ. — А. К.

ет об этой попытке в одном из своих писем епископу Александру, напечатанном в книге «Патриарх Сергей и его духовное наследство» (Москва, 1947 г.).

«А. И. Введенский решил сделать нечто великое или во всяком случае громкое, — пишет патриарх, — прислал мне к Пасхе телеграмму: «Друг друга обымем» — себя именует руководителем меньшинства в православии, меня — руководителем большинства. Телеграмма подписана: доктор богословия и философии — Первоиерарх православных церквей в СССР. Я ответил: А. И. Введенскому. Благодарю за поздравление. Воистину Воскресе. Патриарх Сергей. Дело, мол, серьезное и дурачиться не полагается» (стр. 228).

Перед собором 1945 года А. И. Введенский через Карпова пытался получить приглашение на собор — тщетная попытка. В дни собора А. И. делал несколько попыток встретиться с прибывшими в Москву восточными патриархами. Снова неудача. Наконец, после собора, А. И. Введенский капитулировал: помянул на Великом входе патриарха Алексия и стал публично молиться об упокоении патриархов Тихона и Сергия.

В июне 1945 года он написал письмо патриарху Алексию. Начались тягучие, заранее обреченные на неудачу, переговоры с патриархией.

Получив приглашение, А. И. Введенский (в белом клобуке и в панатии) направился в Чистый переулок, в патриархию. Патриарх Алексий, однако, его не принял: он в это время сидел в саду и не вышел к посетителю. А. И. Введенского принял Н. Ф. Колчицкий. Любезно показав гостю помещение патриархии, Н. Ф. Колчицкий усадил его в зале — начались переговоры. Первоначальный проект Введенского — быть принятым в сане епископа (причем А. И. Введенский изъявлял готовность изменить свое семейное положение) отпал сразу. Тогда был выдвинут новый проект: вопрос о сане оставить открытым и принять А. И. Введенского в качестве профессора Духовной академии. Однако и этот проект не

удовлетворил Н. Ф. Колчицкого, разыгрывавшего из себя такого «неусыпного стража православия». Он потребовал покаяния. На этом первое свидание было окончено. В ближайшие месяцы у А. И. Введенского появился сильный союзник — митрополит Николай, который высказывался за компромиссное решение. Однако «твердокаменная преданность православию» Колчицкого, видимо, думавшего, что таким образом можно заставить людей поверить в его идейность (Колчицкий и идейность!), и глухая антипатия патриарха, оставшаяся с 1922 года, — сделали свое дело. В сентябре Колчицкий объявил по телефону окончательное решение: А. И. Введенский после покаяния может быть принят лишь мирянином, и единственное место, которое ему может быть предоставлено, — это место рядового сотрудника «Журнала московской патриархии».

Всё было кончено: судьба Введенского была определена — отныне он был осужден на полное одиночество до конца своих дней.

При характере Александра Ивановича, при его потребности в триумфах, при его жажде разнообразия, — это был смертный приговор.

И вскоре наступила смерть.

Тревожные симптомы, говорившие о тяжком заболевании, обозначились еще в Ульяновске — осенью 1943 года. Гипертония в тяжелой форме — таков был диагноз, поставленный ульяновскими и подтвержденный московскими врачами. Тяжелые переживания, связанные с распадом обновленчества, тяжелые семейные неурядицы, при нервной, импульсивной натуре А. И., усилили болезнь: в ночь на 8 декабря 1945 года его разбил паралич.

Очень медленно стал он поправляться после удара. Я видел его во время болезни трижды. Я пришел к нему Великим постом в 1946 году, он принял меня ласково и грустно — провел по комнатам, указал на постель. «Вот мой враг, — сказал он, — как ужасно лежать здесь од-

ному, бессонной ночью! Как ужасно!» — повторил он еще раз.

Грустен он был и на Пасху: он служил (несмотря на болезнь) всю Страстную неделю, а на Пасху служить не мог. Он вышел ко мне в светлом праздничном костюме.

«Христос Воскресе! — сказал он и тут же прибавил: — Последняя Пасха».

Особенно врезалась в память последняя наша беседа — 20 июня 1946 года. Мы сидели с ним в саду — он в глубоком плетеном кресле, я — около, на скамеечке. Он был настроен нервно и всё время метался, порывался куда-то идти. Болезнь страшно изменила его — передо мной сидел уже старый, седой человек.

Речь его, больная и путаная, однако, сверкала блесками таланта, того чудесного таланта, который всегда так радовал собеседника.

— Я предпочитаю общество автомобилей обществу людей, — бросил он мельком, — уж они-то не меняют своих убеждений.

И, чувствуя на себе насмешливый, скользящий взгляд собеседника, я смущенно отвечаю:

— Но ведь они и не любят, и не привязываются, владыко.

— Да, да, это правда, не любят и не привязываются. А вы меня любите? — Глаза смотрят так же насмешливо и иронически, теперь прямо в упор.

Серьезно и несколько смущенно я отвечаю: «Да, люблю». И начинаю говорить о том, как много значил он в моей жизни и что он был предтечей того, кто еще должен прийти, — и вдруг смущенно замолкаю, заметив, что употребил глагол «был».

— Ну да, да! Лютер пришел не сразу. У него были предшественники, — замечает он, делая ударение на «были».

Чтоб переменить тему разговора, я рассказываю о том, что недавно я прочел его юношескую работу «При-

чины неверия русской интеллигенции» и о своем впечатлении от нее. Он внимательно слушает, опускает голову, и его побледневшие губы произносят латинскую фразу: «Я сделал, что мог, кто может сделать больше, пусть сделает».

После обеда быстро начинаю прощаться, чтобы не утомить больного.

Он провожает меня до дверей, в дверях обнимает, трижды целует, и я целую его руку — чудесную тонкую руку, руку пианиста, артиста, гения, теперь слабую и жалкую, бормочу что-то нечленораздельное, чувствую комок, подступающий к горлу.

И он снова меня целует, и бледные губы шепчут: «В последний раз!»

20 июня 1946 года я видел Александра Ивановича Введенского в последний раз.

Он умер 25 июля 1946 года в жаркий летний полдень. За несколько дней до смерти был новый, последний удар.

Он был в сознании до последней минуты и смотрел прямо перед собой блестящими, осмысленными глазами.

— Хотите причаститься? — спросил священник о. Иоанн Попов.

— Хочу, — твердо ответил он, и до последней минуты всё смотрел куда-то вдаль, как бы всматриваясь в наступающую новую жизнь.

26 июля я видел его мертвого. На смертном одре он снова помолодел и теперь был почти таким, каким был в последние годы. Белый подрясник, епитрахиль и малый омофор (он еще не был облачен), густые черные ресницы и печать тихого раздумья на челе, — такое лицо у него было во время наших вечерних волжских прогулок, во время душевных дружеских бесед.

Я поцеловал его мертвое лицо, а потом долго стоял около смертного одра и думал. И помню — мелькнуло у меня в голове определение: романтик в рясе! Романтик!

Серая, скучная прозаическая жизнь никогда не удовлетворяла его — всё яркое, необычное, прекрасное привлекало. И он хотел, чтобы жизнь была яркой, необычной, красивой.

Его похороны состоялись в воскресенье 28 июля 1946 года в Пименовском храме. Служили два архиерея — митрополит Филарет Яценко, архиепископ Алексей Мичулин и двенадцать заштатных священников.

Желая воздать последнюю почесть покойному, я облачился в этот день (в первый и последний раз после Ульяновска) в диаконский стихарь и стоял с рипидой у гроба, во время отпевания. А потом я нес гроб — гроб с телом покойного внесли через царские двери в алтарь и затем трижды обнесли вокруг храма. Он погребен на Калитниковском кладбище за алтарной стеной, в одной могиле с Зинаидой Саввишной — своей горячо любимой матерью...

И наступил конец. Через два с половиной месяца, 9 октября 1946 года, в день св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в Пименовском храме была отслужена последняя обновленческая литургия. Накануне было получено предписание от Совета по делам Русской Православной Церкви о передаче Пименовского храма в ведение патриархии. В середине обедни в храм вошел вновь назначенный настоятель о. Николай Чепурин в сопровождении новой двадчатки. Он сердито договаривался, стоя у свечного ящика, об условиях передачи храма. Горстка молящихся сиротливо жалась к алтарю. О. Никита в алтаре торопливо читал молитвы евхаристического канона... Через полчаса обновленцы покинули храм — обновленчество прекратило свое существование на двадцать пятом году своей истории...

Эти воспоминания я начал на Кавказе, у подножия Машука и Бештау. Я заканчиваю их в Москве, у себя, в пригороде. И сюда, на Север, пришла весна — солнышко ярко светит, капли падают с крыш, тает снег...

Вл. Н. Павлов

Историософские взгляды Максимилиана Волошина

(1877 — 1932)

Максимилиан Александрович Волошин провел первую половину своей творческой жизни в Западной Европе, где он жил до 1916 года. Затем вернулся в Россию и поселился в Коктебеле в Крыму. До 1916 года Волошин писал стихи в Париже, в поездках между Парижем и Тулузой, в Афинах, в Андорре и лишь иногда в Москве и Петербурге. Он был тогда далек от русской жизни.

Странником вечным
В пути бесконечном
Странствуя целые годы,
Вечно стремлюсь я,
Верую в счастье,
И лишь в ненастье
В шуме ночной непогоды
Веет далекою Русью¹.

В первом сборнике стихов Волошина, названном просто «Стихотворения» (1900 — 1910 гг.), было много романтизма, католического мистицизма и археологиче-

¹ Максимилиан Волошин. Стихотворения. 1900 — 1910. Москва, 1910. См. также обзор этой книги В. Волкенштейна в «Современном Мире», 4 (1910), стр. 131-132.

ской учености. Отделы, озаглавленные «Звезда-полюнь» и «Алтари в пустыне», пропитаны классической мифологией и воскрешают средневековое прошлое Западной Европы. Волошин считал местом своего духовного рождения «Киммерийский Крым», «землю, насыщенную эллинизмом и развалинами генуэзских и венецианских башен»².

После революции 1905 года, в поэзии Волошина впервые появляются политические и национальные мотивы. В бурях этой первой революции поэт, одним из первых, увидел знамение трагической гибели императорской России. Его стихотворение «Ангел мщения», написанное в 1905 году, говорило о революционной ненависти и жажде возмездия.

Я камни заклану заклатьем вечной жажды,
И кровь за кровь без меры потечет³.

Из стихотворения Волошина явствовало, что сознание личной и коллективной непогрешимости в высшей степени характерно для русской революционной традиции. Соглашение или компромисс были невозможны для тех, чьи души были целиком пропитаны «хмельной отравой гнева».

Во время Первой мировой войны Волошин опубликовал свой второй сборник стихов «Anno mundi ardentis» (1916). Поэт провел 1914 — 1916 годы в Париже; в качестве корреспондента «Биржевых ведомостей», и продолжал выражать свои глубоко франкофильские чувства, свою любовь к французской культуре и французской жизни. В то же время его стихи свидетельствовали о глубокой убежденности в том, что великая война воплощает в себе пророчество Апокалипсиса. Поэт считал се-

² Е. Никитина. Русская литература от символизма до наших дней. М., 1926 г., стр. 290.

³ «Стихотворения». Стр. 36.

бя как бы провидцем, в первые же дни войны вознесенным с земли и поставленным «на замок небесных сводов»⁴.

После Октябрьской революции Максимилиан Волошин — этот франкофильствующий поэт-символист, окончательно обратился к трагедии русской истории, вдохновившей его на сборник стихов «Демоны глухонемые» (Харьков, 1919; второе издание, Берлин, 1923). В цикле «Стихов о терроре» (Берлин, 1923), в ряде картин жестокостей Французской революции он проводил параллель между якобинским террором 1793 года и большевистским террором после 1918 года. Кроме того, живя теперь постоянно в России, Волошин написал много других стихов о революции и русской истории, большей частью разбросанных в эмигрантских изданиях двадцатых годов, которые еще предстоит собрать и переиздать.

Подобно Достоевскому и Владимиру Соловьеву Волошин обладал пророческим даром. Он подчеркивал в своих стихах апокалиптическую природу революции и гражданской войны в России. Поэт видел в русской революции неукротимую ярость духа, отразившуюся в анархическом буйстве народных масс. В интерпретации Волошина история двигалась вперед и развивалась концентрическими кругами, как от камня, брошенного в воду: всё, что случилось сотни лет назад, снова повторится, но только в большем масштабе. Поэт писал:

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах — дух самодержавья,
Взрывы революции — в царях⁵.

⁴ «Anno mundi ardentis», М., 1916. См. также критическую статью В. Брюсова в «Русской Мысли», № 6 (1916), стр. 1-2.

⁵ «Пути России», Стихотворения. II издание. Под редакцией Вяч. Завалишина. «Эхо», 1969, стр. 44.

Или другой пример. Призрак убиенного Дмитрия преследовал Россию в первое Смутное время, в начале XVII в.; теперь же Волошин изображает Дмитрия, воскресшего по прошествии трехсот лет. В стихотворении «Дмитрий Император», датированном 19 декабря 1917 года, Волошин поэтически изобразил все обманчивые, соблазнительные перевоплощения убиенного Дмитрия, появляющегося то в образе первого Самозванца, ставшего «Дмитрием Императором», то второго Самозванца, известного в истории под именем Тушинского вора, или его сына. Уничтожаемый снова и снова, Дмитрий возвращается опять. Земля и вода не принимают его тело; он сожжен, и пепел его развеян по ветру выстрелом из пушки. Теперь его мистическое воскрешение в эпоху большевистской революции возвещает новое Смутное время, еще более грандиозное.

Так, смущая Русь судьбою дивной,
Четверть века — мертвый, неизбывный —
Правил я лихой годиною бед...
И опять приду — чрез триста лет⁶.

Другой поэтический пример такого воскрешения в истории — из стихотворения Волошина «Китеж». Когда святая Киевская Русь была уничтожена татарами, град Китеж, отказавшись принять чужеземное иго, опустился на дно озера; так и теперь святая Русь, в образе Сергиевой, Оптиной и Саровской пустынь, уйдет, как Китеж, от революционной чумы.

Ни Сергиев, ни Оптина, ни Саров
Народный не уймут костер.
Они уйдут, спасаясь от пожаров,
На дно серебряных озер.
Так отданная на поток татарам

⁶ Там же, стр. 21.

Святая Киевская Русь
Ушла с земли, укрывшись Светлоярм⁷.

В свои зрелые годы Волошин — свидетель измученной пытками и кровопролитием революционной России — не мог провидеть конец страданий русской земли. Поэт верил лишь, что те, которые отвергли Бога, охвачены приступом безумия и что русский народ должен искупить этот тяжкий грех. Как писал он в стихотворении «Мир» (23 ноября 1917 г.):

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях...
.
О, Господи, разверзни, расточи...
.
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!⁸

Красный террор, свидетелем которого Волошин оказался в Крыму в 1920 году, оставил в душе поэта неизгладимый след. Волошин писал, что человек стал дьяволом для собственного брата. В неизданном стихотворении «Председатель» (из цикла «Портреты», 1919 — 20 гг.) кровожадный глава Совета восклицает:

Буржуи здесь мои!
Чужим их резать не позволю.

Волошин верил, что смысл христианства заключается в готовности принести себя в жертву ради спасения

⁷ «Русское обозрение», № 3-4 (Харбин, 1921), стр. 79.

⁸ «Пути России», стр. 29.

человечества от вселенского зла. По его словам, Бог избрал Россию для этого священного деяния. Вот почему Волошин поставил эпиграфом к своему более раннему стихотворению «Ангел мщения» (о революции 1905 года) слова протопопа Аввакума:

«Выпросил у Бога светлую Россию Сатана, да очервленит ю кровью мученической»⁹.

Как Франциск Ассизский принял стигматы нашего Божественного Спасителя, так и Россия приняла стигматы во имя искупления грехов мира. В стихотворении «Русская революция» (12 июня 1919 года) поэт писал:

.
 Так ты в молитвах приняла
 Чужих страстей, чужого зла
 Кровоточащие стигматы¹⁰.

В стихотворении «Меч» (которое мы цитируем по статье Г. Лелевича из «Молодой гвардии», 1923, стр. 273), он также говорит о необходимости искупления:

Не Тот ли, Кто принес «Не мир, но меч»,
 В нас вдунул огонь, который
 Язвит и жжёт, и будет жечь ваш дух,
 Доколе каждый
 Тайнственного слова не постигнет:
 «Отмщенье Мне, и Аз воздам за зло».

Стихи Волошина о раскольниках Аввакуме и Епифании также отражают веру поэта в необходимость примера жертвенной жизни и смерти во имя Христа¹¹.

⁹ «Стихи», М., 1922 г.

¹⁰ «Новый журнал», № 39 (1954), стр. 136-137. Нью-Йорк.

¹¹ См. статью А. И. Мазунина о протопопе Аввакуме в «Трудах Отдела древнерусской литературы», XIV (1958), стр. 408-413, а также статью А. Н. Робинзона об инок Епифании в том же издании, XVII, (1961), стр. 512-519.

Волошин дал свое собственное, чисто умозрительное толкование великого греха не только России, но и всего человечества во все времена, — греха, приведшего к противобожественному порабощению человека «демонами машины» и «демонами разрушения» и к современным братоубийственным войнам и революциям. Еще во время Первой мировой войны, в стихотворении «Апполион» из сборника «Anno mundi ardentis», Волошин предупреждал, что если человечество не покается в грехах гнева, скупости, своеволия и безразличия, на мир будут напущены стаи демонов. Божественная милость и мир будут восстановлены только тогда, когда люди, наконец, вернуться к святости:

В себе самих смилив и поборов
Гнев, Скупость, Своеволие, Безразличие¹².

Волошин считал, что как поэт он должен стоять выше человеческих распрей, быть созерцателем людских страстей и глашатаем преображения человека, искупления им греха. Как он писал однажды:

Не царевич я, похожий
На него, я был другой.
Ты же знала — я прохожий
Близкий всем, всему чужой¹³.

Эти лирические и чисто «личные» строки из стихотворения, посвященного жене Волошина Маргарите Сабашниковой при их расставании (появились в сборнике «Иверни», М., 1918), едва ли выражают историософские взгляды поэта, но все же указывают на его отношение к историческим явлениям.

Покорность этого не знающего покоя пророка иног-

¹² «Anno mundi ardentis», М., 1916, стр. 47-51.

¹³ «Эпилог». «Русь», 1 января 1908 г.

да соединялась с подлинной христианской кротостью и готовностью принять свою собственную Голгофу, если такая жертва понадобится для искупления греховности человека. В стихотворении «Готовность» (ноябрь 1921) Волошин писал:

.
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил».

Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия,
Если ж дров в плавильной печи мало —
Господи! — вот плоть моя!¹⁴

Несмотря на это, тема трагической, апокалиптической гибели как следствия измены человека своей божественной природе была только вступлением к теме искупления зла во имя высочайшей истины. Таков, например, мотив стихотворения Волошина «Заклятие» (1920):

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, иступлений —
Возникнет праведная Русь¹⁵.

Поэт верил, что чем глубже будет страдание современной России, тем более чудесным будет грядущее Преображение человечества. В стихотворении «Пресуществление» Волошин нарисовал картину Рима в VI веке: императорский Рим угас, и родился, по мысли поэта, новый и более великий Рим — папский. Вот и Рос-

¹⁴ «Пути России», стр. 55.

¹⁵ «Пути России», стр. 56.

сия должна исчезнуть для того, чтобы достигнуть новой и истинно духовной жизни.

Так семя, дабы прорасти,
Должно истлеть...
Истлей, Россия,
И царством Духа расцвети!¹⁶

В подобном роде написано стихотворение «Ангел времени» (20 мая 1918 г.), в котором показан конечный смысл миссии славянства в мире.

России нет — она себя сожгла,
Но Славия воссветится из пепла!¹⁷

Читая эти строки, невольно вспоминаешь страницы «Дневника писателя», где Достоевский говорит о том, что через сотню лет славяне окажут величайшую услугу России. Как отметил Д. Мирский, Волошин, этот некогда самый прозападный и космополитичный из русских поэтов, развил теорию «высшего славянофильского квиетизма»¹⁸.

Больше того, Волошин верил, что историческая миссия России — быть носительницей вселенской любви, которая одна может победить вселенское зло. Россия стала еще дороже Волошину, потому что, будучи униженной и уйдя под землю, как Китеж, она осталась страной искупления и всепрощающей любви. В «Китеже» есть следующие строки:

Но и теперь, как в дни былых падений,
Вся омраченная в крови,
Осталась ты землею иступлений,
Землей взыскующей любви¹⁹.

¹⁶ «Демоны глухонемые», Берлин, 1923, стр. 40-42.

¹⁷ Там же, стр. 37-39.

¹⁸ Д. Мирский. «Современная русская литература», Нью-Йорк, 1926, стр. 210.

¹⁹ «Демоны глухонемые», стр. 35-36.

Есть в этих строках нечто родственное Достоевскому. Нечеловеческие страдания русского народа дали ему священное право на миссию всемирной любви. Эта глубоко русская и по духу своему глубоко христианская миссия образно воплощена в поэме «Святой Серафим» (30 декабря 1919 г.). Поэт изобразил в ней св. Серафима Саровского как небесного Серафима, согласившегося во имя Христа прийти в этот мир, спасти Россию и принести любовь человечеству. Поэма рассказывает о том, как св. Серафим, подобно современной России, очистился страданием и аскетизмом. Теперь он может заступиться и за святую и грешную Русь. Человеческая святость, послужившая Богу и всему созданному Им, воистину оправдала и искупила историю своею любовью.

Всё, с чем жил,
К чему ни прикасался:
Вещи, книги, келья и одежды,
И земля, где он ступал,
И воды из земли текущие,
И воздух —
Было всё пронизано любовью
Серафимовой,
До самых недр.
.
Заступником остался
За Святую Русь,
За грешную Россию²⁰.

Волошин верил в силу исторического предназначения. От исторического прошлого никто не сможет уйти

²⁰ «Новый журнал», № 72 (1963), стр. 13-50. Ср. с поэмой Волошина о старовере Аввакуме. Поэма «Протопоп Аввакум» («Демоны глухонемые», стр. 51-72) также написана в мистико-романтическом духе, и Аввакум появляется в ней как воплощение огня «Небесного Иерусалима».

— даже большевики. В поэме «Россия» есть следующие строки:

...Есть дух истории — безликий и глухой,
 Что действует помимо нашей воли,
 Что направлял топор и мысль Петра;
 Что вынудил мужицкую Россию
 За три столетья сделать перегон
 От берегов Балтийских до Аляски.
 И тот же дух ведет большевиков
 Исконными народными путями²¹.

Волошин пытается представить себе революцию как древо, выросшее из корней исторического прошлого России. Эта мысль — естественное следствие веры поэта в повторность исторических событий. Во времена великих страданий само бедствие рассматривается как расплата за грехи исторического прошлого. В стихотворении «Стенькин суд» (1918) — о мятежном казацком атамане Стеньке Разине²², как и в других стихах Волошин на исторические темы, анархическое восстание масс всегда предстает как нечто глубоко национальное. По мысли поэта, революция была неизбежна потому, что святая Русь — страна чистейшего мистицизма — попала под иго деспотического государства, этого болезненного нароста на «теле» России. Романтически-мистическим языком поэт говорит о порабощении человека грехом «демонов машины», т. е. государства.

Как подходил Волошин, с этой точки зрения, к отдельным историческим событиям? В стихотворении «Китеж» он дал следующую картину Московской Руси:

²¹ «Недра», № 6 (1925), стр. 71-79.

²² «Пути России», стр. 15.

В тиши ночей звездяных и морозных,
Как лютый крестовик-паук,
Москва пряла при Темных и при Грозных
Свой тесный, безысходный круг...²³

Образы Волошина воскрешают ледяное молчание московских ночей XV-XVI столетий. В сердцевину московской паутины поэт поместил паука-крестовика как символическое воплощение православного царя. Исторические прозвища Василия Второго (Темный) и Ивана Четвертого (Грозный) также символизируют страшные последствия тех московских ночей. Узкий, замкнутый круг московской жизни должен был быть разомкнут прорубанием окна в Европу. Такова была историческая миссия «неистового хирурга» — Петра Великого. Глубокая вера Волошина в неотвратимость истории отразилась в этих определениях.

В изображенной в «Китеже» России XVIII века государство снова и еще яснее рисуется как явление чужеродное и глубоко враждебное духу исконной анархичности русского народа.

В смеси кровей Голштинской с Вюртембергской
Отстаивался Русский трон.
И вырвались со свистом из-под трона
Клубящиеся пламена:
На свет из тьмы, на волю из полона —
Безумья страсти, племена.
Анафем церкви одолев оковы,
Повоскресали из гробов
Мазепы, Разины и Пугачёвы,
Страшилища иных веков²⁴.

²³ «Русское обозрение» № 3-4 (Харбин, 1921), стр. 79-80. Об интерпретации Волошиным русской истории см. анонимную статью в «Русской Мысли» № 1-2 (Прага, 1922), стр. 332-342.

²⁴ Там же, стр. 80.

В этом историческом грехе русского прошлого — порабощении святой Руси государством — Волошин видел корни большевистской революции. По мнению П. Б. Струве, собственное «глубоко национальное, религиозно-направленное мировоззрение Волошина причудливо переплеталось с анархическим характером его духа»²⁵.

В заключение следует отметить, что в годы, непосредственно следующие за Октябрьской революцией, апокалиптический мистицизм и вера в религиозное значение большевизма и в очистительную силу стихии разрушения были существенной частью историсофских взглядов Блока, Белого, Ходасевича, Ремизова и других представителей второго Золотого века русской культуры. В поэтическом определении и выражении этого особого взгляда на русскую и мировую историю немалую роль сыграл и Максимилиан Волошин.

²⁵ П. Б. Струве. «Памяти Максимилиана Волошина». Россия и славянство. (27 авг., 1932).

В щупальцах будущего

В наше время всеобщей «акселерации», ускорения темпов всех явлений жизни человека, у нас порой создается впечатление, что будущее — прекрасное или смертоносное — вот-вот наступит. Его мнимая близость порождает иллюзию, что мы можем его понять, объяснить и предвидеть. И мы беремся создавать «Институты прогнозирования», сочиняем объемистые футурологические труды, выводим статистические кривые до трехтысячного года, пишем утопические или антиутопические романы, накапливаем в крохотных квартирах груды мебели и бытовой электроники, надеясь ей найти место и применение в хрустальном дворце грядущих времен...

Братья Стругацкие вряд ли накапливают бытовую электронику, зато они пишут антиутопические повести, и очень хорошие повести. Правда, антиутопическими некоторые произведения братьев-фантастов можно назвать лишь очень условно. Будущее интересует Стругацких не потому, что оно будет хорошим или плохим, а потому, что оно нам непонятно. Это отнюдь не значит, что не нужно его ожидать, о нем думать, его строить. Наоборот, только при стремлении к будущему человек может оправдать свое существование в настоящем, дать ему смысл и целенаправленность. Для Стругацких

А. и Б. Стругацкие. Гадкие лебеди. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1972.

Отдельная глава повести (пятая) была напечатана в журнале «Грани» № 84, июль 1972 г.

стремление к будущему — необходимое условие полноценности настоящего, но качественность этого стремления обусловлена непреложным сознанием недостижимости цели.

В своем самиздатовском произведении (недавно изданном, но давно написанном — оно было закончено в 1967 году) Стругацкие очередной раз касаются своей излюбленной темы — встречи человека с непонятным для него будущим, но повесть «Гадкие лебеди» отличается особой тональностью: она нам показывает уже не только встречу отдельного человека*, или группы людей — ученых, с будущим, но встречу человеческого общества в целом с грядущим новым миром.

Во-первых, нам следует познакомиться с миром прошлого, с миром, уходящим со сцены истории.

Общая картина жизни в стране, где происходит действие, весьма нерадостная. Во всех слоях общества драки — обычное явление:

«...у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас здесь испокон веков» (стр. 10).

Пьянство — еще более обычное явление:

«— Мы не будем напиваться, — сказал Виктор**, разливая всем коньяк. — Мы просто выпьем. Как это делает сейчас половина нации. Другая половина напивается, ну и Бог с ней...» (стр. 150).

Политический строй страны, если можно так выразиться, — умеренно-диктаторский. За идеологическое несоответствие государственным нормам и за легкое фрондерство в ней не казнят, даже не всегда сажают в лагерь, хотя туда попасть не так уж трудно. Как напе-

* Например, в повести «Улитка на склоне». — Д. Р.

** Виктор Банев — главный герой повести, писатель-фрондёр, высланный в провинциальный город. — Д. Р.

вает герой повести: «Никогда я не был в лагерях, ...но не говорите: слава Богу...» (стр. 132).

Петиций в нашей безымянной стране лучше не подписывать:

«— Хрен от этих петиций толку. У нас петиций не любят. Дадут этой петицией по мозгам...» (стр. 184).

Безотрадные условия жизни побуждают одних сочинять оппозиционные песенки (Виктор в пьяном виде сочиняет песенку... Высоцкого! /стр. 216/), а других — становиться радикалами, бороться за прогресс. Но и в этом для Стругацких тоже не выход:

«— Не будет никакого спасения. Потому что все дураки-радикалы не только верят в прогресс, ...они воображают, что не могут без прогресса. Потому что прогресс — это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность делать поменьше, а получать побольше. И потому каждое правительство вынуждено... одной ногой нажимать на тормоза, а другой — на акселератор. ...На тормоза — чтобы не потерять управление. А на акселератор — чтобы не потерять скорости...» (стр. 31 - 32).

Основная функция государства — «сохранение статуса-кво»:

«...Я бы определил эту функцию так: всячески препятствовать будущему запускать щупальца в наше время, обрубить эти щупальца, прижигать их каленым железом... Мешать изобретателям, поощрять схоластов и болтунов... На высшие государственные посты — старцев, обремененных семействами и долгами, не моложе пятидесяти лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях...» (стр. 31).

Правда, эту задачу государству не всегда удастся успешно выполнять, ибо «порядка не стало — не то что до войны или, скажем, сразу после» (стр. 141).

Надо также прибавить, что и в других странах, где иные порядки, дела обстоят не намного лучше: в практике «свободных демократических выборов: большинство всегда за сволочь...» (стр. 193).

Не только страна, наиболее подвергшаяся огню сатиры братьев-фантастов, но и всё человечество обанкротилось. Высказывается «фашист», догматик и член тайной полиции — Павор:

«— Человечество обанкротилось биологически — рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов. ... Мы просто вырождаемся. Естественную природу мы уничтожили а искусственная уничтожает нас. Далее, мы обанкротились идеологически — мы перебрали все философские системы и все их дискредитировали, мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты» (стр. 151—152).

Все эти условия делают не только одну страну, но и всё человечество неспособным к встрече с будущим...

Особое внимание Стругацкие уделяют судьбе интеллигенции. Для нее условия жизни и творчества в стране «Гадких лебедей» — невыносимы, и в ней «у культурных людей гораздо больше оснований напиваться, чем у некультурных» (стр. 150).

К ученым подход властей двойственный. Вернее, к ним свой особый подход у гражданско-полицейских и у военных властей:

«...Талантливых ученых назначать администраторами с крупным окладом. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку...» (стр. 31).

Для военных же ученых:

«Идеальный объект для эксплуатации: отдельный ему кабинет, стол, бумагу, кучу книг... аллею для перипатетических размышлений, а взамен он выдает идеи... Сделают секретный институт, всех этих суперов туда свезут, поставят часового, вот и всё...» (стр. 227).

У творческой интеллигенции положение еще труднее, ибо согласиться на сотрудничество с государством значит не только продавать свою творческую продук-

цию, но и продавать самого себя и тем самым уничтожать в себе способность к дальнейшему свободному творчеству, то есть сам залог качества этой продукции.

Герой повести писатель Виктор отлично дает себе отчет в своем положении.

«— Ваш намек, — сказал Виктор, — напомнил мне один разговор — мой разговор с его превосходительством референтом господина президента по государственной идеологии. Его превосходительство вызвал меня ... и осведомился: «Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?» Я, естественно, ответил утвердительно. «Тогда перестаньте бренчать!» — гаркнул его превосходительство и отпустил меня мановением руки» (стр. 105).

Правда, для писателя вопрос иногда не только в хлебе с маслом или без оного.

«...Почему мы все такие трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемены мы боимся. Нельзя будет пойти в писательский кабак и пропустить рюмку очищенной... швейцар не будет кланяться... и вообще швейцара не будет, самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники... это, действительно, плохо... Но это же редко, времена не те... смягчение нравов... Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться, в общем, нечего, а всё равно боюсь. Потому что тупая сила, — подумал он. — Это страшная штука, когда против тебя тупая, свиная со щетиной сила, неуязвимая ни для логики, ни для эмоций» (стр. 44).

Уехать, спрятаться — не выход из положения. Есть, куда уехать.

«...Но ведь им только и надо... чтобы я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору, и причем сам, без принуждения, потому что ссылая меня — хлопотно, шум пойдет, разговоры... вот ведь в чем вся беда: они же будут очень довольны — уехал, заткнулся, забыт, перестал бренчать...» (стр. 127—128).

Поэтому надо оставаться и привыкать «утираться»:

«...всё дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнули тебе в морду, а ты утерся. Сначала со стыдом утерся, потом

с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получишь от этого процесса удовольствие...» (стр. 126).

Надо и «продаваться», но вовремя и с толком.

«...Роц-Тусов, человек опытный, по этому поводу говорит: продаваться надо легко и дорого — чем честнее твое перо, тем дороже оно обходится власть имущим, так что и продаваясь ты наносишь ущерб противнику, и надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным...» (стр. 147).

Виктор выработал творческую концепцию, позволявшую ему «творчески существовать», несмотря на условия своей писательской работы:

«...Художественной литературе вообще противопоказано поучать и вести, предлагать конкретные пути и создавать конкретную методологию. ...Писатель — это прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной степени — орудие для изменения общества» (стр. 81—82).

Но на практике всё проходит для «прибора» отнюдь не так благополучно.

«— Скажи, а ты как — сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?

— Нет, — сказал Виктор. — Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи господина президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня начинает рвать, — не тошнить, а уже рвать — я принимаюсь за дело...» стр. 64).

Превратив себя в прибор, писатель уже не властен над собой, над своим творчеством, даже если он себя убеждает в обратном. Ему общество подает ток и требует от него исправного функционирования, нисколько не беспокоясь о его ощущениях...

«...Ненавижу, страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что уже обречен, что теперь уже не отпустят, а будут требовать: давай, давай, и я буду давать, но сейчас не

могу, даже думать об этом не могу, Господи, пусть я не буду об этом думать, а то меня вырвет...» (стр. 166).

Около города, куда сослали Виктора, находится медицинское заведение, которое местные жители называют лепрозорием. В нем живут «мокрецы» или «очкарики» — люди, зараженные таинственной болезнью и вызывающие отвращение и страх у жителей города, когда они в нем появляются. Они отличаются странным цветом лица, большими пристальными глазами, всегда закрытыми прочими частями тела.

Постепенно выясняется, что «мокрецы» отнюдь не прокаженные, а новый тип людей, благодаря которым будущее проникло в настоящее. Им не только необходима постоянная сырость для жизни, им необходимы и книги: если их не давать им, они умирают «от голода» (стр. 164).

Мокрецы не только изменили климат над лепрозорием и над соседним городом, но они собираются изменить всю землю...

Мокрецы — это люди,

«которые живут будущим. В заметных количествах они появились недавно. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего, а настоящее для них — это только материал для построения будущего, сырье... Да они, собственно, и живут-то уже в будущем... на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем...» (стр. 159—160).

«...Внутри вида зарождается новый вид, а мы это называем генетической болезнью. Старый вид — для одних условий, новый вид — для других. Раньше нужны были мощные мышцы, плодовитость, морозоустойчивость, агрессивность и, так сказать, практическая сметка... Сейчас, положим, это тоже нужно, — но скорее по инерции. Можно укокошить миллион с практической сметкой, и ничего существенного не произойдет» (стр. 226).

«...Вообще эмоциональная сфера супера с точки зрения обычного человека представлялась бы как патология. Болезнь...

Жизнь — болезнь материи, мышление — болезнь жизни. Очковая болезнь», — подумал он» (стр. 228).

Виктор своей мысли не досказывает, но очевидно, что для него «очковая болезнь», которой «страдают» мокрецы, — болезнь, странность мышления.

Но новая порода людей — мокрецы, — не единственное тревожное для жителей города явление. Их еще больше тревожат их собственные дети, с которыми они не справляются и которых не понимают:

«...здешние родители — это что-то особенное. Они мне напоминают тылы оккупационной армии в районе активных партизанских действий...» (стр. 98).

— Дети — спокойные, вежливые — читают Шпенглера и размышляют об общественных вопросах, дружат с «мокрецами». Они не чувствуют благодарности к родителям и не признают их прошлые заслуги:

«...они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Ваневу, за то, что он пошел добровольцем в гусары... и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал часовых самодельным ножом, а потом, уже на гражданке, дал по морде спецуполномоченному, предложившему ему подписать донос, и шлялся без работы с дырой в легких, и спекулировал фруктами, хотя ему предлагали очень выгодные должности...» (стр. 86—87).

Вспоминая свое собственное детство, жители города не находят в нем ничего тождественного с поведением своих детей. И если они честны с собой, как Виктор, они не могут не признать, что сравнение выходит не в их пользу:

«Он (Виктор. — Д. Р.) все надеялся вызвать в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из этого не получилось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности» (стр. 74), он наталкивался только на

«серость, вожделение, энтузиазм» (стр. 75). «...Глубоко начхать было мне и на старый мир, и на новый мир, я об этом и представления не имел — футбол до полного изнеможения, или вывинтить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыло...» (стр. 93).

То, на что не соглашаются дети, тот мир и те нравы, которые привели общество в тупик, — это единственное, что им — детям — родители могут предложить. Они детей способны только калечить («по своему образу и подобию») (стр. 187).

«Не хотят они (дети. — Д. Р.) жить больше так, как живете вы и жили ваши предки... Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами, не хотят, чтобы из них сделали преступников, не хотят ваших семей и вашего государства» (стр. 187).

На упреки, что они себя ведут неестественно, дети отвечают, что «именно то, что наиболее естественно, ... менее всего подобает человеку» (стр. 15).

На упреки в жестокости, в желании разрушить старый мир они также отвечают совершенно ясно:

«...Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы жестоки: вы не представляете себе строительство нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте на здоровье» (стр. 88).

Идеал родителей — мир, где «все сыты, топтать друг друга не к чему, никто друг другу не мешает ... и никто никому не нужен» (стр. 84).

Подобный мир — естественное завершение того, что называется прогрессом.

«... для нас (говорят дети. — Д. Р.) это — могильник. Конец надежд. Конец человечества. Тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно.

... вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение ... да попросту недостойно. Вас били по физиономии, ... а вы упорно долбили, что человек по природе добр... или, того хуже, что человек — это звучит гордо» (стр. 85—86).

Дети, «гадкие лебеди», чрезвычайно ярко защищают мысль (одну из основных мыслей идейного творчества Стругацких) о том, что прогресс не является ценностью сам по себе, что нельзя оторвать процесс построения будущего от облика его строителей, что нельзя построить светлое, чистое будущее грязными руками, что перед работой над историей необходимо вымыть руки...

Человек, считают братья Стругацкие, на это неспособен. И он на это неспособен в основном из-за того, что не хочет (или не может) оторвать, отрезать себя от прошлого. Поэтому будущее его пугает, он страшится его щупалец:

«...Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальца в самое сердце настоящего, и это будущее было холодным, безжалостным, ему было наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые» (стр. 87).

Человек не может примириться с мыслью, что он для нового мира не нужен.

«...Я-то их жалею, этих безволосых потомков, жалею их потому, что жалею самого себя, но им-то — им-то наплевать, им мы вообще не нужны, и не собираются они нас перевоспитывать, не собираются они даже взрывать старый мир, нет им дела до старого мира, у них свои дела, и от старого мира они требуют только одного — чтобы к ним не лезли» (стр. 191).

В то время как надвигается будущее, человек прошлого «прячется на дне траншеи, а под ним ворочается земля, целые

геологические пласты, гигантские массы гранита, безальта, лавы, выгибают друг друга, ломают друг друга, стена от напряжения...» (стр. 214).

Будущее готовит «новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...» (стр. 27).

Будущее наступит благодаря «мокрецам», но оно уготовано не для человека прошлого, не для родителей, а для детей:

«— ... Они очень молоды, у них всё впереди, а у нас впереди — только они. Конечно, человек овладеет Вселенной, но это будет не краснощекий богатырь с мышцами, и конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя... Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и зачастую не так, как нам хотелось бы...» (стр. 224).

Стругацкие не раскрывают нам тайны будущего, да и откуда им ее знать? Они всё же рискнули нам его дать почувствовать символически:

«...Было светло, но это не был дневной свет. На захламленном полу лежали ровные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и взглянул. Это была луна — ледяная, маленькая, ослепительно яркая. В ней было что-то невыносимо страшное. Виктор не сразу понял — что. Небо было по-прежнему затянуто тучами, но в этих тучах кто-то вырезал ровный аккуратный квадрат, и в центре квадрата была луна» (стр. 259)*.

И солнце не без пятен. У рецензируемой книги — два пятнышка...

Первому из них причиной сами авторы: как жалко, что их бойко написанную, идейно насыщенную книгу портят очень неудачные иронические антихристианские

* Между прочим, — какая это была бы замечательная идея для иллюстрации суперобложки и как жаль, что ею пренебрег иллюстратор. — Д. Р.

нотки. Их повторение (на страницах 92, 118, 223, 253—254) производит неприятное впечатление...

Второе пятнышко — неточные данные о творчестве А. и Б. Стругацких на суперобложке. Писатели дебютировали не в 1959, а в 1958 году, и не повестью «Страна багровых туч», а рассказом «Извне». Повесть «Эллинский секрет» написали не Стругацкие, а И. Ефремов. Стругацкие только напечатали первую часть повести «Улитка на склоне» в сборнике «Эллинский секрет», который был назван по произведению Ефремова, в нем же опубликованном.

„Традиционалисты”

ОТ РЕДАКЦИИ

Поздней осенью 1972 года в пригороде Парижа встретились для дружеской беседы несколько человек. Собрались они не случайно: им хотелось обсудить определенную тему — факт возникновения национально настроенных групп в современной России и проанализировать те попытки определения нового национального самосознания, которые делаются у нас на родине.

Разумеется, тема была настолько обширной и сложной, что никто и не предполагал исчерпать ее в один вечер. Основной упор в беседе делался не на решении проблем, а на их выявлении и определении.

Подобный опыт проводится нашей редакцией впервые. Помещая материал таким, каким он вышел, мы — редакция — надеемся, что публикуемый ниже свободный обмен мнениями послужит толчком к широкому обсуждению на страницах нашего журнала не только затронутых в беседе тем, но и тех смежных вопросов, которых данный разговор не успел коснуться. Наша редакция и в дальнейшем рассчитывает прибегать к подобной форме подачи материала.

Б е л ь с к и й. Давайте побеседуем о русском национальном самосознании. Попробуем проанализировать, как это самосознание исторически выражалось у русского народа. Постараемся установить наиболее объективный критерий для оценки идей тех новых национальных течений, которые недавно возникли в Советском Союзе.

Гринберг. Необходимо, конечно, выработать какие-то новые категории, ввиду тех перемен, которые произошли во всем мире и, в частности, в России. Основные черты национального самосознания проявляются ныне в совершенно новой обстановке, ибо прошли через целый ряд «очистителей» или «загрязнителей» (об этом можно судить по-разному) — революцию 1917 года, переломный период 1941 года и послевоенный этап.

Обратимся к истории.

Меня лично весьма поразило данное Бердяевым определение различия между Западом и Востоком. Он пишет, что только Запад пережил все четыре исторические эпохи: «варварство», «религиозное преображение», «культуру» и «цивилизацию». Бердяев отличает культуру от цивилизации, утверждая, что слово «культура» происходит от слова «культ», что она религиозный феномен, углубление «религиозного преображения». «Цивилизация» — это «фейерверк», возникающий из «культуры». Запад пережил эпоху «культуры», средневековье, когда было два столпа — рыцарь и монах.

В России, в сущности, был только монах, который не защищал, а спасал нечто. В монастырях он спасал самое важное — душу и дух народа, но не защищал «культуру». А когда он, в конечном счете, спас, донес свой факел, то Россия включилась в «цивилизацию» — с опозданием и довольно искусственно.

И тут, мне кажется, вышел разнбой: с одной стороны, тот огонек, что спасли, с другой — непереваренная «цивилизация», за которую ухватились, например, западники. Но единственное, что всех связывало, это был тот огонек, который спасли монахи. У всех он был тем, что совершенно невозможно отделить от православия, от выстраданного русского православия.

Попов. Лучшее, что было сказано по этому вопросу до сих пор, — это то, что писал Г. П. Федотов в «Новом Граде». По моему мнению, христианину и либералу Федотову суждено стать со временем идеологическим

вождем тех народно-московских группировок, которые сейчас стремительно формируются в российской политической и культурной жизни. Идеи Федотова, конечно, не новы. В отличие от Бердяева, он считал, что Московское государство сформировало на византийской основе свою собственную культуру, которая зиждется на православии и проникнута им до конца.

Православие же это — иосифлянского толка, который ярче всех подчеркивает необходимость иерархического начала. Этот культурный тип, утверждает Федотов, сохранился в течение всего хода русской истории и, в особенности, в его советский период.

Та западная «культура-цивилизация», о которой сейчас говорил Бельский, охватила сначала дворянство, потом разночинную интеллигенцию. Дворянско-разночинная интеллигенция воплощала в себе «европейскую», либерально-демократическую тенденцию. Она тоже была национальной (в лице хотя бы Милюкова и кадетов), но она была и европейской, парламентско-демократической, а в значительной своей части — и социалистической. Она считала, что, с точки зрения экономической, государственной, культурной, социальной и, самое главное, политической, мы не можем жить вне Европы, что Россия должна быть непременно связана с Европой и идти с ней в ногу.

Но, как правильно отметил Федотов, русское крестьянство и купечество, постоянно пополнявшие новую интеллигенцию, не были захвачены европейской культурой петербургского периода и развивались самостоятельно.

Со времени тех сталинских чисток, которые ликвидировали всю ленинскую верхушку партии, особенно партийная часть интеллигенции (а у большей части нынешней русской интеллигенции в кармане — партийный билет) по своей психологии, убеждениям и политическим тенденциям принадлежит, как правило, к «московскому» типу, как его определил Федотов.

Б е л ь с к и й. Московский тип минус православие.

П о п о в. Я этого не сказал. Они зачастую разрешают своим женам крестить детей и, несмотря на свою партийную принадлежность, склонны даже сочувствовать православию. Никакого «минус православие» нет. Наоборот, в исторической перспективе скорее плюс.

Г р и н б е р г. Между Федотовым и Бердяевым я не вижу противоречия, они дополняют друг друга. Я предпочитаю терминологию Бердяева, потому что она более красочна, потому что мы на Западе научились называть культурой то, что на самом деле уже не культура, а цивилизация. Но я с Поповым вполне согласен и хотел бы как раз подойти к рассмотрению того процесса, который начался после революции и проявился во время чисток. Тогда довольно курьезно и очень легко стали прививаться на партийной основе чисто русские понятия. Уже с 1938 г. принялись воскрешать прошлое, на экраны вышли такие фильмы, как «Александр Невский». Конечно, это было подготовкой к войне, но в то же время соответствовало и каким-то более глубоким уже тогда проявлявшимся настроениям.

Что же касается православия, то если даже оно не проявляется в тех формах, о которых говорил Попов, оно проявляется искаженно. Потребность в вожде, например, у людей этого «московского» типа была гораздо глубже, чем у тех, которые пали жертвой очередного периода «эволюции русской истории».

П о п о в. Тут мы подходим вплотную к вопросу о роли и значении тех организаций, которые я буду называть организациями «московского» типа. Они сформировались только теперь, когда идеологический авторитет КПСС окончательно подорван. Вакуум заполнялся двумя путями.

С одной стороны, возникли различные либерально-демократические группировки российской интеллигенции «европейского» типа в том или ином варианте, с тем или иным историческим наследством, но, в общем,

классического типа. Все эти группы, борющиеся за права человека, характеризуют нашу связь с Европой. Для них, в той или иной форме, необходимы европейская парламентская демократия, отказ от «имперской» идеи и, следовательно, предоставление всем национальностям демократических свобод, выработанных европейским индивидуализмом. Борьба с советским строем и с коммунизмом им нужна не только для того, чтобы возродить Россию как явление историческое и духовное, но, прежде всего, для того, чтобы предоставить гражданам демократические права.

С другой стороны, в отличие от них для традиционных-российских, «московского» типа, организаций (подчеркиваю: не «националистических» и не «почвенных» — и то, и другое определение мне кажется неверным, возьмите хотя бы Социал-христианский союз) главное — возрождение России. Какой России? Прежде всего, той России, где решающим является право на совесть и веру, то есть на православное жизнеощущение.

Заостряя и упрощая, можно было бы сказать, что они возвращаются к «московскому» изоляционизму. Парламентская демократия их отталкивает отсутствием иерархической структуры и, как это ни покажется на первый взгляд странным, — отсутствием эгалитарности.

Равенство, своего рода эгалитарность, в служении государственному началу всегда лежало в основе «московской» концепции. Отсюда вытекает, что приписывать этому направлению «правый» характер, как это часто делают, неверно. У них нет никакой «правой» социальной доктрины, основанной на неравенстве или преимуществах какого-либо привилегированного слоя.

В основе и старой, и новой концепции «московского» типа всегда лежало равенство в служении. Но они хотят не просто жить при определенном правовом строе и бороться легальными методами за осуществление той или иной социальной доктрины, а служить определенной идее духовно-культурного облика России.

Но тут мое петербургское сердце начинает страдать: признавая жертвенный характер, который часто в нашей истории принимала идея служения, слишком часто в этой идее на первый план выходил изоляционизм, а он связан с нетерпимостью, с нежеланием сосуществовать с другими духовно-культурными идеями, короче, люди этого типа нетерпимы, на что жаловался еще и Катошихин при царе Алексее Михайловиче, и продолжают жаловаться и современные демократы.

Сегодня люди этого типа не ищут контактов с Европой, послушно избегают их. В силу своего национализма они не видят возможного решения экономических и социальных проблем путем нахождения соответствующего места для России в Европейском сообществе, наметившем уже теперь, в пятидесятые и шестидесятые годы нашего века, практическое разрешение тех вопросов, на которые еще сравнительно недавно претендовали распространить свою монополию марксисты, однако не на практике, а в своей «научно обоснованной» доктрине.

К сожалению, до сих пор никто еще не дал развернутого определения этого культурно-исторического явления в его современном разрезе, в частности, политического направления нынешних народно-традиционных организаций «московского» типа.

Через сто десять лет после выхода книги Данилевского «Россия и Европа» снова встал вопрос о том, какой путь должна избрать русская интеллигенция.

Существует мнение, что эти «традиционно-народные» организации настолько сильны, что во время ближайшего политического кризиса на верхах партии, КГБ, армия и часть партийного аппарата неизбежно возьмут на вооружение их идеологию для того, чтобы удержать поколебавшуюся власть. Такой переворот многим представляется страшной перспективой.

Но дело не обстоит так просто, ибо эта проблема связана с будущей ролью Церкви, а в православной тра-

диции никогда не было ни подавления инакомыслящих, ни стремления навязать силой свои идеи и идеалы. Но повторяю, сейчас, как и сто десять лет назад, когда вышла книга Данилевского «Россия и Европа», часто обнаруживается стремление замкнуться в рамках если не России, то, во всяком случае, Восточной Европы.

Гринберг. Видите ли, мы наблюдаем интересный исторический процесс: именно у Сталина еще при жизни кое-кто из традиционалистов нашел ответ на запросы своего «московского» традиционализма. Когда Сталина посмертно убил Хрущев, на этой почве произошло первое замешательство, потому что дотронулись до некой структуры.

Когда Хрущева погнали, с теми, кто его погнал, пошли не только его партийные враги, но и все те, которых коснулись вышеупомянутые настроения. Теперь же мы вступили в период, когда от власти отходят те, кто считает, что она не соответствует их «традиционалистическим» взглядам.

Я хочу привести для примера любопытное явление, связанное с войной во Вьетнаме. Когда в 1971 г. возникло опасение, что американцы договорятся с китайцами, СССР стал снова посылать оружие во Вьетнам. Внутри советской правящей олигархии, внутри Генштаба создается «вьетнамская партия». Для нее уже имеет определенное значение понятие «Россия», престиж России. Она не может бросить своего союзника. Представители советского Генштаба летят во Вьетнам и планируют наступление вместе с вьетнамцами. Наступление начинается примерно за два месяца до намеченной поездки Никсона в СССР, но спустя десять дней срывается. Генштабу хотелось бы довести дело до конца: затронута русская честь! Но верхи принимают Никсона: внутри партии происходит раскол и такое усиление «традиционалистской» оппозиции, какого еще никогда не бывало.

И дело не только в генштабистах. Все те мальчишки, которые кончали Суворовские училища и гордятся

своими погонами, оказываются в затруднительном положении: им более понятно то, что они должны поддерживать товарища по оружию в беде, чем то, что СССР необходимы доллары и компьютеры.

В итоге самые различные течения — антипартийные, пропартийные и прочие — очутились в одном и том же лагере. При этом следует учесть, что всё основано не на коммунистических или антикоммунистических, а на русских и антирусских настроениях.

Б е л ь с к и й. Я недавно встречался с директором советского научно-исследовательского института, членом партии. Он скорбел не о том, что не поддерживали Северный Вьетнам, а наоборот, жалел, что для его поддержки было затрачено столько народных средств!

Я привел этот пример для того, чтобы показать, что даже люди с крупным положением, члены партии, могут в каком-то отношении смотреть со стороны на действия партийной олигархии. А те, кто считает, что Брежнев продал Вьетнам, скорее находятся в путах партийной пропаганды. Северный Вьетнам — это только искра мирового пожара, который нужно раздувать, и мне кажется, что люди, которые к этому относятся критически, более объективны. Они видят, что коммунистическая политика не есть «русская» политика, а просто маневры, направленные на то, чтобы вызвать более резкие противоречия в мире некоммунистическом.

Теперь о другом. Когда я недавно встречался с некоторыми советскими интеллигентами, я видел, как они радовались тому, что советская власть разрешила образование обществ «ревнителей старины». Один из них в 1970 году мне говорил, что таких обществ одиннадцать тысяч. Но для меня совершенно ясно, что всё это организовано сверху, чтобы отвлечь людей от насущных проблем, чтоб их «занять».

Г р и н б е р г. Вы слышали о первобытном оружии, которое называется бумеранг? Самые продуманные замыслы всегда могут обернуться против их создателей.

П о п о в. Разрешите мне сделать один экскурс. Представьте себе, что я выступаю не как специалист по истории Новгорода или как любитель живописи Кустодиева, а лишь как человек, заинтересованный в росте покупательной способности российских граждан. Для меня важно только одно: чтобы российское население, российский рабочий прежде всего (потому что он будет составлять большинство населения страны) в ближайшее время обладал бы высокой покупательной способностью.

Решение этой задачи, как я ее вижу, невозможно без создания рыночного хозяйства, причем не в рамках России, а в рамках европейского Общего рынка. Ибо капиталовложения стран Общего рынка — это тот первый шаг, который Бухарин в свое время называл пятаками, на которые был построен нэп. Главное благо для всего населения без исключения — в резком и быстром увеличении покупательной способности. Оно возможно только при объединении с Европой. Это единственный недемагогический и гарантированный путь.

На такие высказывания я от «традиционалистов», несомненно, получу ответ: «Великолепно, это нам не мешает. Наоборот. Благодаря этому латыши, поляки, болгары или грузины вынуждены будут оставаться в нашей системе. А мы против этого ничего не имеем».

«Позвольте, позвольте, — отвечу я. — Как же вы можете ничего не иметь против, когда с введением экономических норм Общего рынка вы неизбежно введете у себя свободу печати и международных связей в широком масштабе, а это приведет к «перекачке» людей и идей из одной части Европы в другую и обратно, в форме туризма, торговли и т. д.»

Они мне скажут: «У нас есть идеология, у нас есть концепция, у нас есть идеал, а у Европы этого нет. Поэтому совершенно свободно можно допустить...»

Г о л у б е в. Я хочу вернуться к тому, что говорил Гринберг в начале нашей беседы.

В последние годы сталинщины безусловно произошел поворот в сторону русского национализма. Сталин понял, как много может дать использование традиций. Он был человеком не таким глупым, как его часто изображают, и начал «качать» в эту сторону, вплоть до создания Московской патриархии.

Попытка власти опереться на то, что Попов называет «народно-традиционалистскими» тенденциями, наметилась уже тогда. В какой мере эти тенденции могут проявиться сейчас, при Брежневе, я судить не берусь. Думаю, что при Брежневе они прорваться не могут. Но при смене Хозяина, может быть, и возможен сдвиг под давлением КГБ и армии, замена одной формы диктатуры другой. Это означало бы, на мой взгляд, реализацию фетисовской программы силами партийных догматиков.

Существующее положение не вечно. И если возможен вариант «русского Дубчека», то возможен и вариант «русского Гитлера». «Национальное возрождение» по рецепту «Слова нации» меня отнюдь не прельщает. Но нужно учесть, что оно угрожает прийти на смену не либерально-демократической республике и не царскому самодержавию, а разлагающейся сталинщине. Будет ли это спасением сталинского наследства? Или началом обвала, во время которого исчезнут последние остатки социализма?

Ведь это только кажется простым. Такое только Сталин мог себе позволить, да и то лишь во время войны, — заигрывание с Московской патриархией. Он был тогда и генералиссимусом и «Лениным сегодня». А попробуйте-ка Ильича сделать православным! Русским «националистом» сделать его кое-как можно: он в городки играл, борода у него была козлиная, ужимки типично интеллигентские. А православным его никак не сделаешь. Значит, надо «списать» Ильича. Но «списать» его, не списывая одновременно марксизм-ленинизм, думаю, нельзя. «Списать» Сталина — и то было

трудно: глава о диалектическом и историческом материализме, критика и самокритика как движущая сила, укрепление государства при социализме... Всё это, конечно, «огромный» вклад, но можно о нем умолчать, вернувшись к Марксу и Ленину. Если же списать и Ленина, то надо списать весь марксизм-ленинизм.

Иначе говоря, неизвестно, куда выведет такого рода курс. Разумеется, гражданские права не будут в центре внимания: может быть, допустят свободу торговли, которая необходима для экономического благополучия, но не свободу вообще. Такой строй не хуже и не лучше современного, но он перспективней. В нем заложены возможности как дурного, так и доброго развития. Тот путь, который вы предвидите, Гринберг, означает отказ от двух элементов, которые составляют душу современного советского тоталитаризма: от поклонения фикциям и от вытекающей из него активной несвободы. Вместе с упразднением марксизма-ленинизма снимается ведь и поклонение фикциям. Тут есть, о чем подумать...

В а с и л ь е в. Мне хотелось бы поставить более узкий вопрос. Я думаю, что все здесь знакомы с различиями, существующими между «традиционными» группировками. Считаете ли вы, что эти различия имеют большое значение?

Г р и н б е р г. По-моему, эти различия имеют значение при двух обстоятельствах.

Первое — статические условия, когда все сидят по местам. Второе — после перелома. В период кризиса эти группировки будут действовать сообща, так же как в кризисное время русской революции меньшевики, большевики и эсеры вместе свергли существовавшую власть и разделились только после ее свержения.

Если мой диагноз правилен и мы находимся накануне всероссийского кризиса, не следует забывать о том, что в момент кризиса все эти течения «сольются».

Г о л у б е в. Развитие событий я вижу примерно так. Началось со стихов, развилось в «движение за

гражданские права», оформилось как «Демократическое движение Советского Союза», с расчетом сделать из России демократическую республику, а еще лучше — систему демократических республик, и приравнять всех их к Венгрии, к Польше и к другим сателлитам.

Всякое политическое движение всегда подобно айсбергу. Есть надводная и подводная части. «Демократическое движение» сумело образовать сравнительно большую надводную часть, которая была сразу и с большим и понятным сочувствием замечена на Западе. Все только и говорили о ней. Подводная часть тоже, конечно, существовала, но, боюсь, что она была сравнительно невелика.

Другой айсберг — движение, о котором мы сейчас говорим. Это движение так или иначе выражает московскую государственную традицию, пусть во многом неприятную. Она не ахти какая демократичная, эта традиция, у нее иная система ценностей, до иностранного корреспондента в Москве не доходящая. Надводная часть у нее маленькая, а подводной мы не видим. Но можем предположить, что она не мала.

Учтем еще одно обстоятельство. В систему брежневского торможения входит торможение пополнения на верхах. Идет резкое постарение олигархии. Евтушенко не случайно заявил на съезде писателей, что «мы тоже хотим». Евтушенко-поэту легко не давать, но сколько есть других таких евтушенков-партийцев, тоже сорокалетних! А они тоже «хотят». Они выросли и созрели в послесталинский период, на них не лежит груз сталинщины, за ними преступлений не числится, главное же — они созрели в период полного износа марксизма-ленинизма. Что они возьмут на вооружение? «Социализм с человеческим лицом» или «Слово нации»? Боюсь, что скорее — последнее и что, образно говоря, на смену Брежневу идет не русский Дубчек, а Фетисов.

Не сомневаюсь, что если придут к власти такие молодые партийцы и найдут опору в нижней части «нацио-

нального айсберга», они ее опошлят и поведут «квасным», фетисовским путем. Разумеется, они будут фашиствовать, и это будет совсем не то, что нужно. Но так душить свободу, как ее душат сейчас на базе марксизма-ленинизма, они не смогут, и это будет всё же некоторый выигрыш. Меня заботит другое. Россия — Россией, с ее национальной миссией, с ее особенностями, с ее по существу православной душой, я верю, что Россия справится с фетисовщиной, но это не выведет ее из культурно-политической изоляции. А опасность изоляционизма, о которой говорил Попов, я считаю главной опасностью.

П о п о в. Со времен Ключевского и Милюкова было признано, что в XVIII веке в России сложились две культуры: народно-московская и дворянско-европейская. Обратите внимание, что два гения русской культуры Пушкин и Солженицын нашли известный синтез. Пушкин начал с декабризма и атеизма, а пришел к «Полтаве» и «Повестям Белкина». Солженицын начал с Ивана Денисовича, а кончил пока полковником Воротынцевым. Это говорит о том, что национальный, традиционный, «московский» характер не исключим из нашей настоящей культурной жизни. Никто не отрицает либерализм Пушкина, но, оставаясь исключительно на позициях защиты прав человека, парламентской демократии и т. д., мы никогда не смогли бы соединиться ни с Пушкиным, ни с Солженицыным.

Я ничего не хочу навязывать, но я не могу отрицать и тем более игнорировать такие явления, как Пушкин и Солженицын, находящиеся на стрежне той реки, в русле которой течет жизнь нашего народа.

Основа современного синтеза — это сочетание Благодарева с полковником Воротынцевым.

В а с и л ь е в. Хотелось бы провокационно присоединить к Пушкину и Солженицыну третьего писателя — Гончарова. Без Андрея Карловича Штольца ни Бла-

годарев, ни полковник Воротынцев у вас ничего не сделают.

П о п о в. Да... Но между прочим напрасно некоторые думают, что «смещение языков» в России вызвал Петр Великий. Немецкая слобода была до него, татарские ханы и греки из Византии приходили на Московскую Русь и обрусевали в не меньшей степени, чем прибалтийские немцы в эпоху Екатерины.

В этом как раз и заключается византийско-русский характер: привлекая к себе монгольских царевичей и таких, например, как шотландские предки Лермонтова, Московская Русь не предоставляла им возможности служить только идеям справедливости, демократии, европейской цивилизации. Тем не менее они служили России и почти все, как правило, становились более русскими, чем сами русские. Ибо в основе их служения, субъективно или объективно, лежало православие.

Если эта служилая интеллигенция Московского периода искала, подобно Ивашке Пересветову, идеалы равенства и справедливости, то дворянская интеллигенция эпохи расцвета империи стремилась служить «европейской свободе» в российских условиях.

Опыт декабристов ясно показывает, что в силу наших исторических условий идеал одной «европейской свободы» не представляет для большинства абсолютной ценности. Если мы не хотим кончить так, как кончил Гоголь или Константин Леонтьев, нам необходимо найти синтез и формулу «русской свободы», отличной от «европейской», но в то же время и приемлемой для нее.

В а с и л ь е в. Мне приходилось слышать мнение о том, что корень «специфики» отношений между русской историей и русской культурой кроется в том, что Россия не перешла рубежа, отделяющего общество, построенное на отношении человека к человеку, от общества, построенного на отношении человека к обществу. Этот рубеж был на Западе перейден примерно во второй по-

ловине XII века. Россия же до Нового времени развивалась на основе общественных понятий, соответствующих общественным понятиям раннего Западного средневековья. Причину «трагедии» российской общественности можно искать в том, что она хотела применить готовые формулы, подходящие лишь для общества западного типа, к обществу, развивающемуся совершенно в иной плоскости.

Решение коренных вопросов надо было бы искать в плане отношения личности к личности, в плане отдельного человека, скорее даже в плане личности царя (что касается прошлого), чем в широком общественном плане. В Московской Руси, даже XVII века, гораздо более ощущается личное служение царю, чем служение России, государству российскому.

Но царь обычно не соответствовал тем идеалам, в свете которых его видели члены московского общества. Чтоб сохранить идеал и, главное, возможность веры в него, приходилось кривить душой, приучаться многое не замечать. Такой загадочный феномен, как русский сталинизм, во многом, наверное, объясняется этой «патологией служения личности».

Гринберг. Я хотел бы возразить, приведя в пример Петра Великого, который перед Полтавской битвой призывал солдат служить не ему, а России. Ни один западный монарх не сказал бы такого в ту эпоху. Но вообще всё это сходится с тем, что я говорил вначале, когда привёл мысль Бердяева о том, что Россия не пережила средневековья.

Голубев. Раннее средневековье прошло под знаком блаженного Августина. Но очень быстро начинается раскол между императорами и папами, секуляризация светской власти, за ней следует секуляризация права, секуляризация искусства, науки и самой религии.

Раннее средневековье по существу новозаветно: Ветхий завет возвращается в Европу с лютеранством. Средневековый человек никогда не чувствовал себя

одиноким. Он знал, что пусть он самый бедный и ничего не заслуживает, но Господь Бог и Церковь Христова его любят.

Россия секуляризировалась только с Петром Великим. Психологически русские XIX века сравнимы с европейцами эпохи Ренессанса. Иначе говоря, психологически мы «отстали» от Запада на триста-четырееста лет. Но я совсем не уверен, что мы обязаны его «догонять». То хорошее, что было в средневековье, жило в России, и наше дело пытаться развивать это наследство, не подгоняя себя под европейские мерки. В этой связи можно привести очень ярко выраженную у Пастернака идею жизни как жертвы. Он именно в этом видит Христа и христианство.

В России эта идея жива и сегодня, и действия открытых борцов за права и свободу, в частности, их демонстрация на Красной площади 25 августа 1968 года, выражают эту идею самопожертвования. Сегодняшние московские демократы-западники в этом отношении такие же русские люди, как их предшественники прошлого века.

Философами рождаются

(О «Практической метафизике» А. Москвиты)

Рамки так называемого Самиздата непрерывно расширяются. Сначала это были альманахи — «Синтаксис», «Бумеранг», «Феникс», «Сфинксы», главным образом со стихами неконформистской молодежи. Потом пошла проза — художественная и публицистическая. Потом политические программы. А сейчас перед нами лежит уже и рукопись философского труда, озаглавленного «Практическая метафизика».

Константин Симонов, пожалуй, прав: солдатами не рождаются. Но поэтами, писателями, политическими деятелями и борцами рождаются, как рождаются и философы, причем не в том смысле, что «каждый мыслит по-своему» и «у каждого своя философия», а в самом точном и строгом смысле. «Практическая метафизика» — прямое тому доказательство.

Автор ее скрылся под псевдонимом «А. Москвит». Но из текста можно заключить, что он не стар, что Закон Божий изучал в школе его дедушка, а сам он (видимо, в годы Хрущева) в ранней юности стал носить модную прическу и пиджак с разрезом. Уже название его книги свидетельствует об интеллектуальной дерзости. Он признает, что именно «то, что за физикой», — лежит в основе мироздания, и пытается проникнуть в эту сферу. Его философский кругозор ограничен. В советских условиях это вполне понятно. Из мировых фи-

лософов он знает по-настоящему только Канта и Шопенгауэра. Но что ж, кто сумел овладеть «Критикой чистого разума» и «Миром как волей и представлением», тот имеет право называть себя философом!

Тот, кто в наших условиях сумел преодолеть марксизм, может почитаться философским гением.

Если это верно, то Московит — вдвойне философский гений. «Преодолевать» марксизм ему просто незачем. Он философствует, как Солженицын пишет, из чистого любомудрия, словно и не было никого и ничего между ним и классиками.

Отсюда не покидающее при чтении «Практической метафизики» ощущение стихийной свежести мысли, вытекающей непосредственно из источника и не осложненной чрезмерной оглядкой на «дальнейшее развитие» и «современные взгляды».

Книга может показаться старомодной. Но в то же время она остро современна. Она написана с индивидуалистических кантовско-шопенгауэровских позиций. Но она трактует вопрос, составляющий жизненный нерв советского общества, вопрос свободы и несвободы, вопрос природного равенства или неравенства воли, соотношение человеческого «я» с общественным «мы». По замыслу — это «метафизика», но метафизика — «практическая». Автор занят не философским осмыслением достижений современных наук; он пытается дать свой ответ на основные вопросы бытия; он спрашивает, что есть свобода, что есть мое «я», зачем я живу на свете? Это — Шопенгауэр и Кант, это — немецкий трансцендентальный идеализм, конечно. Но не он ли стал традицией и русской мысли? Во Франции, Америке и Англии так вопросы не ставят.

Основная задача книги — продолжить дело Канта и Шопенгауэра. Сделать еще один шаг. Признав, что мир души нашей есть воля и представление, — «поста-

вить свой собственный вопрос, кажущийся мне ключевым и важнейшим, и который яснее всего может быть сформулирован так: чего хочет воля?»

Ответ на этот вопрос гласит:

«Наша воля хочет всегда только одного — осуществления своей свободы» (стр. 98). Эта формулировка — центральна; автор называет ее «аксиомой»; вокруг нее всё вращается, а сам выбор ее характерен для мысли, рвущейся из круга активной несвободы советской жизни.

В «Практической метафизике» «воля нашего Я отнюдь не слепа — ей дарована способность мгновенно и безошибочно узнавать об утрате своей свободы» (стр. 95).

«Всякое испытываемое нами страдание есть всегда знак обнаружения нашей волей границы своей свободы, то есть осознание несвободы; всякое расширение этой границы неразрывно связано с удовлетворением, радостью, блаженством» (стр. 93-94). *«Отличать добро от зла»* значит различать *«опять же свободу от несвободы»* (стр. 166).

Разумеется, эти утверждения спорны. Но в системе «Практической метафизики» они хорошо обоснованы. И чтобы принять их, надо только принять весь объем семантической полноты, вкладываемой ее автором в понятие «свободы».

Понятие это положено очень широко. В ходе изложения свобода фигурирует как состояние, как свойство и как субстанция шопенгауэровской «воли»; она есть как бы объем и сила воли; она — «душа души», самость (стр. 176); уровень свободы — это уровень духа (стр. 184), и «казаться свободней» равносильно «казаться умнее, сильнее, смелее, добрее, образованней и влиятельнее» (стр. 183).

В его метафизическом разрезе замысел «Практической метафизики» плодотворен. Если принять, что действительно

«схема, начерно намеченная Шопенгауэром, так точно совпадает с человеческими представлениями, что нет никаких оснований отказываться от нее» (стр. 81), то стоит принять и то, что «ты есть воля, жаждущая осуществления свободы» (стр. 206).

Это можно, конечно, и не принять. Но тогда лучше отложить книгу в сторону и не пользоваться ею, как сам Московит не пользуется, например, Марксом и Энгельсом (касаясь их только мимоходом, как, например, на стр. 259), потому что «Практическая метафизика», по сути дела, представляет собой развитие, точнее, экспликацию только этого одного основополагающего постулата.

Вторая часть книги так и называется: «Мир как воля к осуществлению свободы и представление о свободе осуществленной». Она начинается с главы «Томление духа» и заканчивается попыткой ответить на знаменитый вопрос Шопенгауэра, поставленный эпиграфом к ее последней главе:

«Самая трудная из всех проблем: почему при тождестве и метафизическом единстве воли как вещи в себе характеры разнятся друг от друга, как небо от земли? Откуда берется коварная дьявольская злоба одного и тем ярче выступающая доброта другого? ...Может быть, кто-либо после меня осветит эту бездну».

«Практическая метафизика» пытается осветить ее, выставив тезис о различных для разных существ уровнях свободы. (Здесь система «Практической метафизики» перекликается с конструкциями Лосского, субстанциальные деятели которого тоже ведь располагаются на различных уровнях). Мироздание в целом, однако, затрагивается в книге только мимоходом. В центре рассмотрения, начиная с неслучайно помещенного в первой же части превосходного изложения «Критики чистого разума», стоит человек, его «я», его воля и представления, среди которых с основанием выделена надежда на

обретение новых возможностей для расширения своей свободы. И мысль о различных уровнях свободы в человеческом мире оборачивается «врожденным неравенством воле», оказывающимся, таким образом, корнем всех индивидуальных различий.

Нельзя, конечно, сказать, что «Практической метафизике» вовсе не удалось выйти за рамки философии Канта и Шопенгауэра. Удалось! Мысль о воле, жаждущей осуществления своей свободы, безусловно шаг вперед, и замысел третьей и четвертой частей поговорить «Языком метафизики о страстях души» и «о страстях истории» сам по себе оправдан. Но тут-то и начинается мстить за себя та позиция, с которой написана книга, ибо как для системы столетней и большей давности человеческое «я», с его волей и представлениями, в системе «Практической метафизики» — самодовлеющая и в принципе самодостаточная, замкнутая в себе монада; «я» отделено от мира и противостоит миру. Движение к расширению своей свободы осуществляется им в постоянной борьбе, потому что:

«Границы же нашей воле может поставить не какой-либо предмет из мира явлений, но лишь другая воля — воля не-Я. Это может быть одна из низших воле, образующих наше собственное тело, и тогда мы ощущаем несвободу как физическую боль. Это может быть воля другого человека, угнетающая нашу собственную, заставляющая нас терзаться унижением, страхом, обидой. Это может быть воля Мы, сковывающая нас снаружи угрозой наказания, позора, осуждения, либо изнутри — нравственным чувством, раскаянием, угрызением совести. Это может быть даже Божественная воля, томящая нас смутным сознанием греховности» (стр. 94).

И здесь, несмотря на широту автора, обнаруживается недостаточность того понятия свободы, на котором построена система «Практической метафизики». Свобода представляется автору прежде всего в ее отри-

цательном аспекте, как свобода от ограничений и принуждений; такая свобода неизбежно оказывается ограниченной и соответственно дробимой, делимой; такая свобода всегда становится поэтому чьей-то: «моя свобода», «твоя свобода»; а «достоинство человека определяется тем, какую свободу он может вытерпеть в своем ближнем» (стр. 205).

В книге отсутствует понятие «нашей свободы», свободы как общего лона, неделимого, охватывающего всех вместе, как отсутствует и понятие свободы положительной, свободы творчества, соучастия в движении мира, свободы, при которой можно сказать, что достоинство человека определяется тем, в какой мере он способен войти в свободу своего ближнего, в какой мере он способен понять и признать, что сама мысль о том, будто моя свобода кончается там, где начинается свобода другого, будто я должен терпеть чужую свободу, есть в конечном счете ущемление и моей, и чужой свободы, что можно и должно говорить об ограничении и границах власти, но не об ограничении и границах свободы.

Этот метафизический просчет сказывается, конечно, во всей книге, но особенно в ее IV части, в попытке сказать «Языком метафизики о страстях истории», в которой понятие Мы, коллектива, тот «корень, из которого произрастает этическая жизнь человека», выступает как некое властное, принудительное, подавляющее личность начало.

«Практическая метафизика» много говорит об общественном Мы, но говорит о нем почти всегда с позиций индивидуализма и социального атомизма, и это с необходимостью ставит в центр внимания автора понятия преодоления и борьбы. Раздел «Языком метафизики о страстях истории» недаром начинается с главки «Феномен войны». Столкновение противоборствующих волей, стремящихся к расширению сфер своей свободы, здесь проявляется в наиболее чистом виде. А главка «Варвар-

ские нашествия как взрывы воли Мы» досказывает остальное. Вот как она начинается.

«В любом учебнике истории описания войн, походов и сражений занимают основное место. Кажется, не было еще дня на земле, чтобы где-нибудь не воевали. Но в период, отделяющий классическую Грецию от эпохи Возрождения, Марс хозяйничает на нашей планете особенно полновластно и с таким остервенением швыряет друг на друга всё новые орды и полчища враждующих народов, что взгляд исследователя перестает что-либо различать в дыму пожарищ, слух воспринимает только лязг, стон и грохот, а душа усыхает перед зрелищем этого сплошного и бессмысленного взаимоистребления. И всё же в этой кровавой бессмыслице прошлых веков мы видим так много сходства с нашим временем, что поневоле начинает казаться: 'тут что-то есть, какой-то неуловимый общий закон, закон войны, который можно преодолеть и уничтожить только через понимание его'» (стр. 264-265).

Верно. И относительно учебников. И относительно войн. И относительно понимания законов развития как средства управления этим развитием. И как не сочувствовать стремлению автора «Практической метафизики» понять «закон войны» для того, чтобы «преодолеть и уничтожить... его»!

Но можно ли уничтожить «столкновение противоборствующих волей», когда каждая из них стремится к расширению сферы своей свободы? Сделать это, очевидно, нельзя, и в «Практической метафизике» это, в сущности, так и сказано. На примере варварских нашествий и создания империй прошлого, на примере походов македонцев, гуннов, арабов, норманнов и монголов автор, следуя здесь больше за Толстым, чем за Марксом, утверждает, что

«во всех рассматриваемых нашествиях от предводителя зависело лишь направление потока в тот или иной момент, но

не сам факт и не огромная сила его». Потому что «жизнь каждого члена Мы, наполняемая всё большим направлением и азартом борьбы, — вот что следует понимать под накоплением энергии осуществления свободы. Внезапное прекращение борьбы (неважно, по какой причине) чревато для каждого члена Мы страданием и побуждает его искать новых объектов для нападения и новых волей для преодоления — вот что такое высвобождение энергии осуществления свободы» (стр. 272). «Военная агрессия любого Мы всегда связана с высвобождением внутри данного Мы значительной энергии осуществления свободы» (стр. 273).

Верно. И здесь «Практическую метафизику» можно принять как расшифровку слов древнего Гераклита «Война — отец всего». Основополагающее утверждение «Практической метафизики», что «наша воля хочет всегда только одного — осуществления своей свободы», верно указывает на постоянный и неиссякаемый источник агрессии. Наша жизнь всегда есть борьба и без борьбы немыслима и невозможна.

Жизнь в созданном Лениным и Сталиным небывало последовательном и небывало агрессивном царстве активной несвободы, надо думать, сама подсказала автору «Практической метафизики» его главную мысль и позволила сделать гениальный шаг за Шопенгауэра и Канта. Но очевидная оторванность его от современной философской и историко-политической мысли, а может быть, и его презрение к Марксу, а через Маркса и к Гегелю, помешали ему понять, что агрессия и борьба лишь одна из сторон диалектической пары, что с принципом войны диалектически связан противоположный ему принцип мира, что конец и конечная цель борьбы, ее «телос», т. е. ценность и смысл, есть мир и гармония, что война существует ради мира и что на этом важнейшем диалектическом принципе покоится самая возможность образования общественных союзов, тех социальных Мы, в которых и с помощью которых проявляет

себя то, что в «Практической метафизике» так удачно называется «энергией осуществления свободы».

Сосредоточившись на категориях состязания, соперничества, преодоления и борьбы, «Практическая метафизика» проходит почти совершенно мимо категорий сотрудничества, взаимопомощи, солидарности и творческой самоотдачи личности любимому предмету. Понятие Мы, общественного единства остается при таком подходе слишком нерасчлененным и общим, но в то же время и слишком узким. Под Мы понимается «тот класс явлений, который в обиходе именуется государством, племенем, общиной, ордой» и за которым и предлагается «мыслить некую волю Мы, превосходящую по признаку свободы волю индивидуального Я» (стр. 82), причем это «Мы, наблюдаемое как явление в виде государства, племени, рода, как воля должно мыслиться аналогично воле многоклеточного организма» (стр. 90).

Сравнения всегда хромают, но в них всегда содержится символическое выражение жизнеощущения их авторов. Для автора «Практической метафизики» Мы — мощная и по отношению к индивиду всегда внешняя сила, обеспечивающая единство, которое лишь в подчиненном плане (как в многоклеточном организме) остается многоединством. Анализируя, в каких формах нам является воля Мы, он подчеркивает, что

«каждая индивидуальная воля Я, входящая в состав Мы, должна быть хоть чем-то одинаково с другими ограничена на верхних, боковых и нижних своих границах. Так, уже в самых зачаточных и примитивных Мы можно найти обязательно какие-то табу, запрещающие некоторые действия по отношению к членам Мы, и понятие твое-мое, т. е. запрет по отношению к нижним границам. ...Сумма же этих ограничений и определяет внутреннюю структуру всякого Мы» (стр. 289-290).

Как у Канта, у Шопенгауэра и во всей социальной философии прошлого века, в «Практической метафизике»

зике» индивидуальное Я противостоит социальному Мы; личность — обществу. Общество рисуется как начало, ограничивающее личность. При демократическом строе оно ограничивает свободу гражданина в интересах свободы других граждан, руководствуясь принципом «сфера свободы личности кончается там, где начинается сфера свободы другой личности». При авторитарном строе свобода личности ограничивается во имя «государственных интересов» и «общих целей» и самая цель существования человека видится в служении обществу, в полной отдаче себя государству, нации, вождю.

Опираясь на современные теории общества, на достижения аналитической психологии и на социологическое изучение феномена общественных союзов, можно, однако, смотреть и иначе. На наш солидаристический взгляд общество точно так же входит в душевный состав личности, как личность входит в состав общества. Диалектическое противоборство притяжения и отталкивания, солидарности и вражды, мира и войны можно наблюдать везде. Оно есть и в человеческой душе, т. е. внутри человеческого «я», и в каждом общежитии людей, в каждом человеческом «мы». Оно проявляется в столкновениях и союзах. Но оно всегда нацелено на гармонию и дружбу, ибо только в гармоническом многоединстве, в составе любимого им и не угнетающего его коллектива, семьи или круга друзей и близких, человек чувствует себя довольным и свободным.

«Учителя боятся учеников и льстят им, а ученики унижают учителей и воспитателей. Вообще юноши принимают роль стариков и состязаются с ними словом и делом, а старики, снисходя к юношам и подражая им, отличаются вежливостью и ласковостью, чтобы не показаться людям неприятными и деспотами... А какое бывает равенство и какая свобода жен в отношении к мужьям и мужей в отношении к женам, — о том мы почти забыли сказать».

Можно подумать, что речь идет о какой-то из современных

нам демократий Запада с их разгулом студенческих волнений и сексуальными революциями. Но нет — это Платон описывает состояние Города, разрушенного чрезмерной свободой», — пишет автор «Практической метафизики», пытаюсь систематизировать, «в каких формах является нам воля Мы» (стр. 269).

Как и древний Платон, он не закрывает глаза на факт:

«Средний срок жизни известных нам демократий — двести-триста лет. Конец их бывал двояким: они либо оказывались захвачены и поглощены более могущественными Мы, либо переставали быть демократиями» (стр. 297).

И тут же снова цитирует древних, на этот раз Аристотеля:

«Все демагоги достигли тиранической власти не иначе, как приобретя наперед доверенность народа, а эту доверенность они получили, враждуя против богатых», — и еще раз Платона: «если рождается тиран, то вырастает он ни из чего иного, как из корня, именуемого народное представительство» (стр. 298).

Но «Практическая метафизика» — не цитатник. И мы выбрали из нее эти цитаты не для того, чтобы блеснуть эрудицией, но лишь для того, чтобы подчеркнуть неподкупную честность мысли ее автора. Наперекор бездумному преклонению современной толпы перед демократией, левизной и прогрессом, цитируя древних и анализируя ход истории, он бесстрашно указывает на неизбежный распад государственной жизни там, где, пользуясь индивидуальными свободами, но руководствуясь лишь личным интересом, граждане перестают служить обществу.

И хоть «Практическая метафизика» есть, конечно, книга о свободе, хоть жажда свободы безусловно тот центр, вокруг которого сложилось жизнеощущение ее

автора, он, вместе с Платоном и Аристотелем, видит, что если моя свобода заключается только в том, чтобы, расширяя рамки своего «я могу», никому и ничему не подчиняться, а всякое Мы строится на табу и ограничениях, то вся история оказывается глупым качанием маятника между безвластием и полновластием, что демократия порождает диктатуру, а диктатура — восстание...

Но остановимся. «Практическая метафизика» не только развивает Шопенгауэра. В ней есть открытие, выводящее мысль за рамки социального атомизма и отрицательного понимания свободы. Автор не случайно набрел на нее в главе «Какие силы потрясают Мы изнутри» (стр. 303). В полном согласии со своей основной идеей, анализируя возникновение протеста, он понял, что революциям политическим предшествуют революции духа. Он верно и точно описывает, как это происходит, и жаль, что наследство Канта и Шопенгауэра не позволило ему пойти дальше и сделать все выводы из этого блестящего анализа.

«Все виды борьбы идей, брожения умов, столкновения партий, следует рассматривать не как борьбу различных группировок и индивидуумов, а как борьбу различных интенций, происходящую не только между людьми, но и внутри каждой воли Я. Поэтому-то в будущем, когда борьба из идейной перейдет в военную, раскол произойдет не по классово-сословному признаку, а по интенциональному, и мы увидим вандейских крестьян, с оружием в руках защищающих монархию, французских дворян среди членов Конвента, американских рабовладельцев в рядах северян, кадровых русских офицеров в штабах Красной армии. Любое идейное движение внутри Мы, проявляющееся в той или иной внешней форме, будь то реформация, масонство, чартизм, самостийность, социализм, тред-юнионизм или крестьянский бунт, являются не чем иным, как объективацией той или иной интенции многих волей Я. Сложный процесс объединения различных Я по признаку одинаковой интенции

я буду называть процессом солидаризации интенций (выделено автором) — о нем следует поговорить подробнее».

И здесь мы находим страницу, несомненно выстраданную автором. Она вработана в философскую книгу, но почерпнута из живого социального опыта:

«До тех пор, пока преодоление границы-запрета, установленной Мы, представляется индивидуальной воле делом невероятным, интенция ее в этом направлении бывает очень слаба. Усиление интенции без всякой надежды на преодоление границы означало бы для человека усиление страдания от сознания этой несвободы. Поэтому каждый из нас упорно гонит свою мысль прочь от этой границы и весьма искусно перестраивает свои представления таким образом, чтобы не замечать её и не мучиться понапрасну. Однако всегда можно ожидать появления людей, чьи возможности к осуществлению свободы так ограничены, чей дух томится с такой остротой, что никакая безнадежность не может уже испугать их; и если за какой-то из границ-запретов такой человек провидит манящее обретаемое, например, в виде Царствия Божия на небе или на земле, то ничтожной тени на победу (пусть даже в далеком будущем, пусть даже после смерти) оказывается достаточным, чтобы он решился ринуться на преодоление, то-есть заговорил. Ибо единственная возможность к изменению или расширению любой границы-запрета есть солидаризация интенций многих Я в этом направлении, а единственная возможность солидаризации, известная до сих пор, — выражение интенции в слове. Когда один говорит, а другие слушают его и видят, что слова проповедующего находят отклик не только в их душах, когда они сознают, что их смутный и так долго задавливаемый порыв живет и в других людях, в них зарождается надежда на возможность преодолеть границу-запрет сообща. Ведь Мы может быть побеждено только другим Мы, а солидаризация интенций и есть процесс зарождения нового Мы. Ничто так не усиливает индивидуальную интенцию, как зарождение надежды. Если же солидаризирующая интенция окажется такой сильной, что одер-

жит несколько наглядных побед, надежда разгорится еще сильнее, захватит инертную массу, вовлечет ее в круговорот борьбы, и вот уже то, что казалось еще пару лет назад невероятным, совершилось: прежние границы-запреты прорваны, на их место поспешно устанавливаются новые, и даже люди, никогда не позволявшие себе раньше помыслить о чем-то подобном, с готовностью вытаскивают на поверхность сознания прежде упорно загонявшуюся вглубь интенцию и спешат присоединиться к вновь образовавшемуся Мы, каким бы отталкивающим оно им ни казалось...

Не так ли образовался Самиздат? Не так ли выкристаллизовалось в советском обществе сейчас уже ясно всем видимое стремление к свободе и праву? «Солидаризация интенций» в этом направлении идет на наших глазах, и, наблюдая ее, автор «Практической метафизики» усмотрел нечто, ведущее за пределы традиционного кантовского и шопенгауэровского индивидуализма. Но, блестяще описав феномен «солидаризации интенций», он не пошел дальше. «Мы», которое он пишет с большой буквы, отождествляется для него с властью и эксплуатируется властью. И ему не приходит в голову подойти с той же меркой «солидаризации интенций» к любому общественному объединению, как будто какое-нибудь, скажем, общество любителей старины не опирается на такую же общность воли и не есть плод такой же «солидаризации интенций»?

«Практическая метафизика», следуя в этом за классиками, за Платоном и Аристотелем, хорошо видит, что индивидуалистическая демократия таит в себе зародыш, из которого растет диктатура. «Практическая метафизика», уже на основе собственных наблюдений и собственных размышлений ее автора, еще лучше видит, как зарождается протест против угнетения и образуется новое «мы» борцов за освобождение. Но он останавливается на этом, не решаясь признать, что Мы, общество, союз людей, вовсе не противостоит индивидуальному «я»,

— как это склонны были думать Кант и Шопенгауэр, что общение между людьми, между «я» и «ты», принадлежит к изначальным данностям, к самой субстанции человеческого бытия. Говоря словами большого русского философа Семена Франка, —

«в общении 'чужое сознание' или, как обыкновенно говорится в философии, 'другое я' есть для меня не просто объект, который я познаю и воспринимаю, но вместе с тем и субъект, который меня воспринимает».

«...Поэтому 'мы' есть не множественное число первого лица, не 'многие я', а множественное число как единство первого и второго лица, как единство 'я' и 'ты'. В этом замечательная особенность категории 'мы'. Вечная противопоставленность 'я' и 'ты', которые, каждое само по себе и в отдельности, никогда не могут поменяться местами и охватить одно другое, — эта противопоставленность и противоположность преодолеваются в единстве 'мы', которое есть именно единство категориально разнородного личного бытия 'я' и 'ты'» («Духовные основы общества», стр. 87-88 и 91).

Нам кажется, что учение о свободе, — а «Практическая метафизика» есть, конечно, в первую очередь учение о свободе, — должно было бы посчитаться с этим. Ибо если общество не противостоит личности как безличное постороннее ей «оно», если человек человеку не только «он», но и «ты», то и свобода человека не прекращается там, где начинается свобода другого. «Я могу», осуществление которого, согласно «Практической метафизике», есть сама субстанция человеческой воли, вливается в общее «мы можем», становясь выражением не только моей, но и твоей, и его, и нашей общей воли.

«Практическая метафизика» не случайно пошла в Самиздат. Это отвлеченный философский труд, но это и труд, нацеленный на практику жизни и почерпнутый из практики жизни. Ибо не из Платона и Аристотеля, не из Канта и Шопенгауэра и не из современной психо-

логии и социологии, с которыми автор, по-видимому, мало знаком, почерпнуто его знание о свободном слиянии воли в реализации общей интенции, в служении общему делу, в наполнении своей свободы полюбожившимся содержанием.

Мысль о солидаризации интенций заставляет пересмотреть утверждение, будто «сумма ограничений определяет внутреннюю структуру всякого Мы» (стр. 289—290). По меньшей мере не всякого, потому что не меньше чем ограничения эту структуру определяет общая направленность объединившихся в данном Мы индивидуальных воли, общая цель, общий смысл, та общая интенция, в которой моя и твоя свобода солидаризуются в нашу свободу.

Из этой интенции вырастает то, что можно назвать положительной или творческой свободой. Ибо свобода не означает витания в безжизненном пространстве неопределенности и несвязанности ничем, но ждет и требует наполнения. Только активно проявляя себя, вступая в связь с другими деятелями, наше Я может осуществлять свою свободу. Ненаполненная же, пустая свобода обречена на одиночество и превращается в произвол или рабство. Как хорошо сказано у С. А. Левицкого в его «Трагедии свободы»*:

«...свобода есть всегда выход из круга данностей, есть прорыв к новому, есть внесение новизны в бытие, есть усмотрение и реализация новых ценностей. В этом — вечная юность творчества, вечная юность свободы» (стр. 138).

«Практическая метафизика» — несомненный вклад в сокровищницу философской мысли. Утверждение, что «наша воля хочет всегда только одного — осуществления своей свободы», есть бесспорно углубление и продолжение классических концепций немецкого идеализ-

* Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1958.

ма. Но здесь нужно уточнить и развить два понятия: понятие Мы, социального единства, вне которого невозможно и немыслимо никакое Я, и понятие свободы, не только как голой возможности «я могу», но и как творческого порыва «так надо».

Нам думается, что это можно и должно сделать, продолжив анализ «солидаризации интенций». Хотелось бы, чтобы работа над «Практической метафизикой» продолжалась в первую очередь в этом плане.

Практическая метафизика

II. МИР КАК ВОЛЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СВОБОДЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СВОБОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ

«Большая стойкость будет нужна для того, чтобы трудности в нас самих и противодействие извне не воспрепятствовали нам содействовать при помощи метода, противоположного существовавшему до сих пор, успешному и плодотворному росту необходимой для человеческого разума науки, всякий произрастающий ствол которой нетрудно, конечно, срубить, но корни которой уничтожить невозможно».

Иммануил Кант

1. ТОМЛЕНИЕ ДУХА

«Чего хочет воля?» Но не бессмыслица ли ставить такой вопрос после всего, что было сказано о вещи в себе, о недоступности ее для познания разумом? При подчиненном положении разума по отношению к воле,

Главы из книги, публикуются впервые. — Ред.

установленном нами, обсуждение им ее стремлений не будет ли представляться такой же нелепостью, как если бы упряжка лошадей, отведенная в стойло на отдых, вздумала вдруг спорить о том, каковы были цели хозяина, гонявшего их весь день то туда, то обратно, не считаясь ни с ветром, ни с холодом, ни с дождем, без всякой видимой и доступной лошадиному пониманию пользы. Не в силах уразуметь себе этих целей, мы говорим вслед за Шопенгауэром — воля слепа. И действительно, трудно не согласиться с ним тому, кому хоть раз довелось бросить взгляд на бескрайний, вечно бурлящий океан человеческих страстей и желаний.

Чего же хотят миллиарды этих напряженно стремящихся воль — этого? того ли? Нет такой вещи на свете, которая, будучи предметом страстного вожделения для одного, не могла бы для другого оказаться презренной и недостойной. Да что там — для другого! Одна и та же воля, один и тот же человек предстает перед нами то жаждущим богатства и славы, то отвергающим их, то стремящимся к любимой женщине, то бегущим ее, то убивающим, то спасающим, то восхваляющим себя, то поносящим, то рвущимся в бой, то молящим о покое. А самые простейшие, так называемые естественные человеческие желания — есть, пить, размножаться, избежать боли, жить, наконец? Разве не увидим мы в том же океане тысячи примеров того, как люди в здравом уме и ясном сознании отталкивают еду и питье, бегут любовных соблазнов, терзают свое тело ножом и плетью, добровольно идут на смерть да еще явно находят во всем этом какую-то непостижимую форму удовлетворения.

Человек благоразумный, то-есть не представляющий себе, как это можно желать чего-то другого, нежели он сам, всегда будет пытаться объяснить бушевание страстей вокруг него упадком века, язвами цивилизации, распущенностью современных нравов. Но было ли когда-нибудь иначе? Вот мы погружаемся в глубину

веков и слышим оттуда дивный голос, вещающий всё о том же:

«Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё — суета и томление духа! ...Сказал я в сердце моем: дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром; но и это — суета! ...Я предпринял большие дела: построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья; ...собрал себе серебра и золота... завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия. ...Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья... И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои... и вот, всё — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем! И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость... И сказал я в сердце моем: и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это — суета» (Книга Екклесиаста, гл. гл. 1 и 2).

Поистине — всё суета! Но именно здесь, у Екклесиаста находим мы точнейшее слово, точнейшее имя тому, что единственное среди всей суеты, среди нескончаемого потока желаний, иллюзий и устремлений остается в человеке вечно неизменным и неуничтожимым, жаждущим насыщения и ненасытимым — т о м л е н и е д у х а.

Наша воля в мире явлений устремляется то на одно, то на другое, то вообще неизвестно куда, объекты ее желаний сменяются с непостижимой быстротой — неизменным остается лишь само томление. Достигнув желанного, мы будто бы перестаем слышать его голос — но как ненадолго! Оно вырастает в нас снова с такой же неумолимостью, как физический голод, однако разница, и огромная, состоит в том, что тот мы можем утолить изо дня в день одной и той же пищей, этот же бу-

дет требовать каждый раз нового, и то, что насыщало его вчера, сегодня будет казаться абсолютно негодным. Добившись вожделенных почестей, богатства или женщины, человек в скором времени слышит в своей душе всё тот же роковой вопрос — «а дальше что?», и в панике кидается добиваться новых почестей, еще большего богатства, других женщин — чего угодно, лишь бы отогнать ужасный образ пустоты и скуки, которые для воли всё равно, что вечная жизнь впроголодь без всякой надежды на насыщение.

Чего хочет воля? О чем томится дух? Мы можем долго вопрошать об этом вещь в себе — надменное молчание будет нам единственным ответом. Ибо слова, которые мы могли бы услышать и понять, неизбежно вернули бы нас в мир явлений, к пелене Майи, они бы в который раз подарили нам в лучшем случае иллюзию знания о вещи в себе, иллюзию, тешиться которой после Канта уже невозможно. И подавленные этим молчанием, мы снова обращаемся к единственному оставленному нам просвету, к собственной воле, чью боль и радость мы знаем так доподлинно, и, поверяя ими многообразие явлений, пытаемся спросить иначе: «что же среди явлений оказывается годным к утолению желаний воли?»

Казалось бы, спросив даже в такой смиренной форме, мы снова оказались бы перед лицом неисчислимого множества ответов. Пробуя их один за другим, мы уподобились бы тем крестьянам, которые, обсуждая методы борьбы с пожаром, говорят, что довольно-таки сподручно тушить водой, или песком, или растаскивать горящие бревна и валять их по земле, или, если загорелась одежда, быстро завернуть человека в тулуп. Заявление же ученого о том, что главное — прекратить доступ кислорода, будет, с их точки зрения, лишено всякого практического смысла.

Однако нас здесь интересуют именно такого рода обобщения, и коль скоро мы занимаемся наукой, то пробуем взглянуть на все дела, способные хоть на время

успокаивать томление духа, — не обнаружится ли в них какого-нибудь общего свойства, какого-нибудь момента столь же скрытого и важного, как прекращение доступа кислорода во всех способах тушения огня.

Естествоиспытатель, задавшись подобной целью, немедленно приступил бы к эксперименту, зажег в лаборатории спиртовку и, подавая к огню один за другим газы, входящие в состав воздуха, быстро нашел бы тот, который обеспечивает горение. Мы же, не имея ни морального права, ни практической возможности экспериментировать над человеком, должны будем здесь и далее довольствоваться лишь теми «экспериментами», которые он сам проделывает на наших глазах с самим собой. И так как воля не станет отвечать нам, какой же фермент в великом множестве объектов ее вождедений является для нее самым манящим, то попробуем подглядеть за ней и выяснить: не встречается ли в жизни ситуаций, когда воля человека заставляет его тело и разум совершать самые энергичные действия, напряженно трудиться и устремляться в пустоту или на объект, ничтожность которого совершенно очевидна, но тем не менее достижение которого дает всякой душе неизъяснимую отраду и удовольствие?

Если бы нечто подобное обнаружилось, если бы воля была застигнута за страстным, самозабвенным влечением к тому, что, по понятиям разума, есть совершенная ничтожность, пустяк, мы бы имели полное право отнестись к такому чистому влечению, как к желанному эксперименту, выдающему истинные цели и устремления воли. То-есть, коль скоро нам не по силам определить, ради которой из красавиц этот таинственный незнакомец постоянно является на бал жизни, ибо он, кажется, готов танцевать со всеми, попробуем подглядеть, не лазит ли он к кому-то в окно или по крайней мере что он делает, оставшись один.

И здесь, с чувством естественной для изыскателя радостной надежды, мы должны признать, что такое яв-

ление, устремление воли в явную пустоту, не только существует, но известно и пережито почти каждым человеком всех времен и народов. Называется этот странный утолительный феномен — и г р а.

Тот, кто привык считать игру уделом одних лишь детей, может с доверием и любопытством отнестись к конкретным опытам психологов в школах и детских садах, но наверняка возмутится против попытки такого обобщения: потребность игры как общечеловеческое свойство. Сто лет назад такое возмущение было бы еще понятно, но теперь... Теперь, чтобы отрицать это, пришлось бы закрыть глаза на целые институты взрослых игр, на тысячи мужчин, гоняющих в поте лица невзрачный мяч по зеленому полю, на тысячи других, с еще большим остервенением носящихся по льду за еще более невзрачной шайбой, на миллионы зрителей, жадно следящих за каждым движением игроков и приветствующих удачный удар дружным восторгом. Пришлось бы не видеть на верандах и пляжах, в поездах и беседках мелькания карточных колод, не слышать стука домино и кеглей, ударов городошных бит и клюшек для гольфа, пришлось бы отвернуться от миллионов наморщенных лбов, склоненных над шахматами и нардами, маджонгом и рулеткой. А треск выстрелов над озерами и лесами и одна окровавленная пичужка как результат всей пальбы? А зимние и летние армии рыболовов, увешанные снаряжением, стоящим дороже всех возможных уловов? А те, кто гоняются наперегонки на всем, что может ехать, плыть, летать, не жалеющие ни машин, ни голов своих ради десятой доли секунды?

Нет, поистине смотреть на игру исключительно как на детскую глупость или придурь богачей можно было лишь тогда, когда большинство человечества было занято борьбой за существование. Но нынче, в машинный век, когда не только дети и богачи оказываются избавленными от этой борьбы, когда кусок хлеба и кров над головой перестают быть проблемой, а счастья все

нет, а дух томится всё так же, если не больше, и среди возможных средств утolenия всё чаще прибегает к игре, мы получаем полное право рассматривать игру как некое чистое обнаружение человеческой воли, в котором она странным образом находит удовлетворение, не достигая никаких объектов своих обычных желаний.

При исследовании воли общечеловеческая способность к игре должна послужить нам таким же указующим знаком, намеком, каким для Канта при исследовании разума послужило наличие обязательной для всякого сознания науки — математики. И так же, как он видел в математике вид чистого познания и, опираясь на это, выделял из всего многообразия чувственных восприятий чистые формы последних — пространство и время, так и мы попытаемся выделить из многообразия игр, в какие играет человечество, важнейшие и необходимые элементы (без которых всякая игра — не в радость), опираясь на представление об игре как о чистом волепроявлении. Чистым мы будем называть отныне такое проявление свободной воли, которое мыслится абсолютно немотивированным. В действительной жизни оно может быть обнаружено очень редко, только в игре и то далеко не во всякой, ибо выигранные деньги, успех у зрителей, торжество над соперником и прочее безусловно относится к области мотивов.

Но сам факт обнаружения чистого явления воли в нестимулированной игре, каким бы редким он ни был, должен насторожить нас и заставить задуматься: а не может ли оказаться, что и во всех своих устремлениях наша воля оказывается движима не мотивами, целями и прочими предметами из мира явлений, а тем же загадочным порывом, который управляет ею в чистом акте игры?

Не являются ли мотивы, цели и стимулы, представляющиеся столь важными нашему разуму, для воли, как вещи в себе, безразличными, оказывающими на

нее лишь катализирующее воздействие, наподобие того, как присутствие платины ускоряет и делает заметным процесс окисления некоторых веществ?

Не может ли оказаться, что дух томится не по чему иному, как по возможности явить свою свободу, и сердцевину всякой утолительной деятельности, основу ее образует акт чистого свободного волепроявления?

И если это так, то представляется весьма заманчивым уяснить себе закономерности этого акта там, где они наиболее доступны для наблюдения — в игре.

2. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИГРА

С самого начала я хочу отложить в сторону все игры из серии «как будто»: «как будто ты моя мама, а я твоя дочка», «как будто я паровоз, а ты вагончик» и тому подобное. И не потому вовсе, что это какая-то специфически детская игра. Большинство взрослых играют в нее до глубокой старости, изображая всевозможные «как будто»: «как будто я умен, а ты честен», «как будто ты смел, а я благороден», «как будто мы любим друг друга». Но все эти игры хоть и доставляют участникам массу удовольствия, остаются всё же целиком играми представления, фантазии; нас же пока интересуют только игры воли, то-есть связанные с борьбой, с напряжением физических и духовных сил.

Таким образом, уже в этом ограничительном замечании содержится первое необходимое условие всякой игры — наличие некой, отличной от нашей собственной, воли, подлежащей преодолению.

Безусловно, это может быть как воля живого существа — партнера, стремящегося выиграть, дичи, стремящейся остаться в живых, леща, не желающего быть пойманным, — так и мертвого предмета: мяча, биты, бильярдного шара, лука и стрелы, копья и ядра.

Но с какой бы страстью мы ни предавались всем этим занятиям, как бы ни жаждали удачи, совершенно ясно, что истинной целью наших устремлений, причиной волнения не может быть ни поражение партнера, которому мы не желаем никакого зла, ни лесть, которого за сходную цену можно купить на рынке и изжарить, ни тем более перемещение бильярдного шара с поверхности стола в висящую сбоку сеточку. То, что можно было бы назвать мотивом, либо присутствует здесь в очень слабой, несоизмеримой с переживаемым волнением степени, либо отсутствует вовсе.

Поэтому мы вправе предположить, что сам по себе факт обнаружения нашей воли в процессе преодоления воли любого не-Я содержит в себе момент неизъяснимого удовольствия, которое никак не может быть названо мотивом, ибо оно целиком принадлежит воле как таковой, а не миру явлений и даже не разуму, для которого оно как раз и непостижимо.

Итак, мы выяснили, что сам факт преодоления необычайно привлекателен для воли. Но всякое ли преодоление? Когда мальчишка, гуляя в лесу, подбирает с земли палку, он уже в некотором смысле преодолевает силу тяжести, и однако говорить об испытываемом им удовольствии вряд ли уместно. Но вот он запускает ту же самую палку в ствол дерева или, еще лучше, в крону дуба, вызывая град жёлудей, — и всё меняется. Он счастлив, он самодовольно улыбается, слыша стук палки о ствол — попал! — или кидаясь собирать упавшие жёлуди, которые потом будут долго гнить в его кармане, ибо он решительно не знает, что с ними делать.

Что же изменилось? Чем так отличаются эти два одинаково простые действия его тела — поднять палку или бросить ее, — что первое оставляет его равнодушным, а второе доставляет столько радости?

Я долго не мог подобрать нужного слова для обозначения качественного различия обоих преодолений, пока не остановился на том, которое кажется мне более

или менее точным: доля невероятности. Во втором действии есть доля невероятности (некое не-могу) — не попасть в ствол, не сбить ни одного жёлудя, в то время как в первом она отсутствует начисто (поднять палку — знаю, что могу).

Если мы теперь снова взглянем на все игры, оказывающиеся способными увлекать человеческую волю, то нам сразу бросится в глаза, какое огромное значение имеет в них этот фактор. Попробуйте убрать его — и всякий интерес к игре сразу пропадает. Разве может дать какое-нибудь наслаждение победа над заведомо беспомощным противником? Или попадание в утку, которая привязана в двух шагах перед стволом вашего ружья? Или ловля рыбы в искусственном садке, если заниматься ею с разрешения сторожа? А кто не знает о тех нарочитых уступках, которые сплошь да рядом делаются более сильной стороной в пользу более слабой и которые имеют единственную цель — внести в игру эту желанную невероятность.

Если же сравнить, например, такие игры, как шахматы и карты, то гораздо бóльшая популярность карт оказывается объяснимой именно тем, что в них каждый новый кон, каждый новый расклад заведомо несет в себе привкус неожиданности, неоднозначности, надежды, и, благодаря этому, карты могут вечер за вечером сводить в игре одних и тех же партнеров явно неравных способностей, в то время как шахматы будут всегда требовать хотя бы приблизительного равенства сил.

Любопытно также, что существует даже целый класс игр, основанный исключительно на вероятностных отношениях, то-есть не требующих затраты даже умственных сил, заменяющий фактическое преодоление иллюзией его, победой над партнерами. Таковы рулетка, лото, лотерея. Но если игры, требующие затраты сил, искусности, напряжения и сосредоточенности, вполне могут обходиться бескорыстным удовольствием победы, то этот второй класс совершенно немыслим без призов,

без денежного выигрыша, переход которого из одного кармана в другой всегда окрашен таким неудовольствием проигравшего, что его недовольная воля прекрасно играет роль того, что должно было оказаться преодоленным.

Что же касается спорта, то здесь преимущественная популярность спортивных игр перед всеми другими видами соревнований также едва ли объяснима чем-то иным, нежели той дивной и волнующей невероятностью, которая таится в самой природе надутого мяча, в неоднозначной связи его прыжков с наносимыми ударами, во взлетах и падениях надежды, каких никогда не вызовет, например, заплыв спортсмена в бассейне, ибо результат его примерно известен заранее и взволновать кого-нибудь сможет лишь рекордный — большая редкость.

Итак, доля невероятности — вот второй элемент, без которого немислима никакая игра. Однако не следует увлекаться и воображать, будто интерес и волнение игры находятся с ней в прямо пропорциональной связи. Отнюдь нет — слишком большая невероятность так же убийственна для нее, как и полное отсутствие последней. Никто не станет сидеть с удочкой над прудом, в котором недавно травили рыбу, или играть в карты с заведомым шулером.

Надежда — вот что необходимо в такой же мере для того, чтобы воля встрепенулась, подняла голову и бросила нас на очередное преодоление. Надежда может оказаться обманчивой, может привести нас к горечи и разочарованию поражения, но до тех пор, пока мы не услышим ее голоса, мы вообще не двинемся с места. Говорит же она всегда одно и то же: «у тебя может хватить сил, чтобы одолеть э т о». И чем меньше мы знаем свои силы, тем легче поддаемся ее зову.

Оттого-то детство и юность настолько богаче порывами и разочарованиями, чем зрелость, — там мы еще не извели себя, своих возможностей и, очертя голо-

ву, готовы кидаться на любую борьбу. И оттого-то те игры, которые вообще не требуют затраты сил, гораздо больше привлекательны для пожилых, слишком хорошо узнавших себя и уставших от поражений, — здесь надежда светит им точно так же, как и всем прочим, здесь исчезает разница между сильным и слабым.

Если же возьмем другую возрастную крайность, то есть двухлетнего малыша, и с завистью взглянем в искреннюю радость, доставляемую ему самой бесхитростной игрой, то нам станет ясно, что испытать послушность и ловкость своих пальцев в наполнении песком игрушечного самосвала для него не менее важно, окрашено такой же смесью невероятности и надежды, как для начинающего водителя самосвала настоящего — точно подать машину в узкий проезд. Дети так часто подбирают с земли всякую дрянь именно потому, что для них это простейшее действие, благодаря незнанию своих сил, то-есть элементу невероятности, всегда игра. Если вы запретите ребенку брать из шкафа ваш фотоаппарат, он может выслушать это спокойно, ибо на такую игру он и не надеялся; но попробуйте схватить его за руку, когда он тянулся к горячему утюгу, — он поднимет ужасный рёв, ибо надежда говорила ему, что его воля, подчинив мьшцы руки и пальцев, имела реальный шанс завладеть этим красиво блестящим предметом.

Таким образом, в наиболее общем виде второе условие можно выразить так: надежда и невероятность — вот единственные берега, между которых воля в игре готова устремляться на преодоление. То, что воля остается недвижимой там, где невероятность перерастает в невозможность, кажется само собой разумеющимся; но то, что она так же утрачивает всякую охоту действовать в тот момент, когда надежда превращается в уверенность, представляется парадоксальным и заслуживающим самого пристального внимания, которое мы и окажем впоследствии этому парадоксу.

Наконец третье и последнее условие, без которого немислимо само понятие игры, — отсутствие всякого принуждения извне, полная свобода воли. Заставить играть! — само сочетание этих слов кажется нелепостью. Привести какой-либо пример игры, отравленной принуждением, очень трудно именно потому, что он почти не встречается в жизни. Разве что мрачные летописи последней войны хранят в себе упоминание о чем-то подобном — «матч под дулами пистолетов», и какой-то особой зловещности исполнено для нас это изощренное надругательство над самим духом свободы.

В нормальных же условиях мы не только не в силах вообразить себе кого-нибудь играющим в силу чьего-то приказа, но из опыта знаем, насколько безрадостной будет всякая игра с тем, кто не отдается ей с той же самозабвенной страстью и энергией, как мы сами. Можно представить себе, конечно, тирана в коротких штанишках или тирана на троне, заставляющего окружающих проигрывать себе раз за разом; но и он приходит в великую ярость, когда ему поддаются слишком заметно.

Обычно же, если мы, помирая со скуки, пытаемся, за неимением равного, побудить к игре кого-то слабейшего, мы невольно прибегаем к уступкам — жертвуем заранее ладью, снимаем сапоги, если большая часть футболистов играет босиком, — мы хотим пробудить в них надежду и только через нее увлечь их свободную волю, ибо другой нам не надо.

И оттого-то столь привлекательной испокон веков для нас остается та летающая и бегающая, плавающая и водоплавающая воля, что в свободе ее, в сопротивлении на пределах всех сил и всей хитрости мы так неколебимо уверены. Превратите охоту в труд — и перед вами окажется обычный современный рыбак или китобоец, относящийся к своему делу не с большим интересом, чем всякий рабочий. Наоборот, один лишь фак-

тор добровольности, свободы, сознание, что «можно и не делать», способны превратить такие дела, как работа в огороде, окраска забора, ремонт автомобиля, в радостное подобие игры, которой и предаются миллионы серьезных людей каждое воскресенье и каждый свободный вечер.

Попробуем же подвести первый итог нашим наблюдениям, собрать воедино всё, что удалось пока выяснить относительно загадочных порывов воли.

Мы убедились, во-первых, что воля человека, даже обеспеченного всем необходимым для жизни, гарантированного от всяких опасностей, достигшего исполнения всех желаний, продолжает чего-то смутно желать, к чему-то тянуться, и назвали это свойство томлением духа.

Во-вторых, перебирая все дела, какие делаются под солнцем, все целенаправленные явления нашей воли в поступках, мы вынуждены были признать, что ни одна из целей, будучи достигнутой, не может дать полного и окончательного удовлетворения, что дух находит временное утоление лишь в процессе достижения; достигнув же цели, он вскоре с тоской начинает озираться в поисках новой.

Затем нам стало ясно, что нет такой вещи, которая не могла бы сделаться для воли объектом, целью устремлений, и мы застыли в растерянности перед столь удручающей бессвязностью и многообразием.

Однако, присмотревшись внимательнее к тем устремлениям воли, в процессе которых томящийся дух находит свое временное утоление, мы обнаружили огромную область устремлений в пустоту, то есть таких, в которых целью или объектом служат отнюдь не вещи или предметы из мира явлений. Причем эта область есть не какая-нибудь патология или исключительная особенность нескольких индивидуумов, но всем известная и каждому человеку присущая способность — способность к игре.

Уясняя себе свойства этого странного феномена, закономерности общие всякой игре, мы убедились, что понятие цели можно сохранить и здесь, однако не в обычном, а только в метафизическом смысле. Воля некоего не-Я, подлежащая преодолению, вот что является целью устремлений нашей воли в игре.

Далее обнаружилось, что отнюдь не всякая воля не-Я может сделаться такой целью, но лишь та, относительно которой у нас нет абсолютной уверенности в победе, а есть лишь надежда на нее.

Наконец неперменным условием игры мы признали то, чтобы воля сознавала себя в ней свободною от всякого принуждения.

Так что если б нам было предложено сформулировать теперь в общем виде условия для того частного случая утоления томящегося духа, жаждущей воли, которое обнаруживает себя в игре, мы должны были бы сказать так: там, где наша свободная воля, направляемая лишь непреложными условиями игры, приходит в соприкосновение с волей не-Я, по отношению к которой у нас является надежда на победу, там мы с радостной готовностью, напрягая все физические и духовные силы, устремляемся на преодоление этой чужой воли; и в процессе преодоления наш томящийся дух достигает такой степени удовлетворения, которая, с точки зрения разума, понятий пользы, совершенно несоизмерима с достигнутым результатом.

В этой формулировке частного случая бросается в глаза заманчивая обобщенность — обобщенность, возникающая из-за того, что мы были вынуждены отказаться от понятия цели как предмета, явления, и мыслить ее лишь как вещь в себе, как волю не-Я. Но так как все конкретные цели, к которым устремляется человеческая воля в реальной жизни, являются также объективациями воли не-Я и так как мы нигде не видим, чтобы достигнутая конкретная цель могла бы надолго успокоить наш ненасытный дух, то перед нами с

еще большей остротой и определенностью всплывает тот же вопрос, что и в конце первой главы: не может ли оказаться, что эта частная формулировка, выведенная нами на основании чистого явления воли в игре, будучи незначительно измененной (вместо «условиями игры» «условиями бытия»), оказалась бы справедливой для всех устремлений воли, в которых томящийся дух способен находить утешение? Не направляется ли наше истинное устремление всегда на самом деле непосредственно в сторону воли, минуя видимость ее, предмет, который лишь нашему разуму представляется целью? Не связана ли острота наших желаний, а следовательно, и энергия, с которой мы стремимся удовлетворить их, не с самим предметом-целью, а с неким свойством объективированной в нем воли, свойством, смутно нами угадываемым, но не объяснимым словами, как и всё, что касается вещи в себе?

Но там, где слова беспомощны, можно ли говорить что-то о свойствах?

Мы и так уже позволили себе некоторую фамильярность по отношению к воле, связав с ней расплывчатое и не имеющее еще четкого метафизического смысла понятие — надежда, невероятность. Нет-нет, единственное, что мы можем считать пока установленным относительно воли, это томление, ненасытимость ее и странный феномен утешения ее в игре, закономерности которой, выраженные в определениях метафизики, кажутся нам заманчиво обобщенными. Наблюдая за таинственным незнакомцем в момент, когда все дамы покинули зал, и видя, что он как бы продолжает танцевать соло, мы начинаем склоняться к мысли, что главная цель его приездов на бал не та или иная красавица, но в гораздо большей мере — сама возможность потанцевать. Можно допустить, что ему далеко не безразлично, с кем танцевать и что, и все-таки похоже, что если б пришлось выбирать, он скорее выбрал бы танцы без дам, чем какую бы то ни было даму без танцев, — возможность

явить свою свободу в самоотдаче игре, нежели получить что-то вещественное и полезное без всяких усилий и затрат энергии.

3. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗЛИЧАТЬ ЯВЛЕНИЯ ПО СТЕПЕНИ СВОБОДЫ ОБЪЕКТИВИРОВАННОЙ В НИХ ВОЛИ

Пытаясь связать порывы и стремления нашей воли не с переменчивым миром явлений, а непосредственно с объективированной в них волей не-Я, и желая остаться при этом на почве строгой метафизики, мы неизбежно упираемся в вопрос о свойствах. При метафизическом единстве вещи в себе имеем ли мы право различать явления по какому бы то ни было свойству объективированной в них воли или всякая попытка такого рода будет нарушением законов деятельности представления? Какие такие свойства можно приписать тому, что мыслится вне времени и пространства и не подлежит никакой индивидуализации, ибо оно — не явление? не может быть ни измерено, ни обрисовано словами, ни увязано в сети логики?

Посмотрим, что говорит по этому поводу сам создатель «Мира как воли и представления».

Помимо разделения воли на добрую и злую, от которого мы вынуждены были отказаться, он в других местах вводит еще одну форму разделения, многократно утверждая, что «воля в природе объективируется на разных уровнях». Но на уровнях — чего? На этот вопрос он нигде не отвечает. Просто — на уровнях. Отсутствие ответа здесь, конечно, не случайность — точный ответ был бы очень труден для него, не признававшего за волей свободы. Утверждать, что воля едина, и вводить понятие о каких-то различных уровнях — не нарушение ли это основ собственного учения? Безусловно, нарушение. А между тем оно проходит незаме-

ченным как самим философом, так и его последователями, исследователями и критиками.

Любая несообразность, допущенная серьезным и глубоким умом, всегда заслуживает пристального внимания; чаще всего она знак того, что в данном утверждении он опирался на некое интуитивное знание, достоверность которого казалась ему настолько очевидной, что оно не нуждалось в дальнейшем анализе.

И действительно, когда перед нашим взором предстают одновременно такие объективации воли, как камень, куст, лягушка, человек, кажется само собой разумеющимся, что, кроме тысячи внешних различий, они содержат в себе еще и глубочайшее внутреннее несходство, которое мы пытаемся определить словами: неорганический мир, растительный, животный, духовный.

Однако для метафизики все эти слова ничего не значат, они связаны только с миром явлений. Поэтому Шопенгауэр и заменяет их более общим и безличным выражением «различные уровни», не замечая, что по существу такой прием — лишь уловка. И то, что мы вслед за ним легко удовлетворяемся такой мерой обобщенности, что прочитывая «на разных уровнях», мы не спрашиваем, «на уровнях — чего?», словно здесь опущено некое само собой разумеющееся слово, которое нет смысла повторять, говорит лишь о том, что его интуитивное знание совпадает с нашим; но в чем именно оно состоит — в этом и следует разобраться.

Попробуем еще раз представить себе этот ряд: мертвый предмет, растение, животное, человек. С одной стороны, даже ничего не зная о законах эволюции, мы произвольно перечисляем всегда эти явления именно в такой последовательности. Мы как бы выстраиваем в доступной нашему созерцанию природе иерархическую лестницу; себя непременно ставим наверх — цари природы, венцы творения, относительно же нижних ступеней тоже никогда не усомнимся, кто выше: животное или растение, растение или камень. Но опять-таки

— в чем выше? что́ есть основа подсознательно ощущаемого нами превосходства одного над другим? Попробуйте спросить любого из нас — ответы будут самые невразумительные: по подвижности, по уму, по жизнестойкости, по тому, кто кого ест, по тому, кого больше жалко, по сложности организации, по развитию (простите: развитию — чего?).

Однако затруднения с ответом произойдут вовсе не из-за ограниченности отвечающих, но из-за того, что здесь мы имеем дело со знанием особого рода, содержащимся, очевидно, не в разуме, но в самой воле. И коль скоро весь мир, начиная от безграмотного невежды и кончая крупнейшим мыслителем, сходится в сравнительной оценке различных групп явлений, что эта, например, выше той, а та — этой, но в то же время оказывается бессильным назвать тот признак, который служит здесь эталоном верха или низа, то ясно, что пришла пора назвать этот признак его метафизическим именем, пора произнести это опускавшееся до сих пор слово: свобода.

Воля в природе объективируется на различных уровнях свободы — вот как должно быть изменено шопенгауэровское утверждение. Признав свою волю свободной, человек не может отказать в какой-то доле свободы и всякой другой. Ведь называя себя венцом творения, он не хочет сказать этим ничего другого кроме того, что не видит вокруг себя ни одного явления, которое могло бы сравниться с ним по признаку свободы. Но сравнивать явления по какому-то признаку при помощи слов больше-меньше, выше-ниже можно в том случае, если этот признак допускается в обоих явлениях.

Безусловно, здесь мы отступаем от абсолютной строгости кантовских положений, мы позволяем себе приписать некое свойство (свойство свободы) вещи в себе, воле. Однако без этого нарушения у нас нет никакой возможности покончить с «разъединением двух

источников познания — разума, выражающего законы необходимости, и воли, выражающей сущность свободы». Признавая единство вещи в себе, воли, и признавая свою волю свободною, мы не только вправе, мы скорее должны допустить свободу и в других объективациях воли — да, даже в растении, да, даже в камне — но, конечно, на неизмеримо более низком уровне, чем в человеке.

То, что для нас главным свидетельством о свободе человеческой воли является врожденное представление о добром и злом (бессмысленное без понятия свободы), представление, относимое только к человеку и уже к животному неприменимое, — это мало что меняет. Ведь чувство добра и зла — лишь главное свидетельство. Вполне возможно, что оно не единственное, что его главенствующая роль определяется лишь соотнесённостью с наивысшим уровнем свободы в человеке (этическим?) — наивысшим и потому наиболее заметным. Но как часто мы не находим более точного эпитета, нежели «свободный», «вольный», по отношению к отъявленному разбойнику, утратившему саму способность к раскаянию и все же чем-то смутно восхищающему нас. А что так привлекает нас в литературных злодеях вроде Макбета, Корсара, Печорина?

Но и не только в людях, находящихся за пределами добра и зла, ощущаем мы этот манящий дух свободы — в диком звере, в летящей птице видится нам всё то же упоительно свободное начало, вызывающее в нас смесь восторга, зависти и сочувствия, столь понятное и близкое всем людям, что язык каждого народа, независимо от остальных, создает одни и те же образы, а изящная словесность — одни и те же штампы вроде «вольный орел», «гордый олень» и тому подобное.

Нет, поистине ограничивать понятие свободы только нравственной сферой и отказывать в нем всему остальному могут лишь сухие богословы или изощренные этики. Большинство же нормально чувствующих людей

во все века интуитивно отвергали подобное ограничение; я напоминаю это вовсе не для того, чтобы опереться на мнение большинства, но для того, чтобы показать: вводимая мною гипотеза-аксиома не есть голая выдумка, а лишь перевод на строгий язык понятий смутного, но общечеловеческого чувства, признающего наличие свободы во всем живом. Гипотетичность заключается лишь в расширении этого понятия, в распространении его на все классы явлений, вплоть до мертвой природы. При чем понятие свободы я никоим образом не собираюсь относить к самим явлениям — в них по-прежнему остается полное господство причинности, необходимости. Свобода, как и у Канта, и у Шопенгауэра, целиком относится к вещи в себе, к воле.

Я предлагаю лишь следующее: пусть мы ничего не можем знать о воле, но давайте доверимся нашему внутреннему чувству и предположим, что присущее ей свойство свободы, о котором мы узнаем из собственного самосознания, является различным (и различимым) по степени для воли, объективирующейся в явлениях различного класса. Это отнюдь не значит, что мы когда-либо сможем изобрести точный эталон и подсчитывать степень свободы для воли, объективированной в том или ином явлении, подобно тому, как это делает теория машин и механизмов по отношению к сцеплению шарниров, кулис, кривошипов и прочего. Но, может быть, тысячи явлений и процессов в жизни человеческого общества и природы, до сих пор не поддававшихся объяснению из принципа необходимости, окажутся объяснимыми из принципа свободы — вот та заманчивая цель, которая побуждает меня внимательнейшим образом рассмотреть все следствия, вытекающие из подобного допущения.

4. РАЗЛИЧИМЫЕ УРОВНИ СВОБОДЫ

Итак, мы дали себе право говорить о различных уровнях воли — различных по степени свободы. На какие же основные ступени в соответствии с этим признаком могли бы мы разместить всё бесчисленное множество явлений, предстающих нашему взору?

Схема, начерно намеченная Шопенгауэром, так точно совпадает с общечеловеческими представлениями, что нет никаких оснований отказываться от нее. Принимая подобное разделение, мы договариваемся считать волю, объективирующуюся в явлениях растительного мира, обладающей бóльшей степенью свободы, нежели воля мертвой материи, волю животного мира выше воли растительной и так далее. Ни о какой конкретизации, то есть о вопросе, насколько больше, не может быть и речи. Также вне нашего рассмотрения остается вопрос о сравнительной свободе, присущей явлениям внутри каждого класса; я не вижу пока никакой возможности ответить на вопрос, выше ли по признаку свободы дерево или водоросль, чистый кислород или соединение его с кремнием, комар или рыба.

Наша интуитивная способность различать явления по признаку свободы оказывается здесь беспомощной, она решительно неспособна улавливать такую разницу, так же, как невооруженный глаз на большом удалении не может с точностью определить, какой из предметов ближе к нам, а какой дальше. Поэтому мы ограничиваемся пока этой грубой, но отвечающей внутреннему чувству разбивкой: неживая природа, растение, животное, человек.

К этим четырем классам явлений, однако, я считаю совершенно необходимым добавить еще два — добавление, против которого сам Шопенгауэр бы решительно восстал, но без которого картина мироздания в аспекте метафизики осталась бы такой же неполной, какой она была в его системе.

Главная особенность и отличие этих двух новых классов от остальных та, что человек ощущает объективирующуюся в них волю безусловно превосходящей его собственную по признаку свободы. Мало того: если все прочие явления проходят перед его взором снаружи, то здесь он ощущает себя настолько внутри, что часто отказывается признавать за этими данностями свойства явления, ставить их в один ряд с прочими. Я имею в виду, во-первых, тот класс явлений, который в обиходе именуется государством, племенем, общиной, ордой и за которым я отныне предлагаю мыслить некую волю Мы, превосходящую по признаку свободы волю индивидуального Я; и во-вторых, то, что предстает перед нами под именем Мироздания, Вселенной, Мира, пронизанное столь дивной взаимосвязью и гармонией, что воля, мыслимая за этим смутно угадываемым целым, не может называться иначе, нежели она называлась во все века и у всех народов — Божественной.

Попытки мыслить государственно-племенные сообщества людей как некие самостоятельные существа встречаются довольно часто в философских системах последних трёх веков. Первым на этот путь открыто стал Гоббс; Гегель со свойственной ему последовательностью доводит идею до крайности; скрупулезно и дотошно сплетает аналогии между государственными учреждениями и органами животных Спенсер; Шпенглер также не без изящества рисует истории культур и цивилизаций в виде процессов близких к рождению, бытию и смерти организма. Однако мне и здесь дороже и ближе всех прочих остается та форма, в какую эта идея вылилась у Льва Толстого. Вспомните хотя бы сцену из «Войны и мира» — французы, уходя из Москвы, уводят с собою пленных*:

* Следует упомянуть, что задолго до меня это же место цитирует С. Л. Франк в одной из статей, посвященной философским проблемам власти. — А. М.

«— Капрал, что с больным делать?.. — начал Пьер; но в ту минуту, как он говорил это, он усомнился, тот ли это знакомый его капрал, или другой, неизвестный человек: так не похож был на себя капрал в эту минуту. Кроме того, в ту минуту, как Пьер говорил это, с двух сторон вдруг послышался треск барабанов.

...Вот оно!.. Опять оно! — сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно. Это знал теперь Пьер. Надо было ждать и терпеть. Пьер не подошел больше к больному и не оглянулся на него...»*.

Это оно, эта грозная и чуждая человеку сила, до поры незамечаемая, вдруг вторгается в его жизнь и начинает управлять всеми его поступками. В тот момент, когда это происходит, перестают действовать наши обычные представления о добром и злом. Солдат, идущий убивать и убивающий, не кажется нам преступником именно потому, что мы не ощущаем его свободным — его свободная воля вытеснена и заменена чем-то другим, несравненно более грозным и могущественным, а именно — волей Мы.

Миллионам недалеких людей власть, то-есть воля Мы представляется в виде конкретных начальников, судей, командиров, полицейских — хороших или плохих, злых или добрых; тысячи образованных, видя дальше и глубже, будут осуждать или критиковать правительство и сами законы; однако каким бы резким ни было их осуждение, для того, чтобы открыто восстать и

* «Война и мир», том четвертый, стр. 104. Госиздат художественной литературы, Москва, 1951. — Р е д.

противопоставить себя этой грозной силе, им обязательно нужно будет найти опору в чем-то соизмеримом с ней.

Во всех случаях, когда индивидуум решается открыто и смело выступить против общества, он выступает не от своего имени, а от имени воли, представляющей ему превосходящей волю враждебного ему Мы: революционер — от имени воли другого классово-сословного Мы, религиозный пророк, мученик — от имени Божественной воли, с которой он ощущает себя настолько слитым, что ни страдания, ни смерть не могут поколебать его решимости.

До сих пор воля индивидуума и воля Мы сравнивались нами не столько по признаку свободы, сколько по признаку силы. Но что скрывать — наша интуитивная способность различения свободы еще настолько груба, что этот фактор всегда играет в ней огромную роль. Из двух людей более сильный, одерживающий в чем-то верх над другим, всегда представляется нам в какой-то мере и более свободным. Однако нелепо было бы думать, что воля Мы кажется человеку выше его собственной лишь потому, что общество может заставить его делать тысячу вещей, которые ему делать бы не хотелось, а за любое неповиновение может заточить его в тюрьму, лишить прав и имущества, казнить, наконец. Нет, воля Мы представляется ему неизмеримо более свободной прежде всего потому, что его собственная свобода, его власть над силами природы, все изумительные «я могу», доставляемые цивилизацией, неразрывно и ежесекундно связаны именно с Мы. Общество, подавляя частично его свободу, дарует взамен этого так много, что всякий человек, кажется, готов скорее терпеть любой гнет и принуждение и уж тем более готов послушно убивать и мучить других, нежели решится порвать с ним, ибо это значило бы для него вернуться к полуживотному существованию.

Избавиться от несвободы, накладываемой законом, властью, и подпасть под стократ горшую несвободу голода, мрака, беспомощности, страха, холода, одиночества? Расстаться с чудесами, дарующими твоей воле свободу лететь по воздуху и плыть по воде, слышать и видеть за тысячи километров, знакомиться с мыслями всех мудрецов земли, добывать воду, свет, тепло прямо из стен своего жилища, всё увереннее защищать свое тело от страданий и болезней, завоевывать всё новые пространства на земле и в мироздании? Отказаться от этого? Нет, ни за что.

Думать, будто общество в принципе своем удерживается властью, принуждением, страхом — глубочайшая иллюзия. Даже в самых деспотических государствах каждый человек в глубине существа своего делает свободный выбор между двумя неволями и, как правило, выбирает меньшую; сумма этих свободных выборов свободных волей и обеспечивает в конечном итоге воле Мы ее грозное могущество, служит невидимым фундаментом всякой власти.

Конечно, связывать понятие свободы с государством, которое во все века для каждой свободолубивой души представляется источником самого тяжкого угнетения и как таковое вызывает невольное отвращение, — нелегко. Но ведь и человеческое тело с его грязью, жиром, морщинами, болезнями и вонью может вызывать у нас отвращение, и всё же мы не устаем отстаивать идею чистоты и свободы его духа, его воли. Точно так же и по отношению к воле Мы: безобразное мы видим лишь в конкретных формах ее объективации, в явлении тюрем, судов, чиновников и военных, однако это не должно мешать нам говорить о самой воле Мы как наивысшей на земле по признаку свободы.

Что же касается понятия Божественной воли, то нет нужды так подробно уточнять его значение. Это тот самый Божий закон, который всегда выше человеческого, Царство Божие, вознесенное над царством ке-

саря, премудрость Божия, которой никто не может постигнуть до конца, но все напряженно ищут; в определениях же метафизики это предельно мыслимая свобода, смутное представление о которой является нам как снаружи — из поразительной гармонии и взаимосвязи отдельных частей мироздания, так и изнутри — из постоянного стремления нашей воли к обретению еще большей свободы. Религиозные же и философские искания в человеческой истории — это всегда попытки всё более глубокого осознания Божественной воли, максимального приближения к ней и слияния.

Суть всего сказанного выше можно сформулировать следующим образом.

Каждый человек одарен, кроме органов чувств и познающего разума, составляющих в сумме своей всё, что мы называем способностью представления, неколебимым сознанием свободы своей воли. Мало того — я осмеливаюсь утверждать, что он обладает еще некой неясной интуитивной способностью различать явления, поставляемые ему представлением, по признаку заключенной в них свободы.

Эта интуитивная способность различения, с точки зрения строгого разума, груба и неопределенна, однако оказывается достаточной для того, чтобы произвести хотя и приблизительное, но почти не встречающее ни в ком внутреннего протеста (о возражениях не может быть и речи — ведь это не познание посредством разума), разделение всех явлений на несколько классов, каждый из которых представляется нам выше предыдущего по признаку свободы. Разделение это так же приблизительно, как, например, разделение горного кряжа на отдельные горы (пойди определи точно, где кончается одна гора и начинается другая), но так же, как и там, не вызывающее принципиальных разногласий ни в вопросе о реальности их раздельного существования, ни в вопросе о сравнительной высоте — всегда известно, какая из гор выше.

5. ЧЕЛОВЕК КАК ЯВЛЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ВОЛИ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ СВОБОДЫ

Мы уже дважды оказывались вынужденными отойти от положений шопенгауэровской философии: в вопросе о свободе индивидуальной воли и в вопросе о числе уровней, на которых воля объективируется для нас в мире явлений. Теперь приходится сделать это и в третий раз — в вопросе о том, какую волю следует мыслить объективирующейся в явлении человек.

Шопенгауэр отвечает на это вполне однозначно: всё человеческое тело со всеми его движениями есть явление его воли. Можно ли с этим согласиться?

Во-первых, человеческое тело есть материальная субстанция и как таковая оно подчиняется всем законам, управляющим неживой материей. Оно обладает массой, и для придания ему ускорения необходима такая же сила, как если бы это был обыкновенный чурбан того же веса. Оно проводит электрический ток и обладает электрической ёмкостью; проводит и выделяет тепло. Оно обладает сплошностью, нарушить которую можно лишь посредством затраты энергии. Наконец оно состоит из атомов основных элементов, которые, как бы сложно ни соединялись, всегда остаются в основе своей теми же С, Н, Са, О и так далее к вящему торжеству всех материалистов. Так что отрицать здесь явление воли на уровне неживой природы практически невозможно.

Во-вторых, оно являет нам процессы роста, обмена веществ, поглощения кислорода и выделения углекислоты, то-есть всё то, что свойственно явлениям воли на уровне растений. Нечего и говорить, что воля, сознаваемая нами как наше Я, не принимает никакого участия в этих процессах; она лишь наблюдает с досадой или удовлетворением за тем, как растут у нас мышцы, борода или живот, как увеличиваются размеры покупае-

мых рубашек и ботинок, поистине никогда не будучи в силах «прибавить росту себе хотя на один локоть».

В-третьих, всякий должен согласиться, что за исключением разума наше тело во всем остальном — совершеннейшее животное. Однако животный уровень объективации воли настолько близок нам, что мы часто можем принять основные его вожделения — голод, страх боли, любовное влечение — за порывы воли собственно Я. Лишь полное насыщение этих потребностей, приводящее к томительной скуке, к смутному желанию чего-то еще, или зрелище чьего-то добровольного аскетизма и самоистязания могут навести нас на мысль, что собственно наше Я есть нечто настолько отличное от воли животного, от плоти, что между ними возможен даже полный разрыв и война не на жизнь, а на смерть.

Таким образом, мы видим, что воля нашего Я имеет своим основанием целую пирамиду воль низшего уровня, наподобие циркового эквилибриста, балансирующего на сложной башне из подвижных цилиндров и шаров, каждый из которых обладает (с точки зрения механика) бóльшей степенью свободы, нежели низлежащий. Но как бы ни была велика свобода каждого уровня, она всё же не беспредельна, и нарушение границы свободы на любом из них всегда чревато для нас потерей равновесия и падением — смертью.

Мы уже убедились в том, что человеком эта шаткая пирамида не кончается. Если усложнить наше сравнение и представить себе тысячу эквилибристов, удерживающих над головой легкую, но прочную платформу, то мы получим вполне наглядную, хотя и весьма огрубленную схему возникновения воли Мы; такая площадка хотя и свяжет в некоторой мере свободу всех участников, но зато и даст каждому отдельному возможности, без нее немислимые: удержаться в случае потери равновесия, передохнуть или даже взобраться наверх и махнуть рукой на трудное дело балансирования, то есть борьбы за жизнь. Оставляя же язык наглядности,

нужно сказать, что Мы, наблюдаемое как явление в виде государства, племени, рода, как воля должно мыслиться аналогично воле многоклеточного организма, неизмеримо превосходящей волю отдельной клетки по признаку свободы. Но так как у Мы нет иной возможности объективироваться для нас кроме как в поступках отдельных людей, то вполне правомочным оказывается утверждение: в явлении человек, наряду с неживой, растительной, животной и собственно волей Я, объективируется также и воля Мы.

Наконец само зрелище этой восходящей лестницы свободы, поставляемое нашей воле человеческой способностью представления, то-есть чувствами и разумом, а также томление духа рождает в нас идею о предельно мыслимой свободе, о Божестве, точно так же, как уходящий под облака склон горы рождает представление о чем-то высшем, находящемся вне поля зрения, но безусловно существующем. Именно в этом смысле следует понимать слова о том, что человеку дан разум, чтобы познавать Бога; и это знание, конкретизирующееся для нас в виде смутных представлений о грехе и святости, дает нам все основания утверждать, что в явлении человек, наряду со всеми прочими, наряду с волей Мы, объективируется и Божественная воля — мысль, нашедшая свое наиболее полное выражение две тысячи лет назад в словах: «Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 17. 21).

Таким образом, мы пришли к следующему: все шесть уровней воли, различаемые нами в окружающем мире, обнаруживают себя и в явлении человек; однако внутри нас они существуют не в разрозненности, свойственной явлениям, но в виде некоего гармонического единства — единства, остающегося главным свойством воли как вещи в себе, на какие бы уровни свободы мы условно ни подразделяли ее для нужд нашей познавательной деятельности. То же, что это разделение было необходимым для познания, для того, чтобы метафизич-

зика как наука могла сделать следующий шаг, я постараюсь самым убедительным и наглядным образом показать уже в следующей главе.

Всё сказанное выше о свободе как единственном признаке, по которому нам доступно различать волю, останется досужими спекуляциями чистого разума в безопасной сфере сверхчувственного, где его невозможно ни опровергнуть, ни осмеять, но и где он заведомо обречен на бесплодие, если я не сумею показать в дальнейшем, что на самом деле это была лишь необходимая подготовительная работа, создание того самого дешифрующего ключа, который, будучи приложен к загадочным письмам природы, откроет в них новую, более полную связь и смысл, даст нам возможность прочесть ответы на важнейшие вопросы человеческой жизни и в том числе на вопрос:

6. ЧТО ЕСТЬ СТРАДАНИЕ?

«...Чувства удовольствия и неудовольствия, а также воля... вовсе не познания».

Иммануил Кант

«Они (систематики) умеют говорить о суждении, восприятии, внимании, памяти, но они молчат о том, что кроется в словах: надежда, счастье, отчаяние, преданность, упорство».

Освальд Шпенглер

Да, воля, а также чувства удовольствия и неудовольствия (страдания и блаженства) есть не познание в обычном смысле слова. Но что же они такое с точки зрения метафизики? Шопенгауэр, идя дальше Канта,

отвечает так: наша воля есть вещь в себе в явлении человека, а страдание есть неотъемлемое свойство воли, состояние, неразрывно сопутствующее всякому хотению. Удовольствие же, по его мнению, это либо иллюзия, испытываемая волей, достигшей объекта своего хотения, либо (настоящее блаженство) результат полного самоуничтожения воли, отказа от всех желаний — резигнация, нирвана. Но пресловутая нирвана известна нам только понаслышке, да и то как редчайший случай, как чудо, а радость, блаженство, пусть иллюзорные, пусть в ничтожной доле, знакомы каждому, даже самому обделенному судьбой человеку.

Кроме того, непонятно, почему следует считать именно страдание — реальностью, а обратное состояние, удовольствие — иллюзией? Почему не наоборот? А наслаждение чистого познания, творчества, единственно признававшееся франкфуртским философом, — разве оно сопровождалось в нем самом отказом от воли, как он утверждал? Разве не было оно неразрывно связано с постоянным трудом, с непрерывным напряжением воли, направленным на нелегкое дело — переводить сверхчувственные прозрения гениальной интуиции на доступный всем язык понятий? Увы, мы и здесь вынуждены признать его ответ неполным, противоречащим не только опыту всего человечества, но и его собственному.

«Что есть страдание?» и «чего хочет воля?» — в этих двух вопросах несомненно ощущается какое-то внутреннее взаимное тяготение; поэтому так называемый здравый смысл обычно с готовностью присоединяет один из них к другому в качестве ответа. «Чего хочет воля? Ясно чего: избегать страдания и достигать блаженства».

Действительно, страдание и блаженство как полюса, между которыми протекает всё существование воли, казались бы вполне приемлемым разъяснением, если бы нам опять-таки было известно, что из себя представ-

ляют эти полюса. В действительности же нам известны лишь бесконечные разновидности страдания и еще большее число привлекающих волю наслаждений, причем путаница здесь такова, что сплошь да рядом то, что для одного — мука смертная, для другого может оказаться чуть ли не высшей формой удовольствия. Даже физическая боль и голод, столь доподлинно известные каждому и признаваемые за наихудшие формы страдания, которых следовало бы всячески избегать, для кого-то вдруг оказываются желанными состояниями, причем не обязательно для святых, аскетов и мучеников, поднявшихся на высшие ступени религиозного сознания: известны полудикие народы, чьи обрядовые игры и шествия включают в себя добровольное самоистязание как обязательный элемент.

Что же касается до терзаний нравственных, то здесь уже царит такой хаос и многообразие, что разобраться в них, кажется, нет никакой возможности; кажется, что человечество, устав от ошибок, давно махнуло рукой на этот вопрос и, когда он всплывает с роковой неизбежностью, пытается отделаться от него мудростью народной — «нет худа без добра», «каждому свое», либо пророческой — «всему свое время под солнцем», либо шутливо-поэтической — «что нам дано, то не влечет», либо еще какой.

И перед лицом этой всеобщей, разводящей руками, мудрости, полностью сознавая дерзость всякой новой попытки и испытывая невольно волнение, я все же решаюсь опереться на идею возрастающих уровней свободы и высказать тот обобщающий ответ, к которому приходит наука метафизика:

Всякое испытываемое нами страдание есть всегда знак обнаружения нашей волей границы своей свободы, то-есть осознание несвободы; всякое расширение этой границы неразрывно связано с удовлетворением, радостью, блаженством.

Прежде чем попытаться показать истинность этого

важнейшего постулата на множестве явлений человеческой жизни, до сих пор не имевших удовлетворительного объяснения, следует сделать несколько предварительных разъяснений.

Где бы ни столкнулась наша воля с ограничением своей свободы, внутри ли нашего тела или снаружи, мы немедленно узнаем об этом с достоверностью, превышающей любое знание разума, — через страдание.

Границы же нашей воле может поставить не какой-либо предмет из мира явлений, но лишь другая воля — воля не-Я. Это может быть одна из низших волей, образующих наше собственное тело, и тогда мы ощущаем несвободу как физическую боль. Это может быть воля другого человека, угнетающая нашу собственную, заставляющая нас терзаться унижением, страхом, обидой. Это может быть воля Мы, сковывающая нас снаружи угрозой наказания, позора, осуждения, либо изнутри — нравственным чувством, раскаянием, угрызением совести. Это может быть даже Божественная воля, томящая нас смутным сознанием греховности. Но всегда и везде знак обнаружения самой несвободы остается для нашей воли один и тот же — страдание.

Точно так же и мера несвободы всегда определяется мерой испытываемого страдания, и наоборот — свобода воли ничем не подтверждается так наглядно, как готовностью переносить любые лишения и муки ради достижения того, что данному человеку представляется высшей свободой, будь то его вера, благо общества, безопасность близких или даже на худой конец личная власть, слава, богатство. Примечательно, что наше суждение о ближнем, которому мы предаемся с такой готовностью и которое по сути своей всегда остается суждением об уровне свободы его воли, избирает физические страдания, на которые он способен пойти, как некий эталон, как единую меру, ибо они действительно мало отличаются по степени в разных индивидуумах.

Страдания же нравственные столь несоизмеримы

по уровню, что судить о них дано лишь самому человеку; в этом смысле следует признать абсолютную правоту экзистенциальной этики от Кьеркегора до Кафки, утверждающей, что всякий суд со стороны обречен на несправедность, ибо не может принять в расчет «страха и трепета», сопутствующих поступку. Однако для нас в этом моменте важен не сам суд и оценка его праведности, но тот факт, что и на самых высших уровнях наша воля не имеет иного сигнала для обнаружения несвободы, нежели испытываемое страдание.

Итак, воля нашего Я отнюдь не слепа — ей дарована способность мгновенно и безошибочно узнавать об утрате своей свободы. Чем же тогда должно оказаться чувство столь же непосредственное, но обратное страданию — радость, блаженство? Да ничем иным, как знаком обретения новой, более высокой степени свободы, знаком расширения ее границ.

Наше глубочайшее убеждение в том, что каждый человек всегда стремится к достижению блаженства и прочь от страданий, которое в действительной жизни встречает тысячи опровергающих примеров, будучи сформулированным в терминах метафизики как стремление нашей воли от несвободы к свободе, утрачивает свою ограниченность и противоречивость.

Если мы бросим для начала беглый взор хотя бы на известные нам плотские удовольствия, то убедимся, что, насыщая голод или похоть, согревая замерзшие руки или давая покой усталому телу, мы не делаем ничего иного, как удаляем нашу волю от подступивших слишком близко нижних границ ее свободы, от тех неумолимых воль низших уровней, которые образуют наше тело. Удаляются границы, слабеет сознание э т о й несвободы — мы испытываем удовлетворение. И так как воля низших уровней свободы в нашем теле не имеет других стремлений, кроме поддержания жизнедеятельности организма, так как ей поручен на хранение основной капитал дарованной нам свободы — наша

жизнь, капитал, который воля нашего Я без этой строгой опеки давно бы растранижирила и исчерпала, то мы, как правило, не только смиряемся с такой несвободой, но часто принимаем всякое требование снизу не за приказ, а за голос собственной воли. Как правило — но далеко не всегда.

С теми же нижними границами наша воля может вступать и в иные, гораздо более активные отношения, она может устремляться на преодоление их со страстью и самозабвением, но, конечно, лишь в том случае, если способность представления укажет ей как на возможный результат на обретение более высокого уровня свободы. Узник, роющий подземный ход ногтями, обдирающийся о колючую проволоку, кидающийся в ледяную воду, — простейший пример; свобода, обретаемая им в результате всех мучений, вполне наглядна и понятна каждому. Раненый солдат, добровольно оставшийся в строю, — случай более сложный, ибо он видит как результат своего героизма более расплывчатую свободу Мы. Удовлетворение, испытываемое отшельником, мучившим себя сорокадневным постом и выдержавшим это испытание, вообще невозможно понять без представления о наивысшей свободе Божественной воли, к которой он стремился приобщиться столь суровым способом.

Но если мы покинем поля сражений воли нашего Я с волей низших уровней свободы собственного тела и взглянем на то, что доставляет нам радость и восторг в столкновениях с любой волей не-Я в окружающем нас мире; если, не задерживаясь на всеми признанных и одобренных радостях творчества, любви, труда, борьбы со стихиями, мы присмотримся повнимательнее к удовольствиям более низменным, продолжающим радовать нас, несмотря на всеобщее осуждение и моральные запреты; если представим себе хищную радость стяжателя, пустившего по миру очередную жертву, торжество захватчика, врывающегося в дымящийся город, ух-

мылку профессионального соблазнителя, разглядывающего себя в зеркало наутро; если опустимся еще ниже и вспомним все истории немотивированных злодеяний, бессмысленных хулиганств, садистских выходов; если затем покинем сферы как добра, так и зла и снова вернемся к необъяснимым наслаждениям игры, еще раз опешим при виде счастливого выражения лица рыбака, сжимающего в руке крохотную рыбешку, спортсмена, обогнавшего соперника, сбившего жёлудь мальчишки; если, наконец, спросив всех этих людей одного за другим о характере чувства, испытываемого ими в результате всех этих столь различных дел, мы обнаружим, что все они будут отвечать одними и теми же словами (ибо в человеческом языке и нет других слов для этого) — удовольствие, радость, блаженство; если также убедимся, что острота испытываемого ими чувства вовсе не зависит от понятий пользы или понятий добра и зла, а скорее от каких-то, на первый взгляд, случайных обстоятельств и условий; то перед лицом этого хаоса мы неизбежно должны будем как за единственную надежду ухватиться за ту путеводную нить, которую дает нам метафизика, разъясняющая внутреннее единство этих загадочных обстоятельств и условий.

Мы должны будем, заглушив голос нравственного суждения, твердящий нам о пропасти, отделяющий стремления воина и разбойника, математика и торговца, влюбленного и развратника, труженика и бездельника, признать, что в глубине своего существа это всё то же главное, единое, неистребимое и основное влечение воли нашего Я — осуществить свою свободу в мире явлений. Не только главным и единственным следует признать это стремление, но попросту сущностью воли нашего Я.

Наиболее же наглядно оно предстает перед нами в связи с теми формами страдания, которые именуются скукой, тоской, томлением духа, и в связи с теми видами радости, которые даются игрой. Когда воля нашего

Я не видит вокруг себя объектов, на которых она могла бы явить свою свободу, то такая невозможность ощущается нами иногда как самая горшая несвобода, как пустота, как пропасть вопроса «а дальше что?»

И если посреди этой тоски что-то поманит нас, если мелькнет в окружающем нас мире некая надежда, то можно быть уверенным, что это всегда будет не что иное, как новая возможность осуществления свободы нашей воли — тогда мы рванемся к ней с такой силой и страстью, что ни запреты морали, ни боль и лишения, ни угроза смерти не смогут удержать нас. Поэтому то, что было высказано мною в конце первой главы как предположение, на этом этапе рассуждения должно быть сформулировано в виде абсолютной аксиомы:

Наша воля хочет всегда только одного — осуществления своей свободы.

Как в сгущающейся туче неумолимо накапливается электрический заряд, так и в каждой душе, лишенной исхода, нарастает день ото дня невидимая энергия свободы. И как мы, хотя и не зная, в каком именно месте вырвется из тучи молния, всё же уверены, что это произойдет там, где напряжение превысит сопротивление воздуха, точно так же и по отношению к человеку мы должны быть уверены, что всякий его порыв окажется всегда результатом устремления его воли в сторону большей свободы. Никакой уровень свободы не может стать для него окончательным. Даже достигнув того, что казалось ему прежде невероятным, невозможным счастьем, он рано или поздно начинает тосковать и томиться неизвестно о чем, ибо наша воля может ощущать себя по-настоящему свободной лишь в процессе осуществления свободы, в движении к ней. Любая же остановка на этом пути или даже замедление ощущаются как несвобода, как страдание, могущее дойти со временем до такой остроты, что сама смерть начинает казаться избавительницей, — такова природа всех «немотивированных» самоубийств.

Библиография

ЧЕВЕНГУР

Осенью 1972 года в издательстве YMCA-PRESS наконец вышел в свет долгожданный роман Андрея Платонова «Чевенгур».

Это произведение было написано Платоновым в конце двадцатых годов, в то время, когда были написаны «Государственный житель» и «Усумнившийся Макар». В 1928 году писателю удалось опубликовать одну главу из романа, в 1929 — его первую часть (под заглавием «Происхождение мастера»). Остальному пришлось пролежать более сорока лет...

Вряд ли имеет смысл подробно передавать содержание «Чевенгура»: в этом романе, как и во всех произведениях Платонова, суть нельзя даже приблизительно передать пересказом. В двух словах: мы в эпоху нэпа следим за деятельностью и мыслями людей, еще охваченных духом предыдущей эпохи — революции и гражданской войны, людей, не желающих или не могущих приспособиться к новым порядкам, расстаться с доспехами воина-революционера (один из героев в буквальном смысле одет в доспехи!). Три основных героя — Копёнкин, истребитель «белогвардейцев» и «бандитов», бороздящий степь на исполинском коне по кличке «Пролетарская Сила», Чепурный, мечтающий водворить «коммунизм», основанный на жалости человека к человеку путем беспощадного истребления всех инакомыслящих, и Дванов, партиец-«интеллигент», искренно ищущий путей, по которым можно будет достичь счастья своего народа. Большая часть действия происходит в городе Чевенгуре, затерянном в степях Воронежской губернии, куда съехались все герои...

После этого необходимого, но не особенно нужного для раскрытия замыслов писателя вступления перейдем к знакомству с последними...

А н д р е й П л а т о н о в. Чевенгур. (Предисловие Михаила Геллера). YMCA-PRESS. Paris 1972.

«Сходя с лодки, отец гладил мелкую воду, брал за верх траву, без вреда для нее, обнимал мальчика и смотрел на ближний мир, как на своего друга и сподвижника в борьбе со своим, невидимым никому, единственным врагом.

— Зачем ты плачешь, шкалик? — сказал отец. — Твоя палка разрослась деревом, и теперь — вон какая, разве ты ее вытацишь!..

— А как же я пойду в Чевенгур? — спросил мальчик. — Там* мне будет скучно.

Отец сел в траву и молча посмотрел на тот берег озера. В этот раз он не обнимал сына.

— Не скучай, — сказал отец. — И мне тут, мальчик, скучно лежать. Делай что-нибудь в Чевенгуре: зачем же мы будем мертвыми лежать...» (стр. 196—197).

Эта встреча во сне Александра Дванова с его умершим отцом, утопившим себя, чтобы узнать «тайну смерти», в значительной степени ключ к пониманию всего произведения. Она вплотную вводит нас в полуреалистическую, полусказочную атмосферу «Чевенгура» и ставит основной вопрос романа: зачем людям лежать мертвыми?

Город Чевенгур — сказочное заколдованное место, призрачная мечта призрачных обитателей, героев жестокой сказки для взрослых людей, но для тех взрослых людей, которые не чувствуют себя взрослыми и хотят еще вырасти.

Но город Чевенгур — это также жуткая действительность классовой ненависти, расстрелов, голода.

В Чевенгуре построен «коммунизм». Он, правда, совсем не соответствует тому, что под коммунизмом подразумевал Маркс, но для его жителей это не имеет никакого значения. Основной чертой чевенгуровского «коммунизма» является уничтожение всего того, что мешает людям «иметь друг друга»:

«...Чепурный почувствовал, что взамен степи, домов, пищи и одежды, которые приобрели для себя буржуи, пролетарии на кургане имели друг друга, потому что каждому человеку

* В подлиннике «так», а не «там»: предполагаю, что это опечатка. — Д. Р.

надо что-нибудь иметь; когда между людьми находится имущество, то они спокойно тратят силу на заботу о том имуществе, а когда между людьми ничего нет, то они начинают не расставаться и хранить один другого от холода во сне» (стр. 238).

Тут речь идет не о распределении богатств между членами общества, а об уничтожении богатств, чтоб у каждого члена общества ничего не было...

Чтоб построить чевенгуровский «коммунизм», Чепурный, главный его зачинщик, не обдумывает реформу теоретически, не руководится законами экономики или идеями «основоположников», — он о коммунизме не *думает*, а его *чувствует*, и тем самым уничтожает все возможные помехи, возникающие на почве «ума», объективности:

«Чепурный положил голову на руки и стал не думать, чтобы скорее прошло ночное время. И время прошло скоро, потому что время это ум, а не чувство, и потому что Чепурный ничего не думал в уме» (стр. 236).

Всё, что от «ума» — время, заботы о рациональном добывании пищи, потребность одежды — уничтожено, ибо всё это мешает людям быть вместе, «жалеть друг друга». Чевенгурцы отбросили всё, что мешает жалости (и, в частности, уничтожили людей, которых не могли жалеть, а ненавидели), и положили это чувство в основу своих общественных отношений:

«Других постоянно жалко, — обращался к своему вниманию Яков Титыч, — взглянешь на грустное тело человека, и жалко его — он замучается, умрет и с ним скоро расстанешься; а себя никогда не жалко, только вспомнишь, как умрешь и над тобой заплачут, то жалко будет плачущих оставлять» (стр. 260—261).

В этой жалости залог надежды умершего отца Дванова, из-за нее он посылает сына в Чевенгур: жалость к человеку остается, когда кончается его жизнь, над ней не властна его смерть...

Но отбросив «умственное», люди Чевенгура не только нашли средство победить смерть в настоящем, они также отбросили мнимые законы истории, преодолели ту «историчность» жизни,

которая не считается ни с природой, ни с телом, ни с чувством человека в прошлом и в будущем:

«— История грустна, — удивился Чепурный. — Как я сам не заметил! Поэтому вечером и птицы не поют — одни сверчки: какая же у них песня! Вот у нас тоже — постоянно сверчки поют, а птиц мало, — это у нас история кончилась!» (стр. 280—281).

Победа над историей, уничтожение времени — единственное средство для преодоления разрыва между живыми и мертвыми, преодоление той «безотцовщины», которая угнетает всех пришедших в Чевенгур и на которой так настаивает Платонов.

Борьба со временем, поиски средств его преодоления — одна из основных тем творчества Платонова. Он, разумеется, не единственный писатель, который посвятил себя ей: достаточно вспомнить Джойса или Пруста, но, в отличие от большинства прочих писателей, Платонов старается достичь своей цели не путем углубления человека в самого себя, не поисками средств преодоления времени в самом себе, а путем вовлечения человека в предельные *ситуации*. Хотя эпоха революции и гражданской войны ему предоставляла богатый выбор таких ситуаций, ему всё же часто надо было прибегать к созданию нереальных, «сказочных» обстоятельств, чтоб лучше дать почувствовать читателю поединок героев со «смертностью» жизни, чтоб раскрыть их стремление душевно и телесно соединиться с живым или умершим отцом; если же отца нет, найти его в другом человеке, создать общество, преодолевшее «безотцовщину».

Самый верный «друг и сподвижник» человека в борьбе с «невидимым никому, единственным врагом» — смертью это природа, «ближний мир», как ее изумительно называет Платонов. Но «ближний мир» — друг человека постольку, поскольку он его «жалеет», не насилует «клубами» или котлованами...

«На краю города открылась мощная глубокая степь. Густой жизненный воздух успокоительно питал затихшие вечерние травы, и лишь в потухающей дали ехал на телеге какой-то беспокойный человек, и пылил в пустоте горизонта. Солнце еще не зашло, но его можно теперь разглядывать глазами — неу-

БИБЛИОГРАФИЯ

томимый круглый жар его красной силы должен хватить на вечный коммунизм и на полное прекращение междоусобной суеты людей, которая означает смертную необходимость есть, тогда как целое небесное светило, помимо людей, работает над решением пищи. Надо отступиться одному от другого, чтобы заполнить это междоусобное место, освещенное солнцем, вещью дружбы...

От последних плетней Чевенгура начинался бурьян, сплошной гущей уходивший в залежи неземлеустроенной степи; ногам японца (Чепурного — Д. Р.) было уютно в теплоте пыльных лопухов, по-братски росших среди прочих самовольных трав. Бурьян обложил весь Чевенгур тесной защитой от притаившихся пространств, в которых японец чувствовал залегшее бесчеловечие. Если бы не бурьян, не братские терпеливые травы, похожие на несчастных людей, степь была бы неприемлемой; но ветер несет по бурьяну семя его размножения, а человек с давлением в сердце идет по траве к коммунизму...

Японец пощупал лопух — он тоже хочет коммунизма: весь бурьян есть дружба живущих растений. Зато цветы и палисадники, и еще клумбочки, те — явно сволочная рассада, их надо не забыть выкосить и затоптать навеки в Чевенгуре: пусть на улицах растет отпущенная трава, которая, наравне с пролетариатом, терпит и жару жизни, и смерть снегов» (стр. 201—202).

Но, несмотря на установление подлинно человеческих отношений, на помощь природы, создать Чевенгур чевенгурцам не удастся: весь безысходный трагизм героев Платонова заключается в том, что для достижения своей цели — уничтожения времени и истории, — они вынуждены использовать именно те средства, которые им навязывает история — истребление классового врага, предельная жестокость к врагам и посторонним... И мы почти готовы радоваться удаче карательной экспедиции на Чевенгур, истреблению жестоких мечтателей и уничтожению опасного эксперимента, забывая основное: на какое-то время (вернее было бы сказать: на какое-то отсутствие времени) эксперимент этот удался, в течение какого-то времени

человек обладал средством победить смерть, жил в сказочном царстве.

И тут приходит в голову странная, дикая мысль, которую трудно и очень «неуютно» принять: не случайно «чевенгуровская сказка» начинается и кончается тем же морем крови, той же еле выносимой жестокостью, ибо выход человека из времени в вечность — смерть, смерть человека, но, как это исповедует Церковь, возвращение вечности к человеку, преодоление смертной жизни — также смерть, смерть вечного Бога на кресте.

Д. Руднев

«ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»

Н. Ульянов назвал свою книгу «Под каменным небом». Он мог бы с таким же успехом назвать ее «Под гробовой крышкой», так страшна та действительность, которую он описывает.

Первый рассказ сборника насквозь символичен, хотя факты, приведенные в нем, — повседневное явление нашей жизни. Героя повести, гениального изобретателя, похищают какие-то темные личности (если не большевики, то, во всяком случае, люди весьма с ними схожие) с целью использовать его талант для изобретения машины, которая должна произвести важную трансформацию человеческой природы, в результате чего те, кто завладеет машиной, будут иметь власть мирового масштаба. Трагедия молодого ученого не только в том, что он в плену у безжалостных тюремщиков, убаюкивающих его ложными обещаниями, самое мучительное в его заключении это — обстановка, его окружающая, а также полная неизвестность того, что его ожидает. Всё вокруг него напоминает какое-то неестественное видение, болезненный кошмар. Даже небо над его головой — не настоящее, а каменное, сооруженное руками человеческими,

Н. У л ь я н о в. Под каменным небом. Изд-во Киннипиак, 1970.

как и декоративная растительность под его окном. Во всяком человеке, обреченном на пожизненное заключение, живет тайная надежда быть выпущенным до срока, надежда насладиться вновь зеленью и солнцем. Герой Ульянова постепенно теряет эту надежду, отдаваться же творчеству в этой обстановке он не может.

Уже Бодлер в «Цветях Зла» предвидел эту тяжесть гробовой крышки над головой человечества, безвыходность современного нам ада. Недаром Ульянов взял эпитафией строки Бодлера: «ужасна глубина, сокрытая в вещах... кошмары Божий перст рисует мне впотьмах».

В других повестях сборника описаны сложные переживания не только жертв террора, но и палачей, душевные комплексы, типичные для нашего мучительного времени, садистов, «в убийстве находящие приятность» и от сознания власти, и возможности издеваться над беззащитным врагом; здесь ненависть граничит с любовью и жалостью, со сладострастьем самобичевания.

В рассказах Ульянова страдают не только люди, но и звери, а эти последние страдают прежде всего от жестокости человека. Симпатии автора всецело на стороне бессловесных тварей, в представлении лицемерных людей «лишенных бессмертной души». Лучшие его повести посвящены животным, в них автор намекает, насколько смерть дикого зверя или быка благороднее смерти многих людей. С каким достоинством умирает бык на арене корриды в рассказе «Сеньор Торо»! Он вызывает восхищение жестокой толпы, пришедшей испытать сильные ощущения. «В цирке существует своя религия, в которой бык — божество, говорит Ульянов, я это чувствовал по голосу Дамасо (эспада), когда он, приближаясь к быку, почтительно называл его 'Сеньор Торо'».

Мне кажется, что Н. Ульянов — один из редких современных писателей, глубоко почувствовавших всю бессмыслицу и несправедливость пролития крови, будь то человека или животного. Он с убедительной силой высказывает эту мысль: «Чью бы кровь ни проливали — уничтожение живой материи и превращение ее в мертвую всегда будет величайшим грехом на земле.

И всегда это будет ударом, высекающим искру из самого кремневого сердца...» «В православном отпевании — самом волнующем произведении мировой литературы — сказано, что душа, разлучающаяся с телом, совершает подвиг. Нет большего испытания, чем стоять лицом к лицу с бездонной пропастью, не видя ниоткуда помощи... все велики в этот миг и все достойны преклонения». И он добавляет: «Чем неумейней, чем ярче жизнь, тем сильнее содрогается сердце, когда 'единым мгновением и все сия смерть приемлет'...».

В другой повести — «Последний» — рассказана вся история «лосиноного народа». История эта поистине трагична. Пока люди пользовались примитивным оружием, они не были опасны для этих царственных животных «с ветвистыми рогами», которые, созерцая свои «священные изображения, выцарапанные кремневым ножом по красному песчанику ... знали, что они боги». Потом, когда крестьяне начали на них охотиться, появились культурные люди, сознававшие варварство такого массового истребления. Они добились «строгих указов, грозивших судом и карами». Но в 1917 году началась революция. Лось был объявлен «классовым врагом». «Долой лосей! Выше знамя социалистической революции!» — провозгласили новые «сознательные граждане»... Хотя и сам Луначарский вступился за лосей, всё же началось беспощадное их уничтожение. Последний лось, самый прекрасный и гордый, погиб от выстрела «лодыря и самогонщика». Автор называет его убийцей...

Описания природы у Ульянова восхитительны. «Он (последний лось) понял, что остался единственным наследником лосиноного царства и скоро умрет от руки существа, обутого в грязные опорки, осквернявшего снег желтыми плевками и махорочными окурками». «Лось начал обход своих владений, чтобы навек запомнить и запечатлеть. Он верил, что запах пронизываемого солнцем ноздреватого снега, вкус готовых пробудиться древесных почек, рисунок ветвей на синем вымытом небе и перспектива лесной чащи — никогда не умрут. В яркий солнечный день ветер пустил шумную молву по верхушкам о том, что последний лось идет поклониться красному выступу скалы над незамерзающим омутом речки. Как при проезде царственной особы,

на него посмотреть слетелась шумная стая сорок, синиц, соек... грянул выстрел... сквозь сетку смертной сени, как сквозь сплетение ветвей, мелькнули — берег реки, черная прогалина омота с крутящимися воронками... высокая стена песчаника на той стороне и торжественные силуэты предков... Стекавшая по ногам кровь уносила его в вересковые поляны вечности, к бессмертным осинам, к белоногим богам...»

Картина смерти последнего лося — целая поэма, и в самой гибели этой есть «печальное величие» — «уход из мира того, чего никогда больше не будет»...

Поэзия этой книги трогает своей правдивостью, рождает в сердце «чувства добрые», без которых не может существовать никакое подлинное искусство.

О. Можайская

«ВОСПОМИНАНИЯ» Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Только в 1972 году вышла во французском переводе первая книга «Воспоминаний» Надежды Мандельштам под заглавием «Contre tout espoir». Французская публика с нетерпением ожидала появления этой книги, так как она уже давно была известна на Западе и даже успела получить несколько литературных призов (Европейская премия прессы при Международном Фестивале Книг, Международная премия воспоминаний в Лондоне). Петр Равич в газете „Le Monde“ с полным основанием удивляется двухлетнему запаздыванию французского издания.

Перевод сделан Майей Минущиной и очень удачен. Надежда Мандельштам проявила в своей книге настоящий талант писателя, и переводчица сумела передать во французском тексте все литературные качества автора. Не чувствуется, что это перевод, текст читается свободно и легко, и в то же время в нем в точности передано всё то, что Надежда Ман-

дельштам сказала прямо или даже между строк; соблюдены также четкость и сдержанность стиля, верно воспроизведена тонкость анализа Надежды Мандельштам, ее пронизательность и иногда язвительность в суждениях, трезвость в оценке событий, ощущение безнадежности и, вместе с тем, ее особый юмор, переплетающийся с ужасом окружающей ее действительности и вызывающий у читателя тягостное ощущение.

Интерес французской публики к «Воспоминаниям» Надежды Мандельштам возник не только потому, что они пользовались огромным успехом на Западе, но и в связи с тем фактом, что почти одновременно Франция познакомилась с творчеством самого Мандельштама. До этого переводов было очень мало, и только в последние годы Мандельштам был «открыт». Вышли два сборника на французском языке: „La rage littéraire“ (Gallimard), „Le Bruit du temps“ (l'Age d'Homme) и книга „Jean Blot“ (Seghers), посвященная Мандельштаму. Судя по многочисленным статьям и отзывам во французской прессе (например, „Le Monde“ от 31.3.72, „L'Express“ от 10.4.72, „Le Figaro“ от 1.4.72), это действительно было открытием почти неизвестного еще на Западе поэта.

Книга Надежды Мандельштам оказалась своевременной помощью читателям в понимании поэта и человека О. Мандельштама. Но в книге было еще и другое, что вызвало колоссальный интерес публики: это свидетельство человека о политической и общественной обстановке, о своем личном испытании русского человека в конце тридцатых годов, о столкновении человека (с его индивидуализмом) с коллективным безличным аппаратом государственной власти, об отчаянной попытке человека не поддаваться гнету тоталитаризма. Петр Равич в „Le Monde“ без колебаний ставит Надежду Мандельштам наряду с Солженицыным, что касается точности, трезвости и честности ее свидетельства о России тридцатых годов, и пишет, что «это одна из важнейших книг XX века о XX веке».

С. Подгорная

СОВЕТСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

«Основные вопросы советской внешней политики» — так назван сборник, составленный Борисом Мейснером и Готхольдом Роде. Правда, содержание статей сборника не вполне соответствует его названию: оно охватывает не только проблемы внешней политики Советского Союза, но и внешней политики Российской империи, причем в некоторых статьях эти два объекта исследования разграничиваются отнюдь не достаточно.

Всего в сборнике пять статей: «Движущие силы и факторы советской внешней политики» Б. Мейснера; «Русская политика по отношению к Польше от Петра Великого до Хрущева. Константы и варианты» Г. Роде; «Традиционность и изменения в русской политике по отношению к Германии с 1815 до 1949 гг.» Г. Веттинга; «Китайская политика России и Советского Союза» Х. Брама и «Новые тенденции в развитии военных доктрин Советского Союза и Народной Республики Китая» Х. Дама.

Что касается содержания сборника, то его следовало бы расширить, дополнив статьей, посвященной отношениям Советского Союза и США как одной из самых существенных проблем международной политики СССР. Эта тема помогла бы продемонстрировать резкое различие между понятиями российской и советской внешней политики. Книга снабжена обширной библиографией. В большинстве статей использовано значительное число источников на русском и — в одном случае (статья проф. Г. Роде) — на польском языке.

Статья Х. Дама интересна прежде всего для специалистов в области военного дела. Отметим в ней лишь последнюю часть, в которой разбирается политическое значение превращения КНР в атомную державу и возможное влияние этого факта на равновесие атомных сил СССР и США; при этом следует подчеркнуть, что развитие «мини»-водородных бомб особенно снижает степень тройственного атомного равновесия.

Boris Meissner und Gotthold Rhode. Grundfragen sowjetischer Außenpolitik. Reihe Kohlhammer, 1970. SS. 176. Verlag Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz.

В статье Б. Мейснера есть некоторое расхождение между названием и содержанием. По сути статья в большей мере посвящена истории «русской царской» внешней политики и сопоставлению ее с советской, чем «движущим силам и факторам советской внешней политики». Основной политический просчет автора состоит в том, что сравнение внешней российской политики и советской производится им не на фоне исторической обстановки соответствующего периода, а как бы в историческом вакууме. Автор отмечает и расхождения, но, как правило, они носят второстепенный характер.

Естественно, что ряд факторов (территория, климат, население) более или менее совпадает. Разумеется, сходные факторы придают формально некоторую общность внешней политике СССР и России (пограничные конфликты могут быть только с теми странами, с которыми фактически имеются общие границы и т. д.). Но односторонность подхода к рассматриваемым проблемам несомненна. Так, например, говоря о росте территории Российского государства со времен Ивана III вплоть до конца XIX века (в цифрах — с 840 000 до 21,5 мил. кв. км.), автор делает неправомерные выводы об историческом стремлении России к экспансии и о наследовании тех же стремлений Сталиным и его преемниками. Но автору не следовало бы забывать, что рассматриваемый им период хронологически совпадает с периодом, начавшимся великими географическими открытиями вплоть до зарождения и расцвета колониальных империй, в пространственном отношении даже превзошедших Российское государство. То же можно сказать и относительно количества войн, ведшихся теми или иными западноевропейскими державами, если не исключать все колониальные войны, умирения и т. д. Но даже если войны России в XVIII-XIX вв., подобно войнам всех европейских государств и США, были войнами экспансионистско-империалистическими, то всё же, в отличие от остальных, это были войны с противником, который в предшествующий период господствовал в восточноевропейском и западноазиатском «жизненном пространстве» и — периодически над государством Российским. Кроме того, сравнивая колониализм западноевропейский с российским, надо отметить,

например, что английских или немецких женщин и детей никогда не продавали на невольничьих рынках, а русские (и вообще восточнославянские) столетиями попадали на такие рынки. И слёзы Марии в пушкинском «Бахчисарайском фонтане» — не поэтическая выдумка, фантазия. Мы говорим это не для разжигания национальной вражды и сведения старых счетов. Мы лишь иллюстрируем мысль, что нельзя объективно и обоснованно анализировать внешнюю политику тех или иных государств без освещения конкретной исторической обстановки. Так, СССР проводит свою экспансионистскую политику в период, когда малые нации, этнографически однородные части бывших империй, повсюду успешно добиваются права на самоопределение.

В конце первой главы упоминается, между прочим, о прекращении экспансии России в отношении США и об «отказе» от Аляски. Но именно этот факт как нельзя ярко характеризует различие внешнеполитических устремлений до и после захвата власти большевиками. В самом деле, разве такой отказ был бы возможен со стороны возглавителей коммунистической диктатуры, если бы к моменту захвата и укрепления их власти Аляска всё ещё принадлежала бы России. Думаю, каждый ответит: нет!

Глава II посвящена движущим силам советской внешней политики, а глава III — ее мировому аспекту. Автор говорит о националистическом и тоталитарном моментах в качестве движущих сил советской внешней политики, причем отвергает версию о миротворческой политике Сталина перед его смертью. В заключение своей статьи В. Мейснер пишет:

«Вследствие постоянного колебания между политикой блоков и мирного сосуществования непрерывно будут создаваться очаги нового напряжения. Если советское партийное и государственное руководство не примет решения устранить подлинные причины этой напряженности, прежде всего, разделение Германии, то о реальной политике смягчения напряженности при этом не может быть и речи. Пока тоталитарный элемент преобладает в советской внешней политике, советским вождям будет весьма трудно понять, что указанное самоограничение лежит в правильно понимаемых национальных интересах России.

Такое понимание может быть достигнуто только в результате процесса обновления и постепенного ослабления тоталитаризма. А это явилось бы существенным вкладом в дело отказа СССР от империалистической политики».

Хотя Б. Мейснер совершенно правильно указывает на значение тоталитарной сущности партийного и государственного руководства СССР в создании международной напряженности, по-видимому, он совершенно не осознает того, что разделение Германии — не одна из причин напряженности, а ее следствие и что национальные интересы России для советских правителей не имеют никакой цены. Он не понимает, что если России удастся избавиться от советского тоталитаризма, то мир будет иметь дело уже не с коммунистической диктатурой, а с национальным государством нормального типа, причем не столь существенно, будет ли оно называться Россией или иначе.

Укажем на принципиальное различие во внешней политике национальных государств, в том числе дореволюционной России, и тоталитарных диктатур, в том числе диктатуры КПСС.

Демократические национальные государства в принципе стремятся к обеспечению безопасности и стабилизации внешних границ при обеспечении максимального благоденствия своих граждан, что не исключает иногда ошибочных оценок и действий. Однопартийная же тоталитарная диктатура в принципе стремится к неограниченному расширению своих границ вовне и неограниченному, без учета интересов населения, укреплению диктатуры внутри.

Остальные три статьи сборника, посвященные отношениям нашей страны с Польшей, Германией и Китаем, производят более благоприятное впечатление. Они дают им более правильную и объективную оценку, хотя в первых двух статьях (так же, как это сделано и в последней, касающейся Китая) следовало бы уже в заглавии уточнить, что речь идет о двух различных периодах внешней политики, а именно: до- и пореволюционной.

В статье Г. Роде об отношениях России и Польши желательно было бы подробнее рассмотреть более ранний период — царствование Ивана III и Ивана IV, так как именно в это вре-

мя произошли события, отразившиеся в дальнейшем на российско-польских отношениях и определившие их своеобразие. Иначе говоря, надо было бы осветить тот период, когда наиболее ярко проявился характер польского государства, определенный в недавно вышедшей книге польского писателя Витольда Вирпиши «Поляк, кто же ты?» словами: «Польша тоже была империей».

Далее следовало бы отметить, что так называемые восточнопольские районы, отошедшие к Советскому Союзу, без основания именуются западноукраинскими, и поэтому дальнейшее решение внешнеполитических отношений в этом районе является проблемой не двухсторонней, но трехсторонней: польско-русско-украинской. Наконец, мы бы не рассматривали в одной плоскости переговоры о польско-чешской федерации и Варшавский договор между Пилсудским и Петлюрой. Если первые, в случае успеха, имели бы большое историческое значение как пример содружества двух близких народов, то договор Пилсудский — Петлюра носил чисто военный конъюнктурный характер. Петлюре требовалось официальное признание и хотя бы формальное обещание помощи, а Пилсудский использовал положение и закрепил подписью Петлюры превращение Западной Украины в Восточную Польшу. Когда Петлюра стал ему не нужен, петлюровские воинские части, оказавшиеся на польской территории, были, без особых оглядок на договор, интернированы.

Статья Г. Веттинга, как нам кажется, страдает некоторой односторонностью. Излагая историю вопроса только как историю российско-германских отношений, автор создает у читателя неверное впечатление, будто Германия играла в ней пассивную роль. Между тем, например, в том, что касается решений Венского Конгресса, инициатива принадлежала скорее австро-германской стороне.

Что касается статьи Х. Брама, следует остановиться на его трактовке «неравноправных договоров». Хотя автор и пользуется этим термином, ставя его в кавычки и тем самым подчеркивая его условный характер, он всё же употребляет этот термин только при характеристике пограничных договоров России с

Китаем. Однако совершенно очевидно, что при установлении новых государственных границ (или в результате столкновения колониальных держав в районах их экспансии) любой договор является «неравноправным». Та или другая сторона имеет во время переговоров какие-либо преимущества и их, насколько возможно, использует. В этом смысле неравноправными следовало бы назвать, к примеру, такие договоры, как договор между США и Мексикой, поведший к отторжению Соединенными Штатами ряда принадлежавших последней территорий; договор, последовавший за столкновением англо-саксов с французами в Северной Америке; договор Пруссии с Австрией (относительно Силезии) и с Данией (относительно Шлезвиг-Гольштейна); наконец, Версальский договор и многие другие. Но в таком случае вообще ничего не остается от международных договоров, регулирующих границы и территориальные отношения государств. Поэтому такие договоры нельзя квалифицировать как неравноправные, что совершенно справедливо и в отношении договоров, касающихся территориальных вопросов и пограничных конфликтов между Россией и Китаем. Собственно, неравноправным договором можно назвать лишь такой, который либо дает одной стороне возможность вмешательства во внутренние дела другой, либо предоставляет особые права и привилегии гражданам одной страны на территории другой, урезывая тем самым ее суверенитет. В этом смысле несомненно неравноправными договорами были все договоры западноевропейских держав с Китаем после Опиумных войн в середине прошлого века — они давали права на так называемые сеттлменты, изымавшие граждан этих стран из-под китайской юрисдикции и т. п. Попутно отметим, что к этой категории бесспорно относятся и советско-чехословацкие отношения после августа 1968 года. К сожалению, и Россия в конце прошлого века присоединилась к этой антикитайской политике, что и привело, в частности, к ее участию в совместном подавлении так называемого Боксерского восстания 1901 года. Первым формально неравноправным договором между Китаем и Россией был, несомненно, Нерчинский договор; однако он был неравноправным не в отношении Китая, а в отношении России: эта

независимая и суверенная страна квалифицировалась в договоре как «вассал», что было лишь формальной уступкой китайскому дипломатическому протоколу. Добавим, что при этом послы российские не были приняты в Пекине, а только допущены на окраину государства — в Нерчинск.

Следовало бы также дать в статье историческую справку о возникновении Танну-Тувы-Урянхайского края и о существовавшем там до 1911 года кондоминиуме. Наконец, вопрос о государственной принадлежности Монголии и о притязаниях Китая надо было бы осветить и с национальной, монгольской точки зрения. Это дало бы возможность сопоставить судьбу монголов с судьбой маньчжуров, полностью поглощенных в течение пятидесяти лет китайской колонизацией, начавшейся после постройки русскими Маньчжурской (Восточно-Китайской) железной дороги.

В заключение обзора добавим в качестве пожелания, что хорошо было бы, если при повторном издании наши замечания по возможности были бы автором учтены.

С. Кирсанов

О РАБСТВЕ И СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА

Эта книга, равно как и другие книги Бердяева, напоминает собой не чертеж, не фотографию, а портрет, и портрет, написанный импрессионистической кистью. То, что автор поставил себе целью в ней выразить, он сделал очень удачно. А то, чего он не выразил и на выражение чего не претендовал, ставить ему в вину неудобно. Он сам ограждает себя от возможных упреков в предисловии, озаглавив его «О противоречиях в моей мысли». При такой постановке вопроса и «взятки гладки» как будто.

Николай Бердяев. О рабстве и свободе человека. YMCA-PRESS. Париж, 1972.

Бердяев — персоналист и экзистенциалист, он не причисляет себя ни к какой философской школе, не видит ценности в построении философских систем. Это придает основной колорит его писаниям. Его яркий талант скрашивает или, скажем больше, «закрашивает» некоторые его недостатки. Глубина его проникновения в рассматриваемые им реальности очень велика, мазки его литературной кисти настолько блестящи, что многие фразы из его книги можно было бы использовать в качестве афоризмов; они хлестки, удачны в своей кажущейся парадоксальности, поражают диалектической техникой. Бердяева можно сравнить с мастером-фехтовальщиком, умело наносящим свои виртуозные удары.

В рецензируемой книге Бердяев рассматривает, каким образом человек попадает в рабство объективированных форм жизни и мысли. Приведем только главные темы порабощения: бытие, Бог, природа, общество, цивилизация, государство, классовость, революция, коллективизм, буржуазия... Завершает он книгу темой прельщения и рабства истории и возможностью духовного освобождения человека.

Книга эта очень ценна своей поучительностью, знакомство с ней необходимо каждому, кто занимается любой из гуманитарных наук, прежде всего философией, антропологией, социологией. Бердяев в какой-то степени восполняет то, что в свое время было развито Ницше и Л. Толстым, т. е. критикует внешние устоявшиеся традиционные мировоззрения и соответственные «кумиры» человека. Но у него это получается как бы более объективно, более сбалансированно, более «аристократично», чем у вышеупомянутых мыслителей. Читая его книгу, трудно не соглашаться с тем, что он пишет, т. е. с отдельными мыслями, наблюдениями, суждениями. И вместе с тем, когда вы книгу прочтете, вы не сможете отделаться от общего впечатления некой однобокости, некой тенденциозности его учения. Это происходит от того, что Бердяев, будучи противником всякого монизма, сам незаметно впадает в персоналистический монизм, если можно так выразиться. Он панически боится нарушения свободы личности и видит порабощение личности во всякой объективации. Как это ни звучит парадоксально, но

Бердяев — глашатай идеи человеческой свободы безо всякого внешнего ограничения (ибо всякое ограничение для него является порабощением) — сам становится рабом этой идеи, подобно всем иным случаям порабощения идеями людей, которые он сам же и критикует. Он становится добровольной жертвой *прельщения идеей свободы*, которая сама по себе, без объективации, вообще ...не существует. Ибо свобода всегда будет свободой от чего-либо. Свобода, ничем не ограниченная, подобна небытию, которое осталось бы, если бы из вселенной вычисть всё реальное и всё идеальное, т. е. *голый нуль*.

На самом же деле свобода есть не абсолютное лишение (отсутствие) объективации, а творческая мощь постоянного трансцендирования объективации. Относительная объективация действительно порабощает, если ее абсолютизировать, и эту сторону ее Бердяев осветил надлежащим образом. Однако всякая объективная реальность может послужить трамплином для скачка в высший план, и вот именно эта мощь трансценденции и дает чувство свободы. Свобода есть понятие коррелятивное понятию необходимости. Свобода — функциональна, а не абсолютна.

У Бердяева заметно манихейское гнушение объективацией, которая ведь необходима для всякого развития. То или иное отношение человеческого духа придает объективации знак минуса либо плюса. И в этом свете понятны такие ценности, пусть относительные, но исполняющие свою роль в замысле Божьем о вселенной, как семья, общество, род, государство, нация, к которым Бердяев чувствует непреодолимое, я бы сказал, даже «зоологическое», отвращение, хотя, быть может, он не всегда это выявляет. В рецензируемой книге, правда, в двух местах, если не ошибаюсь, Бердяев отдает дань принципу равновесия, принципу функциональной зависимости свободы и необходимости. «Свобода предполагает препятствия и борьбу. Без духовных усилий она легко делается плотской и бессодержательной» (стр. 195). «Красота предполагает существование хаоса и победу над хаосом. Но без заднего фона хаоса нет красоты космоса» (стр. 201). Но эти уступки совсем затеряны; как и таким

же одиноким кажется признание, что «свобода, ложно направленная, может быть источником рабства» (стр. 211).

В связи с этим психическим отталкиванием от объективации стоят некоторые анархические и космополитические вкусы Бердяева, которые и раньше не вызывали и теперь не вызывают восторгов у многих читателей. Но... здесь не место спорить о вкусах. Достоинство книги зависит не от того, чего в ней не сказано, а от того, что в ней сказано ценного. А в книге «О рабстве и свободе человека» ценного сказано очень много.

Игумен Геннадий (Эйкалович)

СО ЗНАНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ О СВЯТОЙ ГОРЕ

Святая гора — гора святых. Святостью святых святая гора. Афон. Кому из православных людей не знакомо это имя? Сколько миллионов богомольцев только из России здесь побывало! И как мало мы знаем теперь об Афоне, о том самом Афоне, о котором в глухих приходах дореволюционной России можно было услышать удивительные рассказы побывавших там паломников. А если и знаем, то понаслышке. Даже в русских зарубежных церковных изданиях почти ничего не найти о Святой горе, русских же паломников на Афоне теперь единицы...

А жаль. Ибо Афон — это единственное ныне место на земле, где еще сохранилась Византия, точнее — её древний уклад монашеской жизни, с тысячелетним опытом аскетического подвига на религиозно-духовных высотах. Здесь можно найти покой для молитвы и утешение, здесь — несметные научные и художественные сокровища, хранящиеся в монастырских библиотеках и храмах. Святая гора — мир особый и неповторимый.

ATHOS. Leben, Glaube, Kunst. Text u. Aufnahmen von Paul H u b e r. 408 S. mit 220 Abb., davon 76 in Farben, sowie viele hist. Strichzeichnungen. Ln. DM 78.— / Fr. 85.—. Atlantis Verlag, Zürich u. Freiburg im Breisgau, 1969.

БИБЛИОГРАФИЯ

В наши дни публикации об Афоне надо искать днем с огнем. Мне повезло: на Франкфуртской книжной выставке я случайно нашел капитальный труд швейцарского богослова П. Губера «Афон — жизнь, вера, искусство». Пауль Губер — ученый, уже давно известный своими трудами об Афоне. Благодаря личным связям с покойным Вселенским патриархом Афинагором, он имел доступ во все сокровищницы монастырей на Святой горе. Работа над последней книгой заняла у него много лет, и если учесть, что велась она далеко не в легких условиях, то автор заслуживает в наших глазах не только искреннего уважения, но и глубокой признательности. Книга его чрезвычайно интересная и ценная.

Вступительная статья к ней, в которой приведены данные по истории самого Афона и «афоноведению», написана известным венским византологом Гербертом Гунгером. Научное освоение накопленных веками материалов в монастырях начали русские и французские византологи в начале этого века. В библиотеках монастырей, скитов и келий хранится более 12 000 греческих рукописей, и хотя значительная часть их каталогизирована, изучение затруднено из-за их распыленности. Гунгер подчеркивает, что, интерпретируя миниатюры, иконы и фрески, «автор как богослов исходит из совершенно верного понимания того, что византийское церковное искусство может быть правильно объяснено только с точки зрения православия». От себя добавим, что Губер православие знает досконально, и это придает его книге, построенной на историческом материале, необыкновенную религиозную глубину.

В рамках рецензии невозможно даже кратко пересказать содержание научного труда в четыреста страниц большого формата, заключающих в себе четыре раздела из двадцати семи глав: «Монастыри и монахи» (7 глав), «Рукописи и миниатюры» (11 глав), «Иконы и реликвии» (5 глав), «Фрески» (4 главы). Но я остановлюсь на некоторых моментах, представляющих особый интерес.

Афон — это имя легендарного древнегреческого великана, врага бога морей Посейдона. Сей колосс не желал подчиняться богам Олимпа, сидел на южной оконечности полуострова и

дразнил даже самого Зевса, за что Посейдон и засыпал его скалами — до сих пор высится на том месте гора в 2033 метра! Отсюда и название горы, и полуострова — Афон. Но с VIII века, когда на Афоне поселились первые монахи, греки стали называть его Святой горой.

Афонские монастыри и скиты делятся по укладу монашеской жизни на два типа: «киновитские» (12 монастырей) и «идиорритические» (8 монастырей). Во главе «киновитских» монастырей стоят игумены, которым монахи подчиняются абсолютно. Всё свое имущество отдается ими в монастырь. Руководство же в монастырях «идиорритического» типа находится в руках троих выборных монахов, а имуществом братия располагает по своему усмотрению. Все русские монастыри и скиты — «киновитские». Таких монашеских орденов, какие существуют в римско-католической церкви, православие не знает.

В книге с удивительной точностью и добросовестностью изложены не только научно-исторические данные о «республике монахов» (ибо полуостров управляется монахами), ее древних монастырях и скитах, манускриптах и миниатюрах, чудотворных иконах, реликвиях и фресках, но и раскрыты смысл православной литургии и сущность молитвенной мистики афонских монахов. Давнишний вопрос о том, оказал ли опыт индусских йогов влияние на эту молитвенную мистику, Губер оставляет открытым, допуская его постановку только как предположение.

Для нас особый интерес представляют сведения о русских на Афоне. В истории монашества Святой горы славяне играли большую роль — болгары, сербы и русские составляли всегда значительный процент монахов, а в 1910 году их было 5500 от общего числа в 9800 человек! Первым русским монахом на Афоне был, как это известно из летописи преп. Нестора, основатель Киево-Печерской лавры св. Антоний. В бытность свою на Афоне он составил первый русский монастырский устав, который и привез в Киев в 1051 году. Игумен монастыря «Эсфигмену», в котором св. Антоний был пострижен в монахи, так напутствовал его в дальний путь: «Иди опять на Русь, и да будет с тобою благословение Святой горы; ибо чрез тебя мно-

го будет монахов. Иди с миром!» (дается в переводе с немецкого — А. Р.).

С тех пор «русский Афон» непрерывно растет. Уже в XI веке византийский император Алексей I Комненос (1081—1118) дарит русским старцам скиты, основанные ими на восточном побережье полуострова. 14 декабря 1142 года русский скит «Ксилургу» получает первую «монастырскую грамоту» и освящается в честь Успения Богородицы («Богородицкий скит»). 15 августа 1169 года решением 27 игуменов Святой горы в русские руки — игумену Лаврентию — передается монастырь св. Пантелеймона на западе полуострова, который и становится центром русского монашества на Афоне.

В связи с русско-турецкой войной положение русских монастырей ухудшается (Афонский полуостров с 1430 года входил в состав Османской империи). В 1735 году монастырь св. Пантелеймона переходит к грекам, но в 1840 году снова возвращается русским. В это время, после поражения греков в освободительной войне против турок (1821—1830), Россия была единственной христианской страной, которая оказывала щедрую поддержку Святой горе. Русские скиты и монастыри быстро разрастались, чему способствовало и паломничество из России, принявшее поистине общенародный характер. Вот несколько статистических данных:

Русских монахов было:

— в монастыре св. Пантелеймона в 1764 г. —	62 человека,
	в 1850 г. — 569 человек,
	в 1902 г. — 1928 человек,
— на Афоне	в 1900 г. — 3496 человек,
	в 1910 г. — 4800 человек,

Перед Первой мировой войной на Святой горе были следующие русские монастыри и скиты: главный монастырь — св. Пантелеймона, пять скитов (св. Андрея, св. пророка Ильи, Хромица, «Россики» и Богородицкий) и 82 келии с русскими анахоретами.

После революции картина резко изменилась: если в 1926 году в монастыре св. Пантелеймона еще жил 651 монах, то в

1965 году их насчитывалось только 33 человека. Прошлым же летом, будучи на Афоне, я узнал, что русских монахов там уже единицы, а нового притока нет. Русский Афон вымирает...

Необходимо сказать несколько слов об иллюстративном материале книги. В ней 220 фотографий монастырей, миниатюр, рукописей, икон, реликвий, фресок, храмовых интерьеров; из них — 76 цветных. Все они сняты самим автором, и, несмотря на «афонские условия» (электричества там нет!), качество их очень хорошее. Многие рукописи и миниатюры воспроизводятся вообще впервые, и в этом, бесспорно, большая заслуга Губера перед византологией. В частности, очень интересно сопоставление гравюр Ганса Гольбейна-младшего из цикла «Апокалипсис» (1523 г.) с фресками в монастыре Дионисиу (до 1568 г.): несомненно, автор росписи был знаком с работами немецкого художника.

Кроме того, в тексте помещены схематическая карта полуострова, два плана храмов и пять гравюр — видов Афона прошлого века.

Книга Губера уникальна по ценности материала, изложенного строго научно, ясно, но, что гораздо важнее, — талантливо и с любовью.

А. Русак

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

Август Четырнадцатого читают на родине. Сборник статей и отзывов. YMCA-PRESS. Paris, 1973. Стр. 139.

Антология русской поэзии. Составила и перевела на греческий язык публикуемые также и по-русски стихи Леля Надеждина.

Владимиров Леонид. Советский космический блеф. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне, 1973. Стр. 209.

Вейдле В. После «Двенадцати». Приношение кресту на могиле Александра Блока. YMCA-PRESS. Париж. Стр. 67. 1973.

Вольное слово. Самиздат. Избранное. Документальная серия. Выпуск 6. Хроника текущих событий. Выпуск

БИБЛИОГРАФИЯ

27: Россия и церковь сегодня. Церковь и власть. Бюллетень № 6 и 7 Совета родственников узников евангелических христиан-баптистов в СССР. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне, 1972. Стр. 127.

То же Документальная серия. Выпуск 7. Свободная мысль. Выпуск 1: Три листовки Гражданского комитета. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне, 1972. Стр. 127.

Галич А. Поколение обреченных. Поэмы и стихи. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне, 1972. Стр. 304.

Крымов Вл. Сенька. Роман. Второе издание. Париж, 1973. Стр. 304.

Кузнецов Эдуард. Дневники. Les Editeurs Réunis. Paris, 1973.

Ленский Сергей. Песни уходящих. Сборник стихов. Франкфурт-на-Майне, 1972. Стр. 128.

Надеждина Леля. Беседа. Стихотворения. Ротаторное издание. Афины, 1972. Стр. 29.

Скорняков Виктор. Остров безмятежных. Политический гротеск-фантазия. Нью-Йорк, 1972. Стр. 95.

Слово Церкви. Официальный орган Православной Германской Епархии. № 2. Декабрь 1972 г. Мюнхен. Стр. 35.

Татищев Николай. Письмо в Россию. YMCA-PRESS. Париж, 1972. Стр. 225.

Slavinsky Michel. Ombres sur le Kremlin. Une voix libre se fait entendre derrière le rideau de fer. Edition de la Table Ronde. Paris, 1973. P. 257.

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Ответственный секретарь Г. Т. Нашиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:

**Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim,
Flurscheideweg 15**

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

№ 79

(Апрель 1971 г.)

Игнатий Карамов — Стихи; Иван Чай — Языковые трудности адмирала; А. Краснов — Мое возвращение; Г. М. Шиманов — Записки из Красного дома; Н. Ф. Платтен — Из Зеркального переулка в Кремль. Окончание; А. Неймирок — О Бунине (1870—1953); Д. Руднев — «Замкнутый мир» современной русской фантастики. Окончание; Библиография: В. Перелешин — Земной наряд; О. Можайская — Под глухими небесами; А. Слизской — Воспоминания М. Гольдштейна; О. Емельянова — Стихи на веере; Список книг, поступивших в редакцию; С. Кирсанов — О концлагерях в очерках В. Шаламова. Письмо в редакцию; Обращение изд-ва «Посев».

№ 80

(Сентябрь 1971 г.)

А. Солженицын — Автобиография. Из цикла «Крохотки»: Старое ведро. Способ двигаться. Рассказы; Наум Коржавин — Русской интеллигенции. Памяти Цветаевой. Можно строчки нанизывать... Вступление к поэме 1952 года. Стихи; В. Максимов — Четверг. Поздний свет. Повесть; Александр Петров-Агатов — Из цикла «Сначала Колыма. Потом Мордовия». Стихи; Владимир Осипов — Площадь Маяковского, статья 70-ая; Приложение — Биографии; *** — Казнь Понтия Пилата (О романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»); Г. Померанц — Малые эссе: Счастье. Очень короткая философия. К теории зари. Коан. Бог и Ничто. Реабилитация чёрта; Иван Русланов — Молодежь в русской истории. (Продолжение); Библиография: Аркадий Столыпин — Ошибочная историческая концепция Вас. Гроссмана; Эммануил Райс — Н. Я. Мандельштам. Воспоминания; Л. Ржевский — Труд огромный и нужный; Список книг, поступивших в редакцию; Обращение изд-ва «Посев».

№ 81

(Ноябрь 1971 г.)

Д. Эвус — Город солнца; Из российской поэзии: Юлия Вишневская, Татьяна Глушкова, З. Дубнов; Объединение Реального Искусства: Михаил Арндт — ОБЭРИУ, Даниил Хармс — Рассказы, Александр Введенский — Ёлка у Ивановых. Пьеса; Роман Редлих Неоконченный Достоевский (К столятидесятилетию со дня рождения); А. Киселев — Учение Н. Ф. Федорова в свете современности; Д. Поспеловский — Этика и история. (Историософские тенденции в Самиздате); Иван Русланов — Молодежь в русской истории. Окончание; Библиография: Д. Руднев — Сборник «Русская подпольная литература»; В. С. — Свидетельство эпохи; О. Можайская — Двухтомник Анны Ахматовой; Список книг, поступивших в редакцию; Обращение изд-ва «Посев».

№ 82

(Декабрь 1971 г.)

*** — Никто. Дисангелие от Марии Дементной. Повесть; Аркадий Цест — Стихи; Николай Гребенщиков — Раздумия. Эссе; Елена Матвеева — Стихи. Александр Петров-Агатов — Арестанские встречи; Приложение: Биографии; Л. Ржевский — Три темы по Достоевскому (К столятидесятилетию со дня

его рождения); А. Неймирок — «Россию жалко...» (О романе А. Солженицына «Август Четырнадцатого»); Вл. Н. Павлов — Споры о славянофильстве и русском патриотизме в советской научной литературе 1967–1970 гг.; Библиография: Роман Редлих — О «Непостижимом»; Ж. Бай — «Русская литература при Ленине и Сталине. 1917–1953 гг.»; Д. Руднев — Миф «самобытности» и реальность религиозности древнерусской культуры; О. Можайская — Муза поет в луче; Арк. Слизкой — Воспоминания генерала Врангеля; Игумен Геннадий (Эйкалович) — Проблема бессмертия в экуменической перспективе; Обращение издательства «Посев».

№ 83

(Май 1972 г.)

Александр Галич — Стихи; Д. Л. — Крест. Рассказ; Андрей Платонов — Государственный житель. Рассказ; Александр Петров-Агатов — Арестантские встречи; Приложение: Биографии; Людмила Клейман — Заметки о «Раковом корпусе» А. Солженицына; Темира Пахмусс — За молчанное произведение Зинаиды Гиппиус; Зинаида Гиппиус — Роман о мистере Уэллсе; Дискуссия о Марксовой теории отчуждения: Я. Трушнович — От переводчика; Милован Джилас — Отчуждение — в природе человека; Михаил Михайлов — Джилас против Маркса; Приложение: Биографии М. Джиласа и М. Михайлова; Д. Руднев — Встреча с Розановым; Библиография: Аркадий Столыпин — Две ценные книги о психотюрьмах; Ю. Трегубов — Лагерный роман; †Памяти В. К. Зайцева; Список книг. Обращение редакции «Граней» и издательства «Посев».

№ 84

(Июль 1972 г.)

Аркадий и Борис Стругацкие — Гадкие лебеди. Отрывок из повести; Д. Л. — Дверь. Рассказ; Л. Мерцалов — Стихи; В. Казаков — Алданская трасса. Рассказ; Александр Петров-Агатов — Арестантские встречи. Окончание; Приложение: Биографии; Николай Татищев — Гийом Аполлинер — поэт грустного веселья; Судьба русской столицы. Предисловие В. Сергеева; С. Крушель — О положении науки в СССР; Игумен Геннадий (Эйкалович) — Учение о человеке св. Григория Паламы; Библиография: А. Неймирок — «День надежды и воскресения»; Д. Руднев — Философия подполья; О. Можайская — Повесть о древнем Пскове; Федор Данилов — Религия и атеизм в СССР; Письмо в редакцию: «Хрущевские разоблачения и смерть Орджоникидзе» С. Кирсанова; Список книг.

№ 85

(Октябрь 1972 г.)

Михаил Булгаков — Блаженство (Сон инженера Рейна). Пьеса в четырех действиях; Из концлагерной поэзии: Игорь Авдеев, Юрий Домбровский, И. Пашков, Геннадий Черепов; Василий — Смех после полуночи; Александр Солженицын — Нобелевская лекция 1970 года по литературе; Людмила Фостер — «Посещение музея» Набокова в свете традиции модернизма; Владимир Осипов — К читателям Самиздата; Мэри Леконт дю Нуи — Пьер Леконт дю Нуи; Библиография: Б. Литвинов — «Раскольник» или жизнь и дела Никоса Казандзакиса; Э. Штейн — От «присказки» до «советской России»; О. Можайская — Нержавеющий сосуд; Д. Руднев — Улитка на склоне; В. Сладковский — Ваяние в стихах; Список книг. Обращение редакции «Граней» и издательства «Посев».

(Декабрь 1972 г.)

Памяти Юрия Галанскова — Некролог из неволи; Г. Кагановский — В глухой Мордовии... Стихотворение; Андрей Платонов — 14 Красных Избушек. Пьеса в четырех действиях. Вступление Алексея Киселева; Юрий Иофе — Стихи; Александр Неймирок — Пыль... Пыль... Солнце. Рассказ; Глеб Рар — Вступительные замечания к воспоминаниям А. Краснова «Закат обновленчества»; А. Краснов — Закат обновленчества; Людмила Клейман — Человек и природа в произведениях А. Солженицына (Некоторые аспекты темы); Ота Шик — «Пражская весна». От редакции; Доклад; Дискуссия; Виктор Ростопчин — Человек на земле. Смежные записи; Игумен Геннадий (Эйкалович) — О «Церкви Духа Святого»; Библиография: Прот. К. Фотиев — «Ожидание» Владимира Варшавского; Михаил Михайлов — Феноменология царства лжи; Б. Сергеев «Двенадцать стульев»; Д. Руднев — «Дневник писателя» на французском языке; Список книг; Обращение издательства «Посев».

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране. При этом мы, естественно, не пытаемся заручиться формальным разрешением автора на такие публикации.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

P o s s e v - Verlag,
623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Это обращение составлено нами до подписания Советским Союзом Всемирной конвенции об авторском праве. Теперь создалась новая обстановка, которая будет нами учитываться. Но мы будем продолжать помогать российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

Содержание номеров журнала «Грани» помещено:

с № 1 по № 58 в № 59
с № 52 по № 74 в № 74
с № 75 по № 78 в № 78
с № 79 по № 86 в № 87-88

Новый каталог вышедших номеров высылается бесплатно по требованию.

НОВАЯ КНИГА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«ПОСЕВ»

о. Сергей
Желудков

ПОЧЕМУ И Я - ХРИСТИАНИН

Эта книга была написана ее автором без надежды на то, что она увидит свет на родине — в России. Ибо она свидетельствует о возрождении религиозной мысли, исканий, о продолжении традиций религиозного творчества, находящегося в этой стране под запретом.

С. Желудков ставит перед православным сознанием вопросы, необходимость ответа на которые ощущается в настоящее время все настоятельнее; ответы же самого автора проникнуты живым и глубоко личным чувством, страстным желанием того, чтобы вера Христова снова победоносно засияла в мире.

Карманный формат. Мягкий переплет. В книге 325 стр.

Цена 17.60 н. м. В США и Канаде — 6.40 дол.

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

**в Германии и во всех других странах,
кроме США и Канады:**

При подписке непосредственно из издательства — 30,— н. м.

**При подписке через представителей
и книжные магазины — 36,— н. м.**

**Цена в розничной продаже — 9,— н. м.
(двойной номер — 18.— н. м.).**

В США и Канаде:

**При подписке непосредственно из издательства
— 11,— ам. дол. При подписке через представителей
и книжные магазины — 13,— ам. дол.**

**Цена в розничной продаже — 3,25— ам. дол.
(двойной номер — 6.50 ам. дол.).**

**Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу**

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheldeweg 15

**или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/M.**

**Из Германии удобнее переводить деньги на
Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.**